

Цицерон и его друзья

Гастон Буассье

CICERO AND HIS FRIENDS

*A STUDY OF ROMAN SOCIETY IN THE TIME
OF CAESAR*

BY
GASTON BOISSIER
OF THE FRENCH ACADEMY

TRANSLATED, WITH AN INDEX AND TABLE OF CONTENTS, BY
ADNAH DAVID JONES

THIRD EDITION

LONDON
WARD, LOCK & CO., LIMITED

The Project Gutenberg eBook of Цицерон и его друзья.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: Цицерон и его друзья

Исследование римского общества во времена Цезаря

Автор: Гастон Буассье

Переводчик: Адна Дэвид Джонс

Дата выхода: 24 ноября 2023 года [eBook #72216]

Язык: Английский

Оригинальное издание: London: Ward, Lock & Co, 1897

Кредиты: Ричард Тонсинг, Тим Линделл и группа онлайн-распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных Архивом Интернета).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK CICERO AND HIS FRIENDS ***

Примечание переводчика:

Новая оригинальная обложка, включенная в эту электронную книгу, является общественным достоянием.

ЦИЦЕРОН И ЕГО ДРУЗЬЯ ИССЛЕДОВАНИЕ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВРЕМЕНА ЦЕЗАРЯ

ГАСТОН БУАССЬЕ

ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

ПЕРЕВОД, С УКАЗАТЕЛЕМ И ОГЛАВЛЕНИЕМ, ВЫПОЛНЕННЫЙ

АДНА ДЭВИД ДЖОНС

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

ЛОНДОН

УОРД, ЛОК И КО, ЛИМИТЕД

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

ВВЕДЕНИЕ:

ПИСЬМА ЦИЦЕРОНА

1

Значение частной переписки в древности. Характеристика писем Цицерона, 1

ЦИЦЕРОН В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

I. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

22

Суровые суждения о Цицероне в современную эпоху, 22

- i. Обстоятельства, определившие политическую позицию Цицерона. Рождение, философские идеи, характер, 24
- ii. Политическая карьера Цицерона. Сначала противник аристократии, 36. Попытки создать среднюю партию, 46. Рыцари, 47. В конце концов присоединяется к аристократической партии, 51
- iii. Судить о Цицероне следует с точки зрения его современников, 51. Развращенное состояние римского народа, 64
- iv. Деятельность Цицерона в республиканской партии после смерти Цезаря, 69. Его смерть, 77

II. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

79

- i. Источники его богатства, 79
- ii. Его супружеская жизнь, 89
- iii. Его дети, 100
- iv. Его отношения с рабами, 108. Его клиенты, 113. Рабирий, 116

АТТИКУС

123

- i. Его причины не вступать в общественную жизнь, 124. Его жизнь в Афинах, 127. Его жизнь в Риме, 132
- ii. Его характер в частной жизни, 134
- iii. Его характер в общественной жизни, 147

КАЭЛИУС:

РИМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВО ВРЕМЕНА ЦЕЗАРЯ

159

- i. Семья и воспитание Каэлия, 160. Влияние женщин в Риме, 163. Клодия, 166
- ii. Характер Каэлия, 176. Присоединяется к партии Цезаря, 184
- iii. У Цезаря не было настоящих друзей, 191. Причины вражды Целия к нему, 197. Его смерть, 206

ЦЕЗАРЬ И ЦИЦЕРОН:

I. ЦИЦЕРОН И ЛАГЕРЬ ЦЕЗАРЯ В ГАЛЛИИ

209

- i. Возвращение Цицерона в Рим, 210. Состояние города, 211. Покидает аристократическую партию и присоединяется к триумвирам, 216
- ii. Возобновляет близость с Цезарем, 224. Сравнение Помпея и Цезаря, 226. Цезарь в Галлии, 230
- iii. Письма Цицерона к брату и Требацию дополняют "Комментарии", 241. Эффект, произведенный в Риме победами Цезаря, 251

II. ПОБЕДИТЕЛЬ И ПОБЕЖДЕННЫЙ

257

Намерение Цицерона отойти от политической жизни, 257

- i. Возобновляет общение с Цезарем, 260. Изгнанники, отозванные благодаря его влиянию, 268. *Про Марцелло*, 271
- ii. Дискуссия между Цицероном и Цезарем по поводу Катона. Катон не так тверд, как его обычно считают, его прямота делала его непрактичным, 277. Непригоден для руководства партией, 284. Становится более умеренным, 285. Его смерть, 287. Контраст с Цезарем, 288
- iii. Цезарь хочет примириться с республиканской партией, 291. Назначает ее членов на государственные должности, 293. Несмотря на это, новое правительство вызвало глубокое недовольство, 297

БРУТУС:

ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ЦИЦЕРОНОМ

303

- i. Его семья, воспитание и характер, 304. Его дружба с Цицероном, 308. Римские представления об управлении провинциями, 311. Присоединяется к Помпею, 317
- ii. Перспективы Брута занять высокий пост разрушены битвой при Фарсалии. Обращается к философии. Цицерон делает то же самое и

- создает свои философские труды, [318](#)
- iii. Образование новой республиканской партии, [329](#). Влияние на Брута с целью уличить его в заговоре против Цезаря, [330](#)
 - iv. Причины неудачи Брута и его партии, [339](#)

ОКТАВИУС:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ АВГУСТА

[359](#)

Анциранская надпись, [361](#)

- i. Повествование намеренно неполное, [364](#). Свет, брошенный ею на внутреннее правление Августа, [368](#). Отношения Августа с его солдатами, [369](#). С народом, [372](#). С сенатом, [373](#). Его политика в реконструкции общественных зданий, [377](#)
- ii. Преамбула эдикта о проскрипциях и Анциранская надпись, вместе содержащие политическую жизнь Августа, [381](#). Постоянное влияние его политики на управление империей, [386](#)
- iii. Публикация писем Цицерона, [388](#)

ЦИЦЕРОН И ЕГО ДРУЗЬЯ

ВВЕДЕНИЕ

ПИСЬМА ЦИЦЕРОНА

В наши дни ни одна история не изучается так охотно, как история последних лет Римской республики. Недавно во Франции, Англии и Германии были опубликованы научные труды на эту тему^[1], и публика с жадностью читает их. Важность обсуждавшихся тогда вопросов, драматический характер событий и величие персонажей оправдывают этот интерес; но то влечение, которое мы испытываем к этой необычной эпохе, лучше объяснить тем, что о ней рассказывается в письмах Цицерона.

Один современник сказал, что тот, кто прочтет эти письма, не будет испытывать искушения искать историю того времени^[2] в другом месте, и на самом деле мы находим ее в них гораздо более живой и правдивой, чем в обычных произведениях, написанных специально для того, чтобы преподать ее нам. Чему еще научили бы нас Асиний Поллион, Ливий или Кремуций Корд, если бы они сохранились? Они высказали бы нам свое личное мнение; но это мнение по большей части вызывает подозрения, поскольку исходит от людей, которые не могли сказать всей правды, от людей, подобных Ливию, писавших при дворе императоров, или надеявшихся, подобно Поллиону, добиться помилования за измену, очернив характер тех, кого они предали. Вместо того чтобы получать готовое мнение, лучше составить его самостоятельно, и чтение писем Цицерона позволяет нам это сделать. Оно погружает нас в гущу событий и позволяет следить за ними день за днем. Мы словно видим, как они проходят

перед нашими глазами, несмотря на восемнадцать столетий, прошедших с тех пор, и оказываемся в уникальном положении: мы находимся достаточно близко к фактам, чтобы видеть их реальный характер, и достаточно далеко, чтобы судить о них беспристрастно.

Важность этих писем легко объяснима. Политики тех времен нуждались в переписке друг с другом больше, чем современные. Проконсул, отправляющийся из Рима управлять какой-нибудь отдаленной провинцией, чувствовал, что полностью уходит из политической жизни. Провести несколько лет в этих глухих странах, куда не доходили слухи из Рима, было очень утомительно для людей, привыкших к деловой суете, партийным волнениям или, как они говорили, к свету Форума. Они действительно получали своего рода официальный бюллетень, *Acta diurna*, почтенного предка нашего *Moniteur*. Но, похоже, каждый официальный журнал по своей природе обречен быть несколько незначительным. Римский журнал содержал довольно скромный официальный отчет о публичных собраниях, краткое изложение важных дел, рассмотренных на Форуме, а также отчет о публичных церемониях и точное уведомление об атмосферных явлениях или чудесах, произошедших в Риме или его окрестностях. Это не совсем те новости, которые хотел бы знать претор или проконсул, и поэтому, чтобы заполнить пробелы в официальном журнале, он прибегал к услугам платных корреспондентов, которые составляли "новостные бюллетени" для использования любознательными провинциалами, как это было в моде у нас в прошлом веке; Но если в восемнадцатом веке эту обязанность брали на себя литературные деятели с репутацией, близкие к знати и хорошо принятые министрами, то римские корреспонденты были лишь безвестными компиляторами, рабочими, как их называет Целий, обычно выбираемыми среди тех голодных греков, которых нужда заставляла быть готовыми на все. Их не пускали в великие дома, и они не могли приблизиться к политикам. Их роль заключалась в том, чтобы бегать по городу и собирать то, что они слышали или видели на улицах. Они тщательно подмечали театральную болтовню, расспрашивали об актерах, на которых шипели, и гладиаторах, которых били, подробно описывали красивые похороны, отмечали слухи и злопыхательские сплетни, а особенно скандальные истории, которые им удавалось поймать.^[3] Вся эта болтовня на мгновение забавляла, но не удовлетворяла тех политических деятелей, которые прежде всего хотели быть в курсе дел, и, чтобы узнать о них, они, естественно, обращались к тому, кто был в состоянии их знать. Они выбирали несколько надежных и осведомленных друзей с хорошим положением и через них узнавали причину и реальный характер фактов, о которых сухо и без комментариев сообщали журналы; и если платные корреспонденты передавали им только разговоры в городе, то другие вводили их в кабинеты высокопоставленных политиков и заставляли слушать их самые частные беседы.

Никто не чувствовал эту потребность быть в курсе всего и, так сказать, жить в центре Рима после того, как он его покинул, больше, чем Цицерон. Никто больше него не любил то волнение общественной жизни, на которое государственные деятели жалуются, когда обладают им, и не перестают сожалеть, когда теряют его. Мы не должны слишком охотно верить ему, когда он говорит, что устал от бурных дискуссий в сенате; что он ищет страну, где не слышали бы о Ватинии или Цезаре и где не беспокоились бы об аграрных законах; что он испытывает тревожное желание уехать и забыть Рим под приятной тенью Арпинума или в восхитительных окрестностях Формий. Как только он поселяется в Формиях или Арпинуме, или в какой-нибудь другой из тех красивых вилл, которые он с гордостью называет жемчужинами Италии, *ocellos Italiae*, его мысли, естественно, возвращаются в Рим, и курьеры постоянно отправляются туда, чтобы узнать, что там думают и делают люди. Он никогда не мог оторвать глаз от Форума, что бы он ни говорил. Далеко или близко он должен иметь то, что Сен-Симон называет "привкусом бизнеса, без которого политики не могут обойтись". Он хотел во что бы то ни стало знать положение партий, их тайные соглашения,

внутренние распри, все те скрытые интриги, которые приводят к событиям и объясняют их. Именно этого он постоянно требовал от Аттика, Курио, Каэлиуса и многих других великих людей, замешанных в этих интригах либо как актеры, либо как зрители, и об этом он сам рассказывает своим отсутствующим друзьям самым живым образом, и таким образом письма, которые он получал или отправлял, содержат, без его намерения, всю историю его времени.^[4]

Переписка политических деятелей нашего времени, когда она публикуется, далеко не имеет такого же значения, потому что обмен чувствами и мыслями не осуществляется так часто с помощью писем, как это было тогда. Мы изобрели новые методы. Огромная известность прессы выгодно заменила те осторожные сообщения, которые не могли выйти за пределы нескольких человек. Сегодня газеты позволяют человеку быть в курсе того, что происходит в мире, в каком бы безлюдном месте он ни уединился. Поскольку он узнает о событиях почти сразу же, как они происходят, он получает как волнения, так и новости о них, и ему не нужен хорошо осведомленный друг, чтобы сообщить о них. Поиск всего того, что газеты уничтожили и заменили в нашей среде, был бы интересным исследованием. Во времена Цицерона письма часто занимали их место и оказывали те же услуги. Их передавали из рук в руки, когда в них содержались новости, о которых люди были заинтересованы узнать; письма важных персон, в которых излагались их настроения, читали, комментировали и переписывали. Политик, подвергшийся нападкам, защищался ими перед людьми, чье уважение он хотел сохранить, и с их помощью люди пытались сформировать своего рода общественное мнение среди ограниченной публики, когда Форум молчал, как во времена Цезаря. Теперь эту обязанность взяли на себя газеты и делают из политики бизнес, а поскольку они несравненно более удобны, быстры и распространены, они отняли у переписки один из ее главных предметов.

Правда, для нее остаются частные дела, и поначалу мы склонны думать, что эта тема неисчерпаема и что при стольких чувствах и привязанностях, наполняющих нашу домашнюю жизнь, она всегда будет достаточно богата. Тем не менее, я думаю, что частная переписка становится с каждым днем все короче и менее интересной, если речь идет только о чувствах и привязанностях. То постоянное и приятное общение, которое занимало такое большое место в жизни прежних времен, стремится почти исчезнуть, и можно сказать, что по странной случайности удобство и быстрота общения, которые должны были бы придать ему больше оживления, нанесли ему вред. Раньше, когда не было почты или она была предназначена для императора, как у римлян, люди были вынуждены пользоваться любым случаем или отправлять свои письма через раба. Тогда письмо становилось серьезным делом. Они не хотели, чтобы гонец совершал бесполезное путешествие; письма делались длиннее и полнее, чтобы избежать необходимости начинать их заново слишком часто; бессознательно они были более тщательно закончены, по той причине, что мы, естественно, уделяем внимание вещам, которые стоят хлопот и не очень просты. Даже во времена мадам де Севинье, когда почта отправлялась лишь раз или два в неделю, письмо все еще оставалось серьезным делом, которому уделялось все внимание. Мать, находясь вдали от дочери, не успела отправить свое письмо, как уже думала о том, которое отправит через несколько дней. Мысли, воспоминания, сожаления собрались в ее голове за этот промежуток времени, и когда она взялась за перо, "она уже не могла управлять этим потоком". Теперь, когда мы знаем, что можем писать, когда захотим, мы не собираем материал, как это делала мадам де Севинье, не пишем понемногу каждый день, не стремимся "опустошить свой бюджет" и не мучаем себя, чтобы ничего не забыть, чтобы не забыть, чтобы не сделать новости несвежими, придя слишком поздно. Если раньше периодическое возвращение почты вносило в переписку больше порядка и регулярности, то

теперь возможность писать, когда вздумается, заставляет нас писать реже. Мы ждем, когда нам будет что сказать, а это гораздо реже, чем кажется. Мы пишем не больше, чем нужно; а это очень мало для переписки, главное удовольствие которой заключается в излишествах, и нам грозит сокращение этого малого количества. Вскоре, несомненно, телеграф заменит почту; мы будем общаться только с помощью этого задышающегося инструмента, являющегося имиджем фактического и торопливого общества, которое даже в своем стиле старается использовать чуть меньше, чем необходимо. С этим новым прогрессом удовольствие от частной переписки, которое и так уже сильно сократилось, исчезнет навсегда.

Но когда у людей было больше возможностей для написания писем и они писали их лучше, все не преуспевало в этом одинаково. Некоторые склонности подходят для этой работы лучше, чем другие. Люди, чей ум движется медленно и кому нужно много размышлять, прежде чем писать, пишут мемуары, а не письма. Трезвомыслящие люди пишут регулярно и методично, но им не хватает изящества и теплоты. Логика и рассуждающие имеют привычку слишком пристально следить за ходом своих мыслей; теперь же нужно уметь легко переходить от одной темы к другой, чтобы поддерживать интерес, и оставлять их все до того, как они будут исчерпаны. Те, кто занят исключительно одной идеей, кто концентрируется на ней и не оставляет ее, красноречивы только тогда, когда говорят о ней, а этого недостаточно. Чтобы быть всегда приятным, причем на все темы, как того требует регулярная переписка, необходимо иметь живое и активное воображение, которое воспринимает впечатления момента и резко меняется вместе с ними. Это первое качество хороших авторов писем; я добавлю к нему, если хотите, немного артистизма. Писательство всегда требует определенных усилий. Чтобы преуспеть в письме, мы должны стремиться к успеху, а желание понравиться должно предшествовать желанию сделать это. Вполне естественно желать угодить той широкой публике, для которой пишутся книги, но напрягать все силы ради одного человека - признак более требовательного тщеславия. После Ла Брьюера часто спрашивали, почему женщины преуспевают в этом деле больше, чем мужчины? Не потому ли, что у них больше желания нравиться и природное тщеславие, которое, так сказать, всегда под рукой, которое не пренебрегает никакими завоеваниями и чувствует необходимость прилагать усилия, чтобы понравиться всем?

Я думаю, что никто и никогда не обладал этими качествами в такой степени, как Цицерон. Это ненасытное тщеславие, эта открытость впечатлениям, эта легкость, с которой он позволял событиям захватывать и овладевать собой, проявляются во всей его жизни и во всех его произведениях. На первый взгляд кажется, что между его письмами и речами существует огромная разница, и мы склонны спросить себя, как один и тот же человек смог добиться успеха в столь противоположных стилях; но удивление проходит, как только мы присматриваемся. Когда мы ищем действительно оригинальные качества его речей, оказывается, что они полностью совпадают с теми, что очаровывают нас в его письмах. Его общие места уже устарели, его пафос оставляет нас холодными, и мы часто находим, что в его риторике слишком много искусственности, но его рассказы и портреты остаются живыми в его речах. Трудно было бы найти больший талант, чем у него, к повествованию и описанию, к изображению событий и людей. Если он показывает их нам так ясно, то это потому, что они сами стоят у него перед глазами. Когда он показывает нам торговца Херею "с обритыми бровями и головой, которая пахнет хитростью и в которой дышит злобой" или претора Верреса, проветривающегося в сане с восемью носильщиками, как царь Вифинии, мягко лежа на мальтийских розах,^[6] или Ватиния, спешащего выступить, "глаза его выпучены, шея вздута, мышцы напряжены," или галльские свидетели, которые ходят по Форуму с видом триумфа и поднятой головой,^[8] или греческие свидетели, которые болтают без остановки и

жестикулируют плечами,^[9] все те персонажи, в общем, которые, встретившись однажды в его работах, никогда не забываются, его мощное и подвижное воображение видит их прежде, чем нарисовать. Он в удивительной степени обладает способностью делать себя зрителем того, о чем рассказывает. Вещи поражают его, люди привлекают или отталкивают его с невероятной живостью, и он полностью погружается в картины, которые создает. Сколько страсти в его рассказах! Какие яростные вспышки гнева в его нападениях! Какое неистовство радости, когда он описывает злоключения своих врагов! Как чувствуешь, что он проникнут и переполнен ею, что он наслаждается ею, что он восторгается ею и злорадствует над ней, согласно его энергичным выражениям: *his ego rebus pascor, his delector, his perfruo!*^[10] Сен-Симон, опьяненный ненавистью и радостью, выражает себя почти в тех же выражениях в знаменитой сцене "ложе правосудия", когда он видит герцога Мэна поверженным и бастардов низложенными. "Я, однако, - говорит он, - умирал от радости, я даже боялся упасть в обморок. Мое сердце, раздувшееся до предела, не находило места, чтобы расширяться..... Я торжествовал, я отомстил, я купался в своей мести". Сен-Симон искренне желал власти, и дважды ему казалось, что он ею обладает; "но воды, как у Тантала, отступали от его губ всякий раз, когда он думал прикоснуться к ним". Я не думаю, однако, что мы должны его жалеть. Он плохо бы занял место Кольбера и Лувуа, и даже его хорошие качества, возможно, были бы ему во вред. Страстный и раздражительный, он горячо чувствует малейшую обиду и впадает в страсть при каждом удобном случае. Самые незначительные происшествия приводят его в восторг, и мы чувствуем, что когда он рассказывает о них, то делает это от всего сердца. Эта пылкая чувствительность, которая согревает все его рассказы, сделала его несравненным художником, но поскольку она всегда путала его суждения, то сделала его безразличным политиком. Пример Цицерона хорошо это показывает.

Мы правы, говоря, что в речах Цицерона мы находим те же качества, что и в его письмах, но в письмах они проявляются сильнее, потому что он более свободен и дает больше игры своим чувствам. Когда он пишет кому-то из друзей, он не размышляет так долго, как когда ему предстоит обратиться к народу; он высказывает свои первые впечатления, и высказывает их с жизнью и страстью, по мере того как они поднимаются в нем. Он не берет на себя труд отшлифовать свой стиль; все, что он пишет, обычно имеет такую изящную воздушность, что-то настолько легкое и простое, что мы не можем заподозрить подготовку или искусственность. Корреспондент, желавший угодить ему, однажды заговорил с ним о громогласности его высказываний, *fulmina verborum*, на что он ответил: "Что же вы думаете о моих письмах? Не кажется ли вам, что я пишу вам в обычном стиле? Нельзя всегда придерживаться одного и того же тона. Письмо не может походить на мольбу или политическую речь... в нем используются повседневные выражения". Даже если бы он захотел уделять им больше внимания, он не смог бы найти досуга. У него было столько писем, что хватало на всех! Один только Аттикус иногда получал по три письма в один день. Поэтому он писал их где попало - во время заседания сената, в саду, на прогулке, на большой дороге, когда путешествовал. Иногда он писал их из своей столовой, где диктовал их своим секретарям между двумя блюдами. Когда он пишет их своей рукой, то не дает себе времени на размышления. "Я беру первое попавшееся перо, - говорит он брату, - и использую его как попало". Таким образом, расшифровать его было не всегда легко. Когда кто-нибудь жалуется, у него нет недостатка в оправданиях. Во всем виноваты посланцы его друзей, которые не хотят ждать. "Они приходят все готовые к старту, в дорожных шапках, говорят, что их спутники ждут их у дверей" Чтобы не заставлять их ждать, он должен писать наугад все, что приходит ему в голову.

Давайте поблагодарим этих нетерпеливых друзей, этих торопливых гонцов, которые не давали Цицерону времени на создание красноречивых эссе. Его письма радуют нас именно тем, что содержат первый поток его эмоций, что они полны изящной небрежности и естественности. Поскольку он не тратит времени на маскировку, мы видим его таким, какой он есть. Однажды его брат сказал ему: "В твоём письме я увидел тебя самого". Мы и сами склонны говорить то же самое каждый раз, когда читаем его. Если он так оживлен, серьезен и одушевлен, когда обращается к своим друзьям, то это потому, что он так легко переносит себя в воображении туда, где они находятся. "Мне кажется, что я разговариваю с вами" пишет он одному из них. "Не знаю, как так получается, - говорит он другой, - что, переписываясь с вами, я думаю, что нахожусь рядом с вами". В письмах он поддается своим мимолетным эмоциям еще больше, чем в речах. Когда он приезжает в один из своих прекрасных загородных домов, которые ему так нравятся, он отдается удовольствию увидеть его снова; никогда еще он не казался ему таким прекрасным. Он посещает портики, гимназии, сады; он бежит к своим книгам, стыдясь, что оставил их. Любовь к одиночеству овладевает им так сильно, что он никогда не находит себя в достаточном одиночестве. Он заканчивает тем, что ему не нравится его дом в Формиях, потому что там так много незваных гостей. "Это не вилла, - говорит он, - это общественная гостиная". Там он снова находит величайших зануд в мире, своего друга Себоса и друга Аррия, который упорно не хочет возвращаться в Рим, сколько бы он его ни уговаривал, чтобы составить ему компанию и философствовать с ним целыми днями. "Пока я пишу тебе, - говорит он Аттику, - объявился Себос. Я не успел закончить сетовать на это, как слышу, что Аррий приветствует меня. Неужели это отъезд из Рима? Что толку бежать от других, чтобы попасть в руки этих?" Я хочу, - добавляет он, цитируя прекрасный стих, вероятно, заимствованный из его собственных произведений, - я хочу улететь в горы моей родины, в колыбель моего младенчества. *In montes patrios et ad incunabula nostra.*" На самом деле он отправляется в Арпинум; он продлевает свое путешествие до Антиума, дикого Антиума, где он проводит время, считая волны. Это безмятежное спокойствие доставляет ему такое удовольствие, что он жалеет, что не был дуумвиром в этом маленьком городке, а не консулом в Риме. У него нет более высокого стремления, чем вновь встретиться со своим другом Аттиком, погулять с ним на солнце или поговорить о философии, "сидя на маленькой скамеечке под статуей Аристотеля". В этот момент ему, кажется, противна общественная жизнь, он не желает слышать о ней. "Я решил больше не думать об этом", - говорит он. Но мы знаем, как он сдержал подобное обещание. Как только он возвращается в Рим, он погружается в гущу политики; страна и ее удовольствия забыты. Лишь время от времени мы обнаруживаем несколько мимолетных сожалений о более спокойной жизни. "Когда же мы будем жить?" *quando vivemus?* с грустью говорит он в этом вихре дел, который торопит его.^[20] Но эти робкие жалобы вскоре заглушаются шумом и движением боя. Он вступает в нее и принимает в ней участие с большим рвением, чем кто-либо другой. Он все еще взволнован ею, когда пишет Аттикусу, о ее возбуждении свидетельствуют его письма, которые доносят ее до нас. Мы представляем себя наблюдающими за теми невероятными сценами, которые происходят в сенате, когда он нападает на Хлодия, то с помощью речей, то стремительных вопросов, применяя против него поочередно самые тяжелые орудия риторики и самые легкие валы язвительности. Он еще более энергичен, когда описывает народные собрания и рассказывает о скандалах во время выборов. "Следуйте за мной на Campus Martius, там процветает коррупция, *sequere me in Campum; ardet ambitus.*" И он показывает нам кандидатов за работой, с кошельком в руке, или судей на Форуме, бесстыдно продающих себя тому, кто им заплатит, *judices quos fames magis quam fama commovit.*

Поскольку он имеет привычку поддаваться своим впечатлениям и меняться вместе с ними, его тон меняется от письма к письму. Нет ничего более унылого, чем те, которые он пишет в

изгнании; они представляют собой непрерывный стон; но сразу после возвращения из изгнания его предложения внезапно становятся величественными и торжественными. Они полны тех лестных превосходных слов, которые он так щедро раздает тем, кто ему служил: *fortissimus, prudentissimus, exoptatissimus* и т. д., он в великолепных выражениях превозносит знаки уважения, оказываемые ему людьми с положением, авторитет, которым он пользуется в курии, заслугу, которую он так славно завоевал на Форуме, *splendorem ilium forensem, et in senatu auctoritatem et apud viros bonos gratiam*.^[22] Хотя он обращается только к своему верному Аттику, нам кажется, что мы слышим отголосок тех ораций, которые он только что произнес в сенате и перед народом. Иногда случается, что в самых серьезных случаях он улыбается и шутит с другом, который его забавляет. В разгар конфликта с Антонием он пишет очаровательное письмо Папирию Поэту, в котором в столь увлекательной манере советует ему снова посещать хорошие столы и давать хорошие обеды своим друзьям.^[23] Он не бросает вызов опасностям, он забывает о них; но стоит ему встретить какого-нибудь робкого человека, как он вскоре разделяет его страх, его тон сразу меняется; он становится оживленным, горячим; печаль, страх, эмоции без усилий переносят его в высшие слои красноречия. Когда Цезарь угрожает Риму и нагло ставит перед сенатом свои окончательные условия, мужество Цицерона возрастает, и он использует, когда пишет одному человеку, те энергичные фигуры речи, которые были бы неуместны в публичной оратории. "Какая судьба уготована нам! Неужели мы должны уступить его дерзким требованиям!" - так называет их Помпей. В самом деле, разве можно представить себе более бесстыдную дерзость? Вы десять лет занимали провинцию, которую вам не давал сенат, но которую вы захватили сами с помощью интриг и насилия. Наступил срок, который только ваш каприз, а не закон, определил для вашей власти. Но предположим, что это закон - срок наступил, мы называем вашего преемника, но вы сопротивляетесь и говорите: "Уважайте мои права". А вы, что вы делаете с нашими? Под каким предлогом ты держишь свою армию дольше срока, установленного народом, вопреки сенату? Ты должен уступить мне или сражаться. Ну что ж! Давай сражаться, отвечает Помпей, по крайней мере, у нас есть шанс победить или умереть свободными людьми".

Если бы я захотел найти другой пример такого приятного разнообразия и таких быстрых перемен, я не стал бы обращаться к Плинию или к тем, кто, подобно ему, писал свои письма для публики, а спустился бы к мадам де Севинье. У нее, как и у Цицерона, очень живое и разностороннее воображение; она без раздумий поддается первым эмоциям; ее захватывает настоящее, и удовольствие, которое она испытывает, всегда кажется ей наивысшим. Было замечено, что она получала удовольствие везде, но не по той лености ума, которая привязывает нас к месту, где мы находимся, чтобы избежать проблем с переменой, а по живости ее характера, который полностью отдавал ее удовольствиям момента. Париж не очаровал ее настолько, чтобы помешать ей полюбить деревню, и никто в ту эпоху не говорил о природе лучше, чем эта модница, которая была так непринужденна в гостиницах и казалась созданной для них. Она сбегает в Ливри в первый же прекрасный день, чтобы насладиться "триумфом мая", "соловьем, кукушкой и пеночкой, которые начинают весну в лесу". Но Ливри все еще слишком моден, ей необходимо более полное уединение, и она с радостью удаляется под свои большие деревья в Бретани. На этот раз ее парижские друзья думают, что она до смерти устала, не имея ни новостей, которые можно было бы повторить, ни прекрасных умов, с которыми можно было бы побеседовать. Но она взяла с собой какой-нибудь серьезный моральный трактат Николь; она нашла среди тех забытых книг, последним пристанищем которых, как и старой мебели, является страна, какой-нибудь роман своей юности, который она снова тайком перечитывает и в котором, к своему удивлению, все еще находит удовольствие. Она болтает со своими жильцами, и так же, как Цицерон предпочитал общество деревенских жителей обществу провинциальных модников, ей больше нравится

беседовать со своим садовником Пилуа, чем с "несколькими, сохранившими титул эсквайра в Реннском парламенте". Она гуляет в своем Молле, по тем уединенным аллеям, где деревья, испещренные благозвучными девизами, как будто разговаривают друг с другом; она находит в своем захолустье столько удовольствия, что не может решиться покинуть его; тем не менее ни одна женщина не любит Париж больше. Вернувшись туда, она полностью отдается удовольствиям модной жизни. Ее письма полны этого. Она так легко перенимает впечатления, что, просматривая их, мы почти можем сказать, какие книги она только что читала, на каких беседах присутствовала, какие гостиные только что покинула. Когда она с таким удовольствием повторяет дочери придворные сплетни, мы понимаем, что она только что беседовала с изящной и остроумной мадам де Куланж, которая ей их повторила. Когда она так трогательно говорит о Тюренне, она только что покинула Буйонский дом, где семья принца оплакивает его разбитую судьбу и смерть. Она читает лекции, она проповедует себя с Николь, но недолго. Пусть ее сын войдет и расскажет ей о тех веселых приключениях, героем или жертвой которых он был, она смело пересказывает самые рискованные истории, но с условием, что чуть позже скажет: "Простите нас, месье Николь!" В гостях у Ларошфуко все обращается к морали; она извлекает уроки из всего, везде видит образ жизни и человеческого сердца, даже в отваре гадюки, который собираются дать заболевшей мадам де ла Файетт. Разве эта гадюка, которую хоть и вскрыли и сняли с нее кожу, все еще извивается, не похожа на наши старые страсти? "Что мы только с ними не делаем! Мы обращаемся с ними с оскорблениями, грубостью, жестокостью, презрением; мы ссоримся, сетуем, бушуем, а они все равно шевелятся. Мы не можем их одолеть. Мы думаем, что, вырвав их сердце, покончим с ними и больше не услышим о них. Но нет; они всегда живы, они всегда движутся". Эта легкость, с которой она получает впечатления и которая заставляет ее так быстро перенимать настроения людей, которых она посещает, заставляет ее также испытывать потрясение от великих событий, на которые она смотрит. Стиль ее писем поднимается, когда она рассказывает о них, и, подобно Цицерону, она становится красноречивой бессознательно. Какое бы восхищение ни вызывали у меня величие мыслей и живость выражения в том прекрасном произведении Цицерона о Цезаре, которое я только что процитировал, меня все же больше трогает, признаюсь, письмо мадам де Севинье о смерти Лувуа, и я нахожу больше смелости и блеска в том ужасном диалоге, который она представляет себе между министром, требующим помилования, и Богом, который отказывает ему.

Эти качества достойны восхищения, но они несут в себе определенные недостатки. Такие поспешные впечатления часто бывают весьма мимолетными. Когда люди увлекаются слишком ярким воображением, они не дают себе времени подумать, прежде чем говорить, и рискуют, что им придется часто менять свое мнение. Так, мадам де Севинье не раз противоречила сама себе. Но, будучи всего лишь модной женщиной, ее непоследовательность не имеет большого веса, и мы не смотрим на нее как на преступление. Какое нам дело до того, что ее мнения о Флешье и Маскароне менялись, что, безоговорочно восхитившись "*Принцессой де Клев*", когда она читала ее одна, она поспешила найти в ней тысячу недостатков, когда ее кузен Бюсси осудил ее? Но Цицерон - политик, и от него ждут большей серьезности. Мы требуем, чтобы его мнения были более связными; а ведь именно этого меньше всего допускает живость его воображения. Он никогда не хвастался своей последовательностью. Когда он судит о событиях или людях, он иногда без колебаний переходит в течение нескольких дней из одной крайности в другую. В письме от конца октября Катон назван прекрасным другом (*amicissimus*), а образ его действий объявлен удовлетворительным; в начале ноября его обвиняют в постыдном недоброжелательстве в том же деле,^[25] потому что Цицерон редко судит только по своим впечатлениям, а в таком

подвижном духе, как его, очень разные, но одинаково яркие впечатления следуют друг за другом очень быстро.

Другая опасность, и еще более серьезная, этого избытка воображения, которое не может контролировать себя, заключается в том, что оно может создать у нас самое низкое и ложное мнение о тех, кто поддается его влиянию. Идеальные герои встречаются только в романах. Добро и зло так смешаны в нашей природе, что одно редко встречается без другого. Самые сильные характеры имеют свои слабости, а самые прекрасные поступки проистекают не только из самых благородных побуждений. Наши лучшие привязанности не полностью свободны от эгоизма; сомнения и ошибочные подозрения иногда нарушают самые крепкие дружеские отношения, а в определенные моменты в голове самых благородных людей могут быстро промелькнуть скупость и ревность, которых человек стыдится на следующий день. Благоразумные и умные люди тщательно скрывают все те чувства, которые не выносят света; те же, чьи быстрые впечатления увлекают их за собой, подобно Цицерону, высказываются, и их очень сильно порицают. Устное или письменное слово придает большую силу и постоянство этим беглым мыслям; они были лишь вспышками; в письменном виде они закрепляются и подчеркиваются; они приобретают ясность, облегчение и важность, которых не имели в действительности. Эти сиюминутные слабости, эти нелепые подозрения, проистекающие из уязвленного самолюбия, эти короткие вспышки гнева, затихающие сразу после размышлений, эти несправедливые мысли, которые порождает досада, эти честолюбивые порывы, от которых разум спешит откреститься, никогда не исчезают, если их однажды доверили другу. В один прекрасный день какой-нибудь пылливый комментатор изучит эти слишком откровенные разоблачения и воспользуется ими, чтобы нарисовать портрет нескромного человека, который их сделал, чтобы напугать потомство. Точными и неопровержимыми цитатами он докажет, что был плохим гражданином и плохим другом, что не любил ни свою страну, ни свою семью, что завидовал честным людям и предавал все партии. Однако это не так, и мудрый человек не будет обманываться хитростью вводящих в заблуждение цитат. Такой человек прекрасно понимает, что мы не должны воспринимать этих импульсивных людей буквально или слишком доверять их словам. Мы должны спасать их от самих себя, отказываться слушать их, когда они сбиты с пути страстью, и особенно должны отличать их настоящие и прочные чувства от всех тех преувеличений, которые являются лишь преходящими. По этим причинам каждый человек не в состоянии досконально понять эти письма, каждый не может читать их так, как их следует читать. Я с недоверием отношусь к тем ученым людям, которые, не имея ни знакомства с людьми, ни жизненного опыта, претендуют на то, чтобы судить о Цицероне по его переписке. Чаще всего они судят о нем плохо. Они ищут выражения его мысли в той банальной вежливости, которой требует общество и которая не больше обязывает тех, кто ее использует, чем обманывает тех, кто ее принимает. Те уступки, на которые приходится идти, если мы хотим жить вместе, они называют трусливыми компромиссами. Они видят явные противоречия в тех различных оттенках, которые человек придает своим мнениям в зависимости от того, с кем он разговаривает. Они торжествуют над безрассудством некоторых признаний или фатальностью некоторых похвал, потому что не замечают тонкой иронии, которая их скрашивает. Чтобы оценить все эти оттенки, придать вещам их реальную значимость, уловить суть тех фраз, которые произносятся с полуулыбкой и не всегда означают то, что кажутся сказанными, требуется большее знакомство с жизнью, чем то, которое обычно получают в немецком университете. Если я должен сказать, что я думаю, я бы предпочел довериться в этом вопросе человеку из мира, а не ученому, для тонкой оценки.

Цицерон - не единственный человек, о котором рассказывает эта переписка. Она полна любопытных подробностей обо всех, кто поддерживал с ним дружеские или деловые

отношения. Это были самые известные личности того времени, сыгравшие главную роль в революции, положившей конец Римской республике. Никто не заслуживает большего изучения, чем они. Здесь следует отметить, что один из недостатков Цицерона принес огромную пользу потомкам. Если бы речь шла о ком-то другом, например, о Катоне, сколько чужих писем пропало бы в этой переписке! Только добродетельные люди нашли бы в ней место, а их, как известно, в то время было не так уж много. Но, к счастью, Цицерон был гораздо более покладистым и не привносил в выбор друзей строгие угрызения совести Катона. Добродушие делало его доступным для людей любого мнения; тщеславие заставляло его искать похвалы повсюду. Он вел дела со всеми партиями - большой недостаток политика, за который проницательные люди его времени горько упрекали его, но недостаток, которым мы пользуемся; поэтому так получилось, что в его переписке представлены все партии. Этот услужливый юмор иногда приводил его в соприкосновение с людьми, чьи мнения были наиболее противоположны его мнению, и в некоторые моменты он оказывался в близких отношениях с самыми плохими гражданами, которых он в другое время осыпал своими ругательствами. Сохранились письма, которые он получал от Антония, Долабеллы и Курио, и эти письма полны выражений уважения и дружбы. Если бы переписка велась дальше, мы, вероятно, имели бы некоторые из писем Катилина, и, честно говоря, я сожалею об их отсутствии; ведь если мы хотим судить о состоянии общества, как о конституции человека, недостаточно исследовать здоровые части, мы должны обработать и прощупать до дна непрочные части. Так, все важные люди того времени, какими бы ни были их поступки и к какой бы партии они ни принадлежали, имели дело с Цицероном. О каждом из них можно найти упоминания в его переписке. Некоторые из их писем сохранились, и мы располагаем большим количеством тех, которые Цицерон писал им. Частные подробности, которые он сообщает нам об этих людях, их взглядах, привычках и характере, позволяют нам свободно проникнуть в их жизнь. Благодаря ему все те лица, которых история изображает нечетко, обретают свой первоначальный облик; он как бы приближает их к нам и знакомит нас с ними; прочитав его переписку, мы можем сказать, что только что посетили все римское общество его времени.

Цель, которую мы ставим перед собой в этой книге, - внимательно изучить некоторых из этих людей, особенно тех, кто был наиболее вовлечен в великие политические события того периода. Но прежде чем приступить к этому исследованию, необходимо принять твердое решение не привносить в него соображения, относящиеся к нашему собственному времени. В наши дни слишком распространен обычай искать в истории прошлого оружие для нашей нынешней борьбы. Умные аллюзии и хитроумные параллели пользуются наибольшим успехом. Возможно, римская античность так модна только потому, что дает политическим партиям удобное и менее опасное поле боя, где под древними костюмами могут бороться современные страсти. Если имена Цезаря, Помпея, Катона и Брута цитируются по любому поводу, эти великие люди не должны слишком гордиться такой честью. Любопытство, которое они вызывают, не совсем бескорыстно, и когда о них говорят, то почти всегда для того, чтобы привести эпиграмму или запустить лезвие. Я хочу избежать этой ошибки. Эти прославленные покойники, как мне кажется, заслуживают большего, чем служить орудием в раздирающих нас ссорах, и я достаточно уважаю их память и их покой, чтобы не втягивать их на арену наших повседневных споров. Никогда не следует забывать, что это оскорбление истории - подчинять ее изменчивым интересам партий, и что она должна быть, по меткому выражению Фукидида, произведением, созданным для вечности.

Приняв эти меры предосторожности, давайте проникнем с помощью писем Цицерона в римское общество того великого периода и начнем с изучения того, кто так любезно предлагает нам оказать эту честь.

ЦИЦЕРОН В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

I ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЦИЦЕРОНА

Общественная жизнь Цицерона обычно сурово оценивается историками нашего времени. Он несет наказание за свою умеренность. Поскольку этот период изучается сейчас только с политическими целями, такой человек, как он, старавшийся избегать крайностей, никого не удовлетворяет. Все партии сходятся в нападках на него; со всех сторон над ним смеются или оскорбляют. Фанатичные приверженцы Брута обвиняют его в робости, самые горячие друзья Цезаря называют его глупцом. Именно в Англии и среди нас^[26] его меньше всего оскорбляли, и классические традиции соблюдались больше, чем в других местах; ученые все еще сохраняют свои старые привычки и свои старые восхищения, и посреди стольких конвульсий критика, по крайней мере, осталась консервативной. Возможно, снисходительность, проявленная к Цицерону в обеих странах, объясняется опытом политической жизни. Когда человек живет в практике дел и в гуще партий, он лучше понимает, каких жертв могут потребовать от государственного деятеля необходимость момента, интересы его друзей и безопасность его дела, но тот, кто судит о его поведении только по несгибаемым теориям, придуманным в одиночестве и не прошедшим проверку опытом, становится к нему более суровым. Это, несомненно, является причиной того, что немецкие ученые используют его так грубо. За исключением М. Абекена,^[27] который относится к нему гуманно, они не испытывают жалости. Друмманн^[28] особенно ничего не упускает из виду. Он тщательно изучил свои произведения и свою жизнь с тщательностью и проницательностью адвоката, ищущего основания для судебного процесса. Он обнажил всю свою переписку в духе добросовестного недоброжелательства. Он мужественно противостоял очарованию тех конфиденциальных разоблачений, которые заставляют нас восхищаться писателем и любить человека, несмотря на его слабости, и, противопоставляя друг другу отдельные фрагменты его писем и высказываний, сумел составить формальный обвинительный акт, в котором ничего не упущено и который почти заполняет целый том. М. Моммзен^[29] едва ли более мягок, он лишь менее пространен. Приняв общий взгляд на вещи, он не теряется в деталях. На двух компактных страницах, полных фактов, таких, как он умеет писать, он нашел средства, чтобы обрушить на Цицерона больше оскорблений, чем содержит весь том Друманна. В частности, мы видим, что этот притворный государственный деятель был всего лишь эгоистом и недалеким политиком, а этот великий писатель - всего лишь газетный романист и спецлидер. Здесь мы видим то же самое перо, которое только что записало Катона Дон Кихотом, а Помпея - капралом. Поскольку, изучая прошлое, он всегда имеет в виду настоящее, можно сказать, что в римской аристократии он ищет оруженосцев Пруссии, а в Цезаре заранее приветствует того народного деспота, чья твердая рука одна может дать единство Германии.

Сколько правды в этих яростных нападках? С каким доверием мы можем отнестись к этой смелости революционной критики? Какое суждение мы должны вынести о политическом поведении Цицерона? Изучение фактов научит нас.

I.

Три причины обычно способствуют формированию политических взглядов человека - его рождение, его личные размышления и его темперамент. Если бы я не говорил здесь только об искренних убеждениях, я бы с готовностью добавил четвертую, которая вызывает больше обращений, чем остальные, а именно интерес, то есть то, что заставляет человека почти вопреки себе думать, что самый выгодный курс является также самым справедливым, и согласовывать свое мнение с позицией, которую он занимает или желает занять. Попробуем выяснить, какое влияние эти причины оказали на поведение и политические предпочтения Цицерона.

В Риме долгое время мнения определялись рождением. В городе, где так уважали традиции, идеи родителей передавались по наследству так же, как их имущество или имя, и было делом чести верно следовать их политике; но во времена Цицерона эти обычаи начали приходить в упадок. Старейшие семьи не стеснялись нарушать свои наследственные обязательства. В то время в сенаторской партии можно было встретить немало имен, прославившихся защитой народных интересов, а самый дерзкий демагог того времени носил имя Клодий. Кроме того, Цицерон никогда бы не нашел политического направления в своем рождении. Он принадлежал к неизвестной семье, первым из своей расы занялся государственными делами, а имя, которое он носил, не приписывало его заранее к какой-либо партии. На самом деле он родился не в Риме. Его отец жил в одной из тех маленьких сельских муниципий, над которыми острословы охотно потешались, потому что в них говорили на сомнительной латыни и не знали хороших манер, но которые, тем не менее, были силой и честью Республики. Тот грубый, но храбрый и умеренный народ, который населял заброшенные города Кампании, Лациума и Сабинской области и среди которого привычки сельской жизни сохранили что-то от древней добродетели,^[30] в действительности был римским народом. Тот, кто заполнял улицы и площади великого города, проводил время в театре, участвовал в беспорядках на Форуме и продавал свои голоса на Campus Martius, был всего лишь сборищем вольноотпущенников и иностранцев, среди которых можно было узнать только беспорядок, интриги и коррупцию. В муниципиях жизнь была более честной и здоровой. Населявшие их граждане по большей части оставались чуждыми вопросам, обсуждавшимся в Риме, и слухи о государственных делах до них не доходили. Иногда их можно было увидеть на Campus Martius или на Форуме, когда речь шла о том, чтобы проголосовать за одного из своих сограждан или поддержать его своим присутствием в трибунале; но обычно они мало беспокоились об осуществлении своих прав и оставались дома. Они были не менее преданы своей стране, ревниво относились к своим привилегиям, даже когда не пользовались ими, гордились своим званием римских граждан и были очень привязаны к республиканскому правительству, которое дало им это звание. Для них республика сохранила свой престиж, потому что, живя на расстоянии, они меньше видели ее слабости и всегда вспоминали ее древнюю славу. Детство Цицерона прошло среди этих сельских жителей, столь же отсталых в своих представлениях, сколь и в нравах. У них он научился любить прошлое больше, чем знать настоящее. Это было первое впечатление и первое наставление, которое он получил от тех мест, как и от тех людей, среди которых прошли его ранние годы. Позже он с умилением рассказывал о скромном доме, который построил его отец возле Лириса и который своей суровой простотой напоминал дом старого Куриуса^[31]. Я думаю, что те, кто жил в нем, должно быть, считали себя перенесенными на столетие назад, и что, заставляя их жить среди памятников прошлого, он привил им склонность и вкус к старомодным вещам". Если Цицерон и был чем-то обязан своему рождению, то только этим. Возможно, в своей семье он приобрел уважение к прошлому, любовь к своей стране и инстинктивное предпочтение республиканскому правительству, но

в ней он не нашел ни точной традиции, ни положительной связи с какой-либо партией. Когда он вступил в политическую жизнь, ему пришлось решать за себя, что было большим испытанием для непостоянного характера! А для того, чтобы сделать выбор среди стольких противоречивых мнений, необходимо было рано начать учиться и размышлять.

Результаты своих размышлений и исследований Цицерон воплотил в политических трудах, из которых самый важный, "Республика", дошел до нас в весьма несовершенном виде. То, что осталось от нее, показывает, что здесь, как и везде, он является горячим учеником греков. Он отдает предпочтение Платону, и его восхищение им настолько сильно, что часто почти заставляет нас думать, что он довольствуется его переводом. В целом Цицерон, похоже, не слишком заботится о славе оригинальности. Это почти единственное тщеславие, которого ему не хватает. В его переписке есть необычное признание по этому поводу, которое свободно использовалось против него. Чтобы дать понять своему другу Аттику, как его произведения стоили ему так мало хлопот, он говорит: "Я только поставляю слова, в которых у меня нет недостатка";^[32] но Цицерон, вопреки своему обыкновению, клеветает здесь на себя. Он не такой уж подневольный переводчик, каким его хотят представить, и разница между ним и Платоном велика, особенно в его политических произведениях. Их книги, действительно, носят одинаковое название, но как только их открывают, мы видим, что на самом деле они совершенно не похожи. Для философа-спекулянта, такого как Платон, характерно рассматривать абсолютную цель во всем. Если он хочет создать конституцию, то вместо того, чтобы изучать людей, которые будут ею управлять, он начинает с какого-то принципа, заложенного разумом, и с непреклонной строгостью доводит его до логических следствий. Таким образом, ему удастся сформировать одну из тех политических систем, где все связано и держится вместе, и которые своим восхитительным единством радуют ум мудреца, изучающего их, как правильность прекрасного здания радует глаз тех, кто на него смотрит. К сожалению, подобная конституция, продуманная в одиночестве и отлитая по крупицам, сложна в применении. Когда дело доходит до практической реализации, со всех сторон возникает неожиданное сопротивление. Национальные традиции, характер, воспоминания, все те социальные силы, которые не были учтены, не хотят подчиняться навязанным им суровым законам. Тогда становится ясно, что эти вещи нельзя вылепить по своему усмотрению, и, поскольку они категорически отказываются уступать, нужно быть готовым изменить эту конституцию, которая казалась такой прекрасной, когда ее еще не применяли. Но здесь снова возникает большая трудность. Нелегко что-либо изменить в этих компактных и логичных системах, где все так искусно устроено, что нарушение одной детали выводит из строя все остальное. Кроме того, философы по природе своей властны и абсолютны; они не любят, когда им мешают. Чтобы избежать провоцирующего их противостояния, чтобы максимально уйти от требований реальности, они подражают афинянину, о котором говорит Аристофан, и который, не найдя здесь, внизу, подходящей ему республики, отправился искать ее в облаках. Они также строят воздушные замки, идеальные республики, управляемые воображаемыми законами. Они создают восхитительные конституции, но их недостаток в том, что они не применимы ни к одной конкретной стране, потому что они созданы для всего человечества.

Цицерон поступал иначе. Он знал публику, к которой обращался; он знал, что эта серьезная и здравомыслящая раса, так быстро схватывающая практическую сторону вещей, не будет удовлетворена этими фантазиями, и поэтому он не теряет себя в этих мечтах об идеале и абсолюте. Он не берется устанавливать законы для всей Вселенной; он думает прежде всего о своей стране и своем времени, и хотя кажется, что он составляет план идеальной республики, то есть такой, которая не может существовать, очевидно, что его взгляд прикован к конституции, которая действительно существует. Ниже приведены почти все его

политические теории. Из трех форм правления, которые обычно выделяют, ни одна не удовлетворяет его в полной мере, когда она изолирована. Мне нет нужды говорить об абсолютном правительстве одного человека, он умер, чтобы противостоять этому.^[33]

Два других вида правления, правление всех или немногих, то есть демократия и аристократия, также не кажутся ему безупречными. Трудно быть вполне довольным аристократией, когда не имеешь преимущества принадлежать к большой семье. Римская аристократия, несмотря на великие качества, проявленные ею в завоевании мира и управлении им, была, как и другие, высокомерной и исключительной. Проверки, которым она подвергалась в течение столетия, ее видимый упадок и ощущение приближающегося конца, должно быть, не только не излечили ее от гордыни, но и сделали ее более непримиримой. Предрассудки становятся все более узкими и несгибаемыми, когда им остается жить совсем недолго. Мы знаем, как наши *эмигранты*, оказавшись лицом к лицу с победившей революцией, тратили свои последние силы в глупой борьбе за первенство. Точно так же и римская знать в момент, когда власть ускользала от нее, казалось, преувеличивала ее недостатки и своим презрением отталкивала уважаемых людей, которые предлагали себя для ее защиты. Цицерон чувствовал, что его влечет к нему вкус к утонченности манер и элегантным удовольствиям; но он не мог вынести его дерзости. Поэтому он всегда поддерживал против него недоброжелательность недовольного плебея, даже служа ему. Он прекрасно знал, что его рождение не осталось незамеченным и что его называют выскочкой (*homo novus*), и в ответ не уставал подшучивать над теми счастливыми, которым не нужно иметь никаких заслуг, которым не нужно доставлять хлопот и которым самые высокие места в республике достаются, пока они спят (*quibus omnia populi romani beneficia dormientibus deferuntur*).^[34]

Но если аристократия его мало устраивала, то народное правление нравилось ему еще меньше. Это худшее из всех, говорил он, предвосхищая Корнелия,^[35] и, говоря так, следовал мнению большинства греческих философов, своих учителей, которые почти все выказывали сильное отвращение к демократии. Они не только держались в стороне от толпы по роду своих занятий, проводимых в тишине и уединении, но и тщательно избегали ее, чтобы не приобщиться к ее ошибкам и предрассудкам. Они постоянно заботились о том, чтобы оставаться вне ее и над ней. Гордость, которую питала в них эта изоляция, не позволяла им видеть равного себе в человеке из народа, чуждом тем занятиям, которыми они так гордились. Поэтому превосходство числа, которое придает такое же значение неучу, как и мудрецу, было им неприятно. Цицерон прямо говорит, что равенство, понимаемое таким образом, есть величайшее неравенство, *ipsa aequitas iniquissima est*.^[36] Это был не единственный и даже не самый большой упрек, который греческие философы, и Цицерон вместе с ними, бросали демократии. Они считали, что она по природе своей беспокойна и неспокойна, враг размышлений, и что она не дает того досуга ученым и мудрецам, который необходим для тех работ, которые они затевают. Когда Цицерон думал о народном правлении, в его воображении возникали только ссоры и драки между фракциями. Он вспоминал плебейские бунты и бурные сцены на Форуме. Ему казалось, что он слышит те угрожающие жалобы должников и нуждающихся, которые вот уже триста лет нарушали покой богачей. Как можно было среди этой суматохи заниматься занятиями, требующими тишины и покоя? Удовольствия ума прерываются каждый миг в этом царствовании насилия, которое постоянно вытаскивает людей из спокойствия их библиотеки на общественные улицы. Эта бурная и неустойчивая жизнь плохо подходила такому твердому другу учебы, и если высокомерие дворян иногда бросало его в сторону народной партии, то неприязнь к насилию и шуму не позволяла ему оставаться в ней.

Какая же форма правления казалась ему наилучшей? Та, которая объединяет их всех в справедливом равновесии - он так прямо и говорит в своей *"Республике"*. "Я желал бы, чтобы в государстве была верховная и царская власть, чтобы другая часть была предоставлена власти главных граждан, а некоторые вещи были оставлены на усмотрение и волю народа" Это смешанное и ограниченное правительство не является, по его словам, воображаемой системой, как республика Платона. Оно реально существует и работает; это правительство его собственной страны. Это мнение вызывает много споров. М. Моммзен считает, что оно так же мало согласуется с философией, как и с историей. Если брать его строго, то оно, конечно, скорее патриотическое, чем истинное. Было бы очень далеко заходить, если бы считать римскую конституцию безупречным образцом и закрывать глаза на ее недостатки в тот самый момент, когда она погибла из-за этих самых недостатков; тем не менее следует признать, что при всех своих несовершенствах она была одной из самых мудрых в древности и что, пожалуй, ни одна из них не приложила столько усилий для удовлетворения двух великих потребностей общества - порядка и свободы. Нельзя отрицать и того, что ее главная заслуга заключалась в стремлении объединить и примирить различные формы правления, несмотря на их очевидный антагонизм. Полибий понял это раньше Цицерона, и это достоинство вытекает из его происхождения и способа, которым он был сформирован. Греческая конституция почти вся была делом рук одного человека, римская - делом времени. Тот искусный баланс сил, которым так восхищался Полибий, не был придуман одним предвидящим умом. В ранние времена Рима мы не находим ни одного законодателя, который бы заранее определил, какую роль должен играть каждый социальный элемент в общей комбинации; эти элементы комбинировались сами по себе. Мятежи плебеев, отчаянная борьба трибуната с патрициями, наводившая ужас на Цицерона, больше, чем все остальное, способствовали завершению той конституции, которой он восхищался. После почти двухсотлетней борьбы, когда противоборствующие силы поняли, что не в состоянии уничтожить друг друга, они смирились и объединились, и в результате их совместных усилий возникло правительство, несомненно, несовершенное - разве может быть совершенное? Разумеется, мы помним, что Цицерон не воздавал эту хвалу римской конституции в том виде, в каком она существовала в его время. Его восхищение уходило далеко в прошлое. Он признавал, что со времен Гракхов она претерпела значительные изменения, но считал, что до этих изменений она была безупречна. Таким образом, занятия в зрелом возрасте вернули его к первым впечатлениям детства, укрепили любовь к старине и уважение к древним обычаям. По мере того как он продвигался по жизни, все его ошибки и несчастья возвращали его к тому времени. Чем более печальным было настоящее и угрожающим будущее, тем с большим сожалением он оглядывался на прошлое. Если бы его спросили, в какое время он хотел бы родиться, я думаю, он бы без колебаний выбрал период, последовавший за Пуническими войнами, то есть тот момент, когда Рим, гордый своей победой, уверенный в будущем и наводивший страх на весь мир, впервые увидел красоты Греции и начал ощущать очарование письма и искусства. Цицерон считает это время лучшим для Рима и по преимуществу помещает в него место действия своих диалогов. Он, конечно, хотел бы жить среди тех великих людей, которых он заставляет так хорошо говорить, в компании Сципиона, Фабия и Катона Старшего, рядом с Луцилием и Теренцием; и в этой прославленной группе человеком, чья жизнь и карьера больше всего прельщали бы его, кем бы он хотел быть, если бы человек мог выбирать свое время и распоряжаться своей судьбой, был мудрый и ученый Лаэлий.^[38] Соединить, подобно ему, высокое политическое положение с занятиями литературой, добавить к верховному авторитету красноречия несколько военных успехов, которыми не пренебрегают величайшие проповедники мирных триумфов, достичь высших достоинств республики в спокойные и упорядоченные времена, а после почтенной жизни насладиться уважаемой старостью - таков был идеал Цицерона.

Каких только сожалений и печали не испытывает он, когда, очнувшись от этого прекрасного сна, сталкивается с разочарованиями реальности, и вместо того, чтобы жить в спокойной республике и свободно общаться со Сципионами, он должен быть соперником Катилина, жертвой Клодия и подданным Цезаря.

Темперамент Цицерона, как мне кажется, имел все же большее отношение к его политическим предпочтениям, чем его рождение или размышления. О слабых сторонах его характера больше ничего не нужно узнавать; они с восторгом обнажены, даже умышленно преувеличены, и со времен Монтеня над ними принято смеяться. Мне нет нужды повторять то, о чем так часто говорилось, - что он был робок, нерешителен и нерешителен. Я признаю вместе со всеми, что природа сделала его скорее литератором, чем политиком, но не думаю, что это признание причиняет ему столько вреда, сколько можно было бы подумать. Ум литератора часто более совершенен, более всеобъемлющ, шире, чем у политика, и именно эта широта стесняет и мешает ему, когда он берется за государственные дела. Мы спрашиваем себя, какие качества необходимы государственному деятелю; не будет ли мудрее искать те, которых ему хорошо бы не хватать, и не проявляется ли политическая способность иногда в ее ограничениях и исключениях? Человеку действия, который должен быстро принимать решения, может помешать множество противоречивых причин, которые может представить ему слишком пристальный и глубокий взгляд на вещи. Слишком живое воображение, показывая ему сразу множество планов, не позволяет остановиться ни на одном. Решительность часто проистекает из узости ума и является одним из величайших достоинств политика. Очень чувствительная совесть, заставляя его быть слишком щепетильным в выборе союзников, лишает его мощной поддержки. Он не должен доверять тем великодушным порывам, которые заставляют его поступать справедливо даже по отношению к врагам: в яростной борьбе за власть человек рискует обезоружить себя и дать преимущество, если ему выпадет несчастье быть справедливым и терпимым. Нет ничего, что не могло бы стать для него опасным, даже природная прямота, первое качество государственного деятеля. Если он слишком чувствителен к эксцессам и актам несправедливости своей партии, он будет служить ей слабо; если он хочет сохранить верность, он должен не только оправдывать, но и закрывать на них глаза. Вот некоторые из недостатков сердца и ума, благодаря которым он добивается своих успехов. Если верно, как я полагаю, что политик часто преуспевает в управлении государством благодаря своим недостаткам, а литератор терпит неудачу благодаря своим качествам, то сказать, что он не годится для управления делами, значит сделать последнему почти комплимент.

Тогда мы можем сказать, не дискредитируя Цицерона, что он не был полностью пригоден для общественной жизни. Причины, сделавшие его несравненным писателем, не позволили ему стать хорошим политиком. Та открытость к впечатлениям, та тонкая и раздражительная чувствительность, которые были главными источниками его литературного таланта, не оставляли его в достаточной мере хозяином своей воли. Конкретные события слишком сильно влияли на него, а человек должен уметь отстраняться от них, чтобы управлять ими. Его разностороннее и плодовитое воображение, обращая его внимание на все стороны сразу, скорее лишало его возможности строить хорошо продуманные планы. Он не мог в достаточной степени обманывать себя относительно людей или предприятий, и поэтому был подвержен внезапным приступам нерешительности. Он часто хвастался тем, что предвидел и предсказывал будущее. Разумеется, не по своей должности авгура, а по какой-то неприятной проницательности, которая указывала ему на последствия событий, причем скорее плохих, чем хороших. В ночь на декабрь, когда он казнил сообщников Катилина, он не забыл о мести, которой подверг себя, и предвидел свое изгнание: в тот день, несмотря на упрекаемую ему нерешительность, в нем было больше мужества, чем в другом, который в

минуту волнения не заметил бы опасности. Одна из причин его неполноценности и слабости заключалась в том, что он был умеренным, умеренным скорее по конституции, чем по принципу, то есть с тем нервным и раздражительным нетерпением, которое в конце концов прибегает к насилию, чтобы защитить умеренность. В политической борьбе редко удается избежать излишеств. Обычно партии несправедливы в своих жалобах, когда их побеждают, жестоки в своих репрессиях, когда побеждают, и готовы без колебаний, как только могут, сделать то, в чем они обвиняют своих врагов. Если кто-либо из победителей чувствует, что заходит слишком далеко, и осмеливается сказать об этом, он неизбежно вызывает раздражение всех против себя. Их обвиняют в робости и колебаниях, называют слабыми и переменчивыми; но заслужен ли этот упрек? Разве Цицерон противоречил сам себе, когда, защищая несчастных людей, которых аристократия угнетала при Сулле, он тридцать лет спустя защищал жертв демократии при Цезаре? Не был ли он, напротив, более последовательным, чем те, кто, горько жалуясь на изгнание, изгонял своих врагов, как только получал власть? Однако мы должны признать, что если это живое чувство справедливости почетно в частном человеке, то оно может стать опасным в политике. Партии не любят тех, кто отказывается присоединиться к их эксцессам, и посреди всеобщей разнузданности выдвигают претензии на то, что только они остаются в рамках. Несчастье Цицерона заключалось в том, что он не обладал той твердой решимостью, которая закрепляет человека в его мнениях, и не переходил от одного мнения к другому, потому что ясно видел добро и зло всех. Человек должен быть очень самостоятельным, чтобы пытаться обойтись без других. Такая изоляция подразумевает решительность и энергию, которых не хватало Цицерону. Если бы он решительно примкнул к одной партии, то нашел бы в ней традиции и незыблемые принципы, твердых друзей и верное руководство, и ему оставалось бы только позволить вести себя. С другой стороны, пытаясь идти в одиночку, он рисковал сделать всех остальных своими врагами, в то время как у него самого не было четко обозначенной линии поведения. Достаточно взглянуть на основные события его политической жизни, чтобы понять, что именно в этом заключалась часть его несчастий и недостатков.

II.

То, что я только что сказал о характере Цицерона, объясняет его ранние политические взгляды. Впервые он появился на Форуме во времена правления Суллы. Аристократия тогда была всесильна и, как ни странно, злоупотребляла своей властью. После того как на мгновение покорился Марий, ее репрессии были ужасны. Бурные и беспорядочные расправы не могли утихомирить ее гнев. Применив свой холодный и упорядоченный дух к самому убийству, он изобрел проскрипцию, которая была лишь другим способом организации убийств. Удовлетворив таким образом свою месть, она начала укреплять свою власть. Она лишила богатейшие муниципалитеты Италии их собственности, исключила рыцарей из трибуналов, уменьшила привилегии народной комиции, лишила трибунов права вмешательства, то есть сравняла все вокруг себя. Когда он сломил всякое сопротивление смертью своих врагов и сосредоточил всю власть в своих руках, он торжественно объявил, что революция закончена, что законное правление возобновится, и что "убийства прекратятся после июньских календ". Несмотря на эти помпезные заявления, массовые убийства продолжались еще долго. Убийцы, охраняемые вольноотпущенниками Суллы, которые делили с ними прибыль, выходили по ночам на темные и кривые улицы старого города, вплоть до подножия Палатина. Они убивали богачей, возвращавшихся домой, и под тем или иным предлогом отбирали их имущество у судебных инстанций, причем никто не смел жаловаться. Таково было правительство, под которым жили люди в Риме, когда Цицерон впервые выступил с речами. Такой умеренный человек, как он, для которого излишества были неприятны, должен был испытывать ужас перед этим насилием.

Аристократическая тирания устраивала его не больше, чем народная. Перед этим злоупотреблением властью, которое позволяла себе аристократия, он почувствовал естественное влечение к помощи демократии и начал свою карьеру в рядах ее защитников.

Он сделал смелое и великолепное начало. Посреди безмолвного ужаса, который поддерживала память о запретах, он осмелился высказаться, и всеобщее молчание еще громче отозвалось на его слова. Его политическое значение связано с защитой Росиуса. Этот несчастный человек, у которого сначала отобрали имущество, а затем обвинили в убийстве отца, не мог найти защитника. Цицерон взялся за его защиту. Он был молод и неизвестен - два больших преимущества для таких смелых ударов, ведь неизвестность уменьшает опасность, которой подвергается человек, а молодость не позволяет ее увидеть. Ему не составило труда доказать невиновность своего клиента, обвиненного без доказательств; но этого успеха ему было недостаточно. Было известно, что один из самых могущественных вольноотпущенников Суллы, богатый и сладострастный Хрисогон, был тайным инициатором обвинения. Несомненно, он считал, что внушаемый его именем страх является достаточной защитой от дерзости защиты. Цицерон втянул его в это дело. В его речи заметны следы того ужаса, который охватил слушателей, когда они услышали это страшное имя. Обвинители были ошеломлены, толпа молчала. Один лишь молодой оратор выглядел спокойным и самообладающим. Он улыбался, шутил, осмеливался насмехаться над теми страшными людьми, которым никто не смел смотреть в лицо, потому что при этом они думали о двух тысячах отрубленных ими голов рыцарей и сенаторов. Он не совсем уважает самого хозяина. Фамилия "счастливый", которую дали ему льстецы, стала поводом для каламбура. "Какой человек настолько *счастлив*, - говорит он, - чтобы не иметь в своем окружении какого-нибудь плута?" Этот плут - не кто иной, как всемогущий Хрисогон. Цицерон не щадит его. Он изображает его вульгарную роскошь и высокомерие. Он показывает его нагромождающим в своем доме на Палатине все драгоценности, которые он отнял у своих жертв, раздражающим окрестности шумом своих певцов и музыкантов, "или слоняющимся по Форуму с хорошо расчесанными и блестящими от благовоний волосами". К этим шуткам примешиваются более серьезные обвинения. Слово "проскрипции" иногда произносится в этой речи, воспоминания и впечатления, которые они оставили, встречаются повсюду. Мы чувствуем, что у оратора, видевшего их, все мысли заняты этой темой, и что ужас, который он испытывает и которым не может овладеть, не позволяет ему молчать, какой бы опасности он ни подвергался. Это великодушное чувство проявляется каждый миг, несмотря на сдержанность, которую накладывает соседство с проскрипторами. Говоря об их жертвах, он осмеливается сказать, что они были жестоко убиты, хотя обычно им приписывают всевозможные преступления. Он выставляет на всеобщее презрение и ненависть несчастных, обогатившихся за счет этих расправ, и с удачным каламбуром называет их "отрезанными головами и отрезанными кошельками". Затем он официально требует положить конец этим процессам, которых стыдится человечество; "иначе, - добавляет он, - лучше было бы уйти и жить среди диких зверей, чем оставаться в Риме".

Цицерон говорил так в нескольких шагах от человека, отдавшего приказ о проскрипциях, и в присутствии тех, кто выполнял их и извлекал из них выгоду. Мы можем представить себе, какой эффект произвели его слова. Они выражали тайные чувства всех, они облегчали общественную совесть, вынужденную молчать и униженную своим молчанием. Таким образом, демократическая партия с того времени проявляла самую живую симпатию к красноречивому молодому человеку, который так мужественно протестовал против ненавистного правления. Память об этом сохранила народную благосклонность к нему вплоть до его консульства. Каждый раз, когда он добивался должности, граждане толпами спешили на Campus Martius, чтобы отдать за него свой голос. Ни один политик того времени,

а их было немало и более выдающихся, чем он, так легко не достигал высших постов. Катон не раз подвергался проверкам, Цезарю и Помпею для успеха требовались коалиции и интриги. Цицерон - едва ли не единственный, чьи кандидатуры удавались с первого раза и кому никогда не приходилось прибегать к средствам, обычно необходимым для успеха. В разгар скандальных сделок, отдававших почести самым богатым, несмотря на укоренившиеся традиции, которые, казалось бы, должны были оставить их для самых благородных, Цицерон, не имевший ни родовых достоинств, ни небольшого состояния, неизменно побеждал всех остальных. Его назначали квестором, эдилом; он получил городское преторство, которое было самым почетным; он добился консулата с первого раза, как только закон позволил ему стремиться к нему, и ни одно из этих достоинств не стоило ничего ни его чести, ни его состояния.

Примечательно, что к моменту назначения претором он не произнес ни одной политической речи. До сорока лет он был лишь тем, что мы называем адвокатом, и не чувствовал необходимости быть кем-то еще. В те времена судебное красноречие позволяло добиться всего; нескольких блестящих успехов в трибуналах было достаточно, чтобы возвести человека в общественное достоинство, и никто не думал требовать от Цицерона других доказательств его способностей к государственному делу, когда собиралисьверить ему высшие интересы страны и наделить его верховной властью. Однако если это долгое пребывание в коллегии адвокатов и не повредило его политической карьере, то, как мне кажется, нанесло определенный ущерб его талантам. Все упреки, которые мы можем адресовать сегодняшнему адвокату, ошибочно, несомненно, были вполне заслужены адвокатом тех времен. О нем можно с уверенностью сказать, что он относился ко всем делам равнодушно, что менял свое мнение при каждом иске, что он использовал все свое искусство и добился славы, находя веские причины для поддержки каждого софизма. Молодой человек, посвятивший себя ораторскому искусству в древних школах, никогда не слышал, чтобы говорили, что нужно быть убежденным, а правильно только говорить по совести. Его учили, что есть разные виды дел: честные и нечестные (*genera causarum sunt honestum, turpe, etc.*).^[43] Не считали нужным добавлять, что последних следует избегать. Напротив, преувеличивая достоинства успеха в них, он приобрел вкус к тому, чтобы заниматься ими по преимуществу. После того как его научили защищать и спасать виновных, его, не задумываясь, учили также, как опорочить честного человека. Таково было образование, полученное учеником риторов, и когда он покинул их школы, то не лишился возможности применить их наставления. Например, он не ошибался в том, что был умерен и сдержан в своих нападениях. Заставив себя быть справедливым, он лишил бы себя элемента успеха у той непостоянной и страстной толпы, которая рукоплескала сатирическим портретам и яростным инвективам. Он не был более предубежден в пользу истины, чем справедливости. В школах было принято придумывать, даже в уголовных делах, пикантные и выдуманные подробности, которые отвлекали публику (*causam mendaciunculis adspergere*).^[44] Цицерон с большой похвалой цитирует некоторые из этих приятных маленьких небылиц, которые, возможно, стоили чести или жизни некоторым несчастным людям, которым не повезло иметь слишком остроумных противников, и поскольку он сам обладал богатым воображением в этом отношении, он не стеснял себя, прибегая к этому легкому средству достижения успеха. Для древнего адвоката не было ничего более безразличного, чем быть несовместимым самим собой. Говорили, что оратор Антоний никогда не писал ни одной из своих речей, чтобы кому-нибудь не взбрело в голову сравнить его прежнее мнение с нынешним. У Цицерона не было таких угрызений совести. Он всю жизнь противоречил сам себе, и его это никогда не смущало. Однажды, когда он слишком открыто заявил о противоположности того, чего придерживался раньше, и его попросили объяснить эти внезапные перемены, он ответил, не смущаясь: "Вы ошибаетесь, если думаете, что в наших

речах вы находите выражение наших личных мнений; это язык дела и случая, а не язык человека и оратора". Это, по крайней мере, искреннее признание; но как много теряют оратор и человек, подстраивая таким образом свой язык под обстоятельства! Они научились не заботиться о порядке и последовательности в своей жизни, отказываться от искренности в своих мнениях и убежденности в своей речи, тратить столько же таланта на неправду, сколько и на правду, считаться только с потребностями момента и успехом текущего дела. Вот уроки, которые преподавала Цицерону адвокатура той эпохи. Он пробыл в ней слишком долго, и когда в сорок лет бросил ее, чтобы выступить со своим первым сочинением по политическому ораторскому искусству, то не смог избавиться от приобретенных там дурных привычек.

Значит ли это, что Цицерон должен быть вычеркнут из списка политических ораторов? Если это имя дается каждому человеку, чья речь оказывает какое-то влияние на дела страны, кто раскачивает толпу или убеждает честных людей, то трудно отказать в этом Цицерону. Он умел говорить с толпой и заставлять себя слушать. Временами он овладевал ею в самых яростных вспышках. Он заставлял ее принимать и даже аплодировать мнениям, противоречащим ее предпочтениям. Он, казалось, выводил ее из апатии и на короткое время вызывал в ней признаки энергии и патриотизма. Он не виноват, что его успехи не получили продолжения, если после этих грандиозных триумфов красноречия грубая сила осталась хозяином. По крайней мере, он сделал своими словами все, что тогда могли сделать слова. Я признаю, однако, что то, чего не хватало в его характере, не хватало и в его политическом красноречии. В нем нет нигде достаточной решительности, решительности, практичности. Оно слишком занято собой, и недостаточно вопросами, которые оно рассматривает. Он не атакует их смело по их основным пунктам. Он пускается в напыщенные фразы, вместо того чтобы попытаться говорить на том ясном и четком языке, который является языком государственного бизнеса. Когда мы внимательно изучаем его и начинаем анализировать, то обнаруживаем, что он состоит в основном из риторики и немного философии. Все эти приятные и умные аргументы, все эти искусные приемы ведения дебатов, а также вся эта показная пафосность, которую мы в нем находим, происходят из риторики. Философия дала нам эти великие общие места, разработанные талантливо, но не всегда имеющие отношение к теме. В них слишком много искусственности и методичности. Лаконичное и простое изложение было бы более подходящим для обсуждения дел, чем эти тонкости и эмоции; эти длинные философские тирады было бы выгодно заменить ясным и разумным изложением принципов оратора и общих идей, которые регулируют его поведение. К сожалению, как я уже говорил, Цицерон, выйдя на трибуну, сохранил привычки, приобретенные им в адвокатуре. Он с аргументами адвоката нападает на тот аграрный закон, столь честный, умеренный и мудрый, который предложил трибун Рулл. В четвертой катилиновской оратории он должен был обсудить этот вопрос, один из самых серьезных, который может быть поставлен перед совещательным собранием, а именно: насколько допустимо отступать от законности, чтобы спасти свою страну? Он даже не приблизился к нему. Больно видеть, как он отстраняется от нее, как бежит от нее и избегает ее, чтобы развить мелкие доводы и потерять себя в пошлом пафосе. Серьезное и серьезное красноречие, очевидно, не было тем, что предпочитал Цицерон и в чем он чувствовал себя наиболее непринужденно. Если вы хотите узнать истинное направление его таланта, прочтите сразу после четвертой катилинарской оратории речь к Мурене, произнесенную в то же время. В собрании его речей нет ни одной более приятной, и мы удивляемся, как человек, который был консулом и у которого тогда было столько дел, нашел свой ум достаточно свободным, чтобы шутить с такой легкостью и толком; правда в том, что там он был в своей

стихии. Поэтому, хотя он был консулом или консулом, он возвращался к адвокатуре так часто, как только мог. По его словам, это было сделано для того, чтобы обязывать своих друзей. Я думаю, что еще больше он хотел доставить удовольствие самому себе; он выглядит счастливым, а его оживление и остроумие так свободно распространяются, когда у него есть какое-нибудь приятное и живое дело, по которому он может выступить. Он не только никогда не упускал возможности предстать перед судьями, но и по мере возможности облачал свои политические рассуждения в форму обычных ходатайств. Все превращалось для него в личные вопросы. Обсуждение идей обычно оставляет его холодным. Чтобы мы увидели его в лучшем виде, ему нужно было с кем-то поспорить. Лучшие речи, произнесенные им на Форуме или в Сенате, - это восхваления или инвективы. В них ему нет равных; в них, по одному из его выражений, его красноречие возвышается и торжествует; но какими бы прекрасными ни были инвективы и панегирики, они не совсем соответствуют нашему идеалу политического красноречия, и в наши дни мы требуем от него чего-то другого. В оправдание речей Цицерона можно сказать лишь то, что они вполне соответствовали его времени, а их характер объясняется обстоятельствами, в которых они были произнесены. Красноречие тогда не руководило государством, как в лучшие времена республики. Его заменили другие влияния: на выборах - деньги и интриги кандидатов, в беседах на улице - оккультная и страшная сила народных обществ, и прежде всего - армия, которая, начиная с Суллы, поднимала или свержала каждое правительство. Красноречие чувствует себя бессильным среди этих сил, которые его одолевают. Как оно может сохранить властный акцент, властный и решительный тон того, кто знает свою силу? Нужно ли апеллировать к разуму и логике, пытаться навязать убеждения людей с помощью веских и убедительных аргументов, когда известно, что вопросы, которые он рассматривает, решаются иначе? М. Моммзен злорадно замечает, что в большинстве своих великих политических речей Цицерон отстаивает уже побежденные причины. Когда он опубликовал "Верринские орации", законы Суллы о составе трибуналов были только что отменены. Он прекрасно знал, что Катилина решил покинуть Рим, когда произносил первую "Катилинову орацию", в которой так проникновенно умоляет его уехать. Второй филиппик, который кажется таким дерзким, когда мы вспоминаем, что он был произнесен в лицо всемогущему Антонию, был обнародован только в тот момент, когда Антоний улетал в Цизальпинскую Галлию. Что толку от всех этих прекрасных речей? Они не привели к принятию решений, поскольку они уже были приняты; но они привели к тому, что их приняла толпа, они всколыхнули общественное мнение и возбудили его в свою пользу: это было уже кое-что. Необходимо было принять факты ситуации; речь больше не управляла, красноречие больше не могло надеяться направлять события, но оно действовало на них косвенно, оно пыталось произвести те большие движения мнений, которые подготавливают или завершают их; "оно не обеспечивает голоса и действия, оно возбуждает эмоции". Если это моральное воздействие - единственная цель, которую оно преследовало в то время, то красноречие Цицерона, благодаря своей пышности и великолепию, блеску и пафосу, было хорошо рассчитано на ее достижение.

Сначала он поставил свое красноречие на службу народной партии; мы видели, что именно в рядах этой партии он впервые выступил в политике; но хотя он верно служил ей в течение семнадцати лет, я склонен думать, что он не всегда делал это искренне. Эксцессы аристократического правительства толкали его к демократии, но, должно быть, он находил демократию не намного более мудрой, особенно когда она побеждала. Иногда ему приходилось защищать ужасных клиентов. Ему приходилось отстаивать интересы вздорных и мятежных личностей, которые постоянно нарушали общественный покой. Однажды он даже выступил или был готов выступить в защиту Катилина. Вероятно, все это было для него мучительно, и бурные эксцессы демократии не раз склоняли его к разрыву с ней. К сожалению, он не знал, куда идти, если покинет ее, и если плебеи оскорбляли его своим

насилием, то аристократия, с ее высокомерием и предрассудками, не привлекала его больше. Поскольку в существующих партиях он не нашел ни одной, которая в точности соответствовала бы его убеждениям и полностью отвечала бы его склонностям, ему не оставалось ничего другого, как создать свою собственную. Именно это он и попытался сделать. Когда он почувствовал, что блеск его красноречия, должности, которые он занимал, популярность, которая его окружала, делают его важной персоной, чтобы обеспечить себе будущее, занять более высокое и постоянное положение в республике, освободиться от требований своих прежних покровителей, чтобы не быть вынужденным протягивать руку своим старым врагам, он попытался создать новую партию, состоящую из умеренных людей всех партий, главой которой он должен был стать. Но он прекрасно понимал, что не может создать эту партию в одно мгновение и произвести ее из ничего. Сначала необходимо было найти ядро, вокруг которого должны были бы сгруппироваться ожидаемые им новобранцы. Он думал, что нашел его в том классе граждан, к которому принадлежал по своему рождению и который назывался рыцарями.

Риму всегда не хватало того, что мы сейчас называем средним классом и классом граждан. По мере того как мелкие крестьяне покидали своих друзей и уезжали жить в город, а "руки, работавшие на кукурузе и виноградной лозе, были заняты только тем, что аплодировали в театре и цирке", пропасть между богатой аристократией, владевшей почти всем общественным богатством, и нищим и голодным народом, который постоянно набирался из рабов, становилась все больше. Единственными посредниками стали рыцари. Это название в рассматриваемое нами время использовалось не только для обозначения граждан, которым государство дарило лошадь (*equites equo publico*) и которые отдельно голосовали на выборах; им также называли всех, кто обладал квалификацией конного дохода, то есть тех, чье состояние превышало 400 000 сестерций (£3200). Можно предположить, что аристократия вела себя надменно по отношению к этим безвестным плебеям, которых обогатил случай или экономия; она держала этих *parvenus* на расстоянии, высказывала им свое презрение так же либерально, как и беднякам из плебса, и упорно закрывала им доступ к государственным должностям. Когда Цицерон был назначен консулом, прошло тридцать лет с тех пор, как новый человек, будь то рыцарь или плебей, добился консульства. Отстраненные от политической жизни ревностью крупной знати, рыцари были вынуждены направить свои силы в другое русло. Вместо того чтобы тратить время на бесполезные кандидатуры, они занялись зарабатыванием своих состояний. Когда Рим завоевал весь мир, именно рыцари извлекли из этих завоеваний особую выгоду. Они составляли трудолюбивый и просвещенный класс, уже находились в легком положении, могли делать займы и считали, что могут спекулировать в завоеванных странах ради собственной выгоды. Проникая повсюду, где носилось римское оружие, они становились купцами, банкирами, фермерами, платившими налоги, и накапливали огромные богатства. Поскольку Рим перестал быть Римом курий и циннатов, а диктаторы больше не отрывались от плуга, их богатство придало им значимость и важность. С этого времени о них заговорили с большим уважением. Гракхи, желая сделать их союзниками в борьбе, которую они вели с аристократией, постановили, что судьи должны быть взяты из их рядов. Цицерон пошел дальше: он попытался сделать их основой великой умеренной партии, которую хотел создать. Он знал, что может рассчитывать на их преданность. Он принадлежал к ним по рождению; он пролил на них блеск, окружавший его имя; он никогда не пренебрегал защитой их интересов в трибуналах или в сенате. Он также рассчитывал, что они будут благодарны ему за желание повысить их значимость и обеспечить им большое политическое будущее.

Все эти комбинации Цицерона поначалу казались очень удачными; но, по правде говоря, заслуга этого успеха объяснялась главным образом обстоятельствами. Эта великая коалиция

умеренных, которую он называл своим лучшим произведением, почти удалась под влиянием страха. Социальная революция казалась неминуемой. Отбросы всех старых партий, жалкие плебеи и разорившиеся вельможи, старые солдаты Мария и проскрибированные Суллой, объединились под руководством смелого и способного вождя, который обещал им новое распределение общественного богатства. Существование этой партии заставило тех, кому она угрожала, также объединиться, чтобы защитить себя. Страх оказался более действенным, чем самые прекрасные речи, и в этом смысле можно сказать, что Цицерон был, пожалуй, больше обязан этим союзом, который он считал главным пунктом своей политики, Катилину, чем себе. Общность интересов, таким образом, приводила, по крайней мере на время, к примирению целей различных классов. Душой новой партии, естественно, стали самые богатые и, соответственно, подвергающиеся наибольшей опасности рыцари. На их стороне встали честные плебеи, не желавшие преувеличивать значение политических реформ, а также те дворяне, которых угрожающие удовольствия вывели из апатии, которые позволили бы республике погибнуть, не защищая ее, но не хотели, чтобы их миноги и рыбные пруды были тронуты. Новой партии не пришлось долго искать главу. Помпей был в Азии, Цезарь и Красс тайно поддерживали заговор. Кроме них, не было более громкого имени, чем имя Цицерона. Этим и объясняется та огромная волна общественного мнения, которая вынесла его на пост консула. Его избрание было почти триумфом. Я ничего не буду говорить о его консульстве, о котором он сам имел несчастье говорить слишком много. Я не хочу недооценивать победу, которую он одержал над Катилиной и его сообщниками. Опасность была серьезной, это подтверждает даже его враг Саллюстий. За заговором скрывались амбициозные политики, готовые извлечь выгоду из событий. Цезарь прекрасно понимал, что царствование анархии не может продолжаться долго. После нескольких грабежей и резни Рим оправился бы от неожиданности, и честные люди, доведенные отчаянием до активности, снова взяли бы верх. Только, вероятно, тогда произошла бы одна из тех реакций, которые обычно следуют за великой анархией. Воспоминание о бедствиях, которых они с таким трудом избежали, заставило бы многих людей пожертвовать свободой, которая подвергала их стольким опасностям, и Цезарь был готов предложить им суверенное средство - абсолютную власть. Пресекая зло в корне, удивляя и наказывая заговор до того, как он разразился, Цицерон, возможно, отсрочил появление монархического правления в Риме на пятнадцать лет. Тогда он не ошибался, хвалясь услугами, которые он оказал в то время свободе своей страны, и мы должны признать вместе с Сенекой, что если он без меры превозносил свое консульство, то делал это не без оснований.⁽¹⁾

Коалиции такого рода, к сожалению, редко долго переживают обстоятельства, которые их породили. Когда интересы, объединенные общей опасностью, начинали чувствовать себя в безопасности, они возобновляли свои старые распри. Плебеи, которые больше не боялись, почувствовали, что их старая вражда против знати возрождается. Дворяне снова начали завидовать богатству рыцарей. Что касается рыцарей, то они не обладали ни одним из тех качеств, которые были необходимы для того, чтобы стать душой политической партии, как надеялся Цицерон. Они были больше заняты своими личными делами, чем делами республики. У них не было такой силы численности, как у плебеев, и не было тех великих традиций управления, которые так долго поддерживали власть аристократии. Их единственным руководящим принципом был инстинкт, свойственный людям с большим состоянием, который заставлял их предпочитать порядок свободе. Они искали прежде всего сильную власть, которая могла бы их защитить, и в конце концов у Цезаря не нашлось более преданных последователей, чем они. В этом разрыве своей партии Цицерон, который не мог стоять в одиночестве, задался вопросом, на чью сторону ему встать. Испуг, который вызвал у него Катилина, присутствие Цезаря и Красса в рядах демократии не позволили ему вернуться в эту партию, и он, несмотря на свое отвращение, окончательно примкнул к аристократии.

Со дня своего консульства он решительно перешел на сторону этой партии. Мы знаем, как демократия отомстила за то, что считала предательством. Через три года после этого она обрекла своего старого главу, ставшего теперь ее врагом, на изгнание и согласилась отозвать его только для того, чтобы бросить к ногам Цезаря и Помпея, союз которых сделал их хозяевами Рима.^[49]

III.

Самым серьезным политическим кризисом, через который прошел Цицерон после великой борьбы своего консульства, был, конечно, тот, который закончился падением Римской республики в Фарсалии. Мы знаем, что он не по своей воле ввязался в этот ужасный конфликт, исход которого он предвидел, и что он колебался почти год, прежде чем принять решение о своем курсе. Неудивительно, что он колебался так долго. Он уже не был молодым и безвестным, как тогда, когда он выступал за Росиуса. У него было высокое положение и прославленное имя, которыми он не хотел поступиться, а человеку можно дать время подумать, прежде чем рисковать состоянием, славой и, возможно, жизнью из-за одного броска. Кроме того, вопрос был не так прост и правота не так очевидна, как кажется на первый взгляд. Лукан, чьи симпатии не вызывают сомнений, все же говорил, что невозможно определить, на чьей стороне справедливость, и, похоже, эта неясность не рассеялась окончательно, поскольку после восемнадцати веков дискуссий потомкам так и не удалось прийти к согласию. Любопытно, что у нас в семнадцатом веке, в период расцвета монархического правления, все ученые без колебаний высказывались против Цезаря. Магистраты высших судов, люди осторожные и умеренные по своим должностям и характеру, приближенные к королю и не скупившиеся на лесть, наедине с собой позволяли себе быть помпеядцами и даже яростными помпеядцами. "Первый президент, - говорит Гай-Патен, - настолько на стороне Помпея, что однажды он выразил свою радость по поводу того, что я был таким же, когда я сказал ему в его прекрасном саду в Бавиле, что если бы я был в сенате, когда убивали Юлия Цезаря, я бы нанес ему двадцать четвертый удар". Напротив, именно в наши дни, в демократическую эпоху, после Французской революции, во имя революции и демократии, сторона Цезаря отстаивается с наибольшим успехом, а блага, которые человечество извлекло из его победы, предстают в самом ясном свете.

Я не намерен вновь открывать этот спор, он слишком плодovit на бурные дискуссии. Здесь я хочу рассмотреть лишь ту ее часть, которая необходима для объяснения политической жизни Цицерона. Я думаю, что существуют два совершенно разных взгляда на этот вопрос: Первый - это взгляд людей, не интересующихся этими ссорами прежней эпохи, которые подходят к ним, как историки или философы, после того как время остудило их, которые судят о них не столько по их причинам, сколько по их результатам, и спрашивают себя прежде всего, какое добро или зло они сделали в мире; затем - современников, которые судят о них со своими страстями и предрассудками, в соответствии с идеями своего времени, в их отношении к себе и не зная их отдаленных последствий. Я собираюсь остановиться исключительно на этой последней точке зрения, хотя другая кажется мне более великой и выгодной; но поскольку моя единственная цель - попросить у Цицерона объяснения его политических действий и поскольку нельзя обоснованно требовать от него, чтобы он прорицал будущее, я ограничусь тем, что покажу, как ставился вопрос в его время, какие причины приводились с обеих сторон и как естественно было для мудрого человека, любившего свою страну, оценить эти причины. Итак, забудем о восемнадцати веках, отделяющих нас от этих событий, представим себя в Формиях или Тускулуме в те долгие дни тревоги и неопределенности, которые пережил Цицерон, и послушаем, как он обсуждает с

Аттиком или Курионом причины, которые обе партии приводили, чтобы привлечь его в свои ряды.

Что ясно показывает, что суждения современников о событиях, которые происходят перед ними, не совпадают с суждениями потомков, так это то, что друзья Цезаря, желая одержать верх над Цицероном, использовали не те аргументы, которые кажутся нам наилучшими. Главная причина, к которой сейчас апеллируют, чтобы оправдать победу Цезаря, заключается в том, что в целом, если Рим и потерял некоторые из своих привилегий, то это пошло на пользу остальному миру. Какое значение имеет то, что несколько тысяч человек, которые не очень хорошо использовали свою политическую свободу, были ее лишены, если того же удара почти весь мир был спасен от грабежа, рабства и разорения? Несомненно, что провинции и их жители, с которыми так грубо обращались проконсулы республики, оказались в лучшем положении при *режиме*, установленном Цезарем. Его армия была открыта для всех иностранцев; с ним были германцы, галлы и испанцы. Они помогали ему завоевывать и, естественно, извлекали выгоду из его побед: и это, возможно, без его желания, стало мстью завоеванных народов. Эти народы не стремились восстановить свою независимость; они потеряли вкус к ней после поражения. Их амбиции были прямо противоположными: они хотели, чтобы им позволили стать римлянами. Однако до тех пор гордая и жадная аристократия, обладавшая властью и стремившаяся использовать человеческий род для своих удовольствий или величия, упорно отказывалась поднять их на один уровень с собой, несомненно, для того, чтобы сохранить право обращаться с ними по своему капризу. Свергнув аристократию, Цезарь разрушил барьер, закрывавший Рим от остальных народов. Империя сделала весь мир римским; она примирила, говорит поэт, и объединила под одним именем все народы вселенной. Это, безусловно, великие дела, и не пристало нам забывать о них, нам, сыновьям побежденных, призванным Цезарем к участию в его победе. Но кто во времена Цицерона думал, что все будет именно так? Кто мог предвидеть и указать на эти отдаленные последствия? Тогда этот вопрос не стоял так, как стоит перед нами, изучающими его издавна. Цезарь нигде не упоминает интересы побежденных среди причин, которые он приводит для своего предприятия. Сенат никогда не претендовал на роль представителя римской нации, которой угрожало вторжение варваров, и не похоже, что провинции восстали в пользу того, кто пришел их защищать; напротив, они были почти поровну разделены между двумя соперниками. Если Запад сражался на стороне Цезаря, то весь Восток перешел в лагерь Помпея, что доказывает, что когда началась борьба, ее последствия были неизвестны даже тем, кто должен был извлечь из них выгоду, и чьи интересы должны были сделать их более дальновидными. Кроме того, даже если бы Цицерон подозревал о выгодах, которые мир получит от триумфа Цезаря, можно ли думать, что этой причины было бы достаточно, чтобы принять решение? Он не принадлежал к числу тех, чья любовь ко всему человечеству освобождает их от необходимости служить своей стране. Он с трудом смирился бы с тем, что придется пожертвовать своей свободой под предлогом, что эта жертва принесет пользу галлам, бриттам и сарматам. Несомненно, он не был равнодушен к интересам всего мира, но интересы Рима затрагивали его сильнее. Его нрав был мягким и гуманным, он писал в прекрасных произведениях о том, что все народы - одна и та же семья, он снискал себе любовь в провинции, которой управлял; тем не менее, когда Цезарь открыл город и даже сенат для сопровождавших его чужеземцев, он показал себя очень недовольным и набросился на этих варваров с самой жестокой яростью. Он ясно видел, что испанцы и галлы, гордо расхаживающие по Форуму, торжествуют над Римом. Его римская гордость возмущалась при виде этого зрелища, и я не вижу причин винить его за это. Если он и мог догадываться или хотя бы мельком видеть готовящееся всеобщее освобождение покоренных народов, он понимал, что это освобождение повлечет за собой

утрату исконного, отдельного и независимого существования его страны. Естественно, что римлянин не хотел платить такую цену даже за процветание всего мира.

Если отбросить эту причину, то другая, неправдоподобная, часто использовалась для того, чтобы завлечь нерешительных. Им говорили, что республика и свобода не заинтересованы в войне, что это просто борьба двух амбициозных людей, претендующих на власть. В этом утверждении была определенная доля правды, способная ввести в заблуждение бездумные умы. Личные вопросы, безусловно, занимали большое место в этой борьбе. Солдаты Цезаря сражались исключительно за него, а в свите Помпея было много друзей и приближенных, которых он приобрел за тридцать лет процветания и власти. Сам Цицерон несколько раз дает нам понять, что именно старая дружба к Помпею привела его в его лагерь. "Ему и только ему одному я приношу себя в жертву", - сказал он, готовясь покинуть Италию.^[50] Бывают моменты, когда он, кажется, с удовольствием ограничивает тему ссоры, в которую собирается вступить, и когда в письме к друзьям он повторяет им слова сторонников Цезаря: "Этот конфликт честлюбия, *regnandi contentio est*." Но мы должны быть осторожны, читая его переписку этого периода, и должны читать ее с осторожностью. Никогда еще он не был так непостоянен. Он меняет свое мнение каждый день, нападает и защищает все партии, так что, умело собрав воедино все слова, брошенные в этом недовольстве и неопределенности, можно найти в его письмах основания для обвинений против всех. Это всего лишь выпады беспокойного и испуганного ума, которые не следует слишком часто использовать ни против других, ни против себя. Вот, например, когда он утверждает, что республике нечего делать в борьбе, он говорит не то, что думает на самом деле. Это лишь один из тех предлогов, которые он придумывает, чтобы оправдать свою нерешительность в глазах друзей и в своих собственных. Как редко можно быть искренним, не только с другими, но и с самим собой! Мы так изобретательны в доказательстве самим себе, что у нас есть тысяча причин делать то, что мы делаем без причины, или из интереса, или из каприза! Но когда Цицерон хочет быть откровенным, когда у него нет мотивов заблуждаться самому или обманывать других, он говорит по-другому. Тогда дело Помпея действительно становится делом справедливости и права, делом честных людей и свободы. Несомненно, Помпей оказал республике весьма посредственные услуги, прежде чем обстоятельства заставили его встать на ее защиту. Ему нельзя было полностью доверять, а его честлюбие вызывало опасения. В своем лагере он держался как государь; у него были свои льстецы и министры. "Он - маленький Сулла, - говорил Цицерон, - который мечтает о проскрипциях, *sullaturit, proscripturit*" Республиканская партия, конечно, выбрала бы другого защитника, если бы была свободна в выборе; но в то время, когда Цезарь собрал свои войска, эта партия, не имевшая ни солдат, ни генералов, действительно была вынуждена принять помощь Помпея. Она приняла ее как союзника, которому не доверяют и за которым следят, который, возможно, станет врагом после победы, но от которого нельзя отказаться во время борьбы. Кроме того, хотя Помпей и не мог полностью обеспечить свободу, было известно, что с ним она подвергалась меньшему риску, чем с Цезарем. Он, несомненно, был честлюбив, но больше стремился к почестям, чем к власти. Дважды его видели прибывшим к воротам Рима с армией. Демократия призвала его сделать себя царем, стоило ему только захотеть, и дважды он распускал свои войска и откладывал фасции. Его сделали единоличным консулом, то есть почти диктатором, а по истечении шести месяцев он добровольно взял себе коллегу. Эти прецеденты заставляли искренних республиканцев верить, что после победы он будет довольствоваться звучными титулами и пышными восхвалениями, а его заслуги будут вознаграждены, без опасности кого-либо, лаврами и пурпуром. В любом случае, если бы он потребовал чего-то другого, можно быть уверенным, что ему было бы отказано, и он нашел бы противников среди большего числа тех, кто стал его союзниками. В его лагере было много людей, которые не были его друзьями, и которых нельзя заподозрить в том, что они взяли в руки оружие, чтобы

завоевать для него трон. Катон не доверял ему и всегда выступал против него. Брут, чьего отца он убил, ненавидел его. Аристократия не простила ему восстановления власти трибунов и объединения с Цезарем против нее. Возможно ли, что все эти выдающиеся люди, опытные в делах, были дурами этого равнодушного политика, который никогда никого не обманывал, и что, сами того не зная, они работали только на него? Или мы должны признать, что это менее вероятно, что они знали об этом и добровольно оставили свою страну, рисковали своим состоянием и отдали свои жизни, чтобы служить интересам и амбициям человека, которого они не любили? Несомненно, для них речь шла о другом. Отправляясь за море, решая, несмотря на свое отвращение, начать гражданскую войну, отдавая приказы генералу, против которого у них было столько причин для злобы, они не собирались вмешиваться исключительно в личную ссору, а пришли на помощь республике и той свободе, которой угрожала опасность. "Но здесь, - говорят люди, - вас снова обманывают. Эти названия, свобода и республика, вводят вас в заблуждение. В лагере Помпея защищали не свободу, а угнетение народа кастой. Они хотели сохранить привилегии обременительной и несправедливой аристократии. Они боролись за то, чтобы сохранить за ней право угнетать плебс и подавлять весь мир". В таком случае друзья свободы должны сохранить для Цезаря те симпатии, которые они обычно питают к Помпею, ведь он либерал и демократ, человек из народа, преемник Гракхов и Мариев. Именно эту роль он взял на себя с того дня, когда, будучи еще ребенком, отважно сражался с Суллой. Претор и консул, он, казалось, преданно служил народному делу, и в тот момент, когда он шел на Рим, покинутый сенатом, он все еще говорил: "Я пришел освободить римский народ от фракции, которая его угнетает".

Сколько правды в том, что он претендует на роль защитника демократии? Что должен думать об этом не патриций, который, естественно, плохо думал о народе, а враг знати, новый человек, такой как Цицерон? Какой бы гнев ни вызывало у Цицерона презрение аристократии, какое бы нетерпение он ни испытывал, постоянно встречая на своем пути, в своих кандидатурах, одного из тех вельмож, которым *"почести доставались, пока они спали"*, я не нахожу, чтобы его недоброжелательность когда-либо заставляла его делать вид, что народ угнетен;^[54] и я полагаю, что когда перед ним утверждали, что Цезарь взялся за оружие, чтобы вернуть ему свободу, он спросил, как давно он ее потерял, и какие новые привилегии они хотят добавить к тем, которыми он уже обладал? Он напомнил, что народ обладает правовой организацией, у него есть свои магистраты, к которым он апеллирует в случае чужих решений, магистраты неприкосновенные и священные, которых закон вооружил огромной властью останавливать действия правительства своим вмешательством и прерывать политическую жизнь; У них была свобода слова и трибуны, право голоса, которым они зарабатывали на жизнь, и, наконец, свободный доступ во все классы магистратуры, и ему достаточно было привести свой собственный случай, чтобы показать, что человеку без рождения и почти без состояния можно было достичь даже консульства. Правда, такой успех был редкостью. Равенство, закрепленное в законе, исчезало на практике. В консульских отчетах того периода почти нет прославленных имен. Несколько великих семей, по-видимому, утвердились в высших санах государства; они охраняли пути к ним и не позволяли никому приблизиться; но разве для того, чтобы разрушить препятствия, которые хитрость нескольких честолюбцев ставила на пути регулярной работы учреждений, необходимо было разрушить сами эти учреждения? Разве зло было настолько велико, что необходимо было прибегнуть к радикальному средству - абсолютной власти? Неужели нельзя было подумать, что свобода излечит его с большей уверенностью, чем деспотизм? Разве не было видно на недавних примерах, что сильное течение народного мнения было достаточным для преодоления всего этого аристократического сопротивления? Законы давали народу возможность восстановить свое влияние, если он этого энергично желал. При свободе голосования и выступлений в общественных собраниях, при вмешательстве

трибунов и непобедимой силе численности они всегда должны были в конце концов стать хозяевами. Они сами виноваты в том, что оставили власть другим, и заслужили то унижение, в котором их держала аристократия, поскольку не предпринимали никаких усилий, чтобы освободиться. Цицерон не очень уважал простых людей своего времени; он считал их беспечными и апатичными по своей природе. "Они ничего не требуют, - говорил он, - они ничего не желают";^[55] и каждый раз, когда он видел, как они шевелятся на Форуме, он подозревал, что это чудо сотворили либералы из числа амбициозных людей. Поэтому он не считал нужным предоставлять им новые права, когда видел, что они так мало или плохо пользуются своими старыми правами, и поэтому не считал серьезным предлог, выдвинутый Цезарем для того, чтобы взяться за оружие. Он никогда не соглашался смотреть на него как на преемника Гракхов, пришедшего освободить угнетенный плебс; готовившаяся война никогда не казалась ему возобновлением древней борьбы между народом и аристократией, которыми полна римская история. В самом деле, собрание разорившихся вельмож, таких как Долабелла, Антоний и Курио, шедших под предводительством того, кто кичился тем, что является сыном богов и царей, мало заслуживало названия народной партии, и на карту было поставлено нечто иное, чем защита сословных привилегий в лагере, куда съехалось столько рыцарей и плебеев и который насчитывал среди своих вождей Варро, Цицерона и Катона, то есть двух мещан с небольшим состоянием из Арпинума и Реата и потомка крестьянина из Тускулума.

Цезарь, однако, похоже, не был очень расположен к этой роли защитника демократии. Читая его мемуары, мы не находим, что он много говорит об интересах народа. Только что процитированная фраза - почти единственная, в которой они упоминаются. В других местах он более откровенен. В начале гражданской войны, излагая причины ее начала, он жалуется на то, что ему отказали в консульстве, что у него отняли провинцию, что его оторвали от армии; он ни слова не говорит о народе, о его непризнанных правах, о его подавленной свободе. Однако это был тот самый момент, когда о них следовало говорить, чтобы оправдать предприятие, которое осуждали очень многие, причем самые честные люди. Чего же он требовал в последних условиях, которые поставил перед сенатом перед походом на Рим? Своего консулата, своей армии, своей провинции; он защищал свои личные интересы, он торговался за себя, ему и в голову не приходило требовать каких-либо гарантий для того народа, защитником которого он себя называл. Вокруг него, в его лагере, о народе думали не больше, чем о себе. Его лучшие друзья, его самые храбрые генералы не претендовали на роль реформаторов или демократов. Следуя за ним, они не думали, что собираются дать свободу своим согражданам; они хотели отомстить за своего оскорбленного вождя и завоевать для него власть. "Мы - солдаты Цезаря", - говорили они с Курио.^[56] У них не было другого звания, они не знали другого имени. Когда кто-нибудь приходил поговорить с этими старыми центурионами, видевшими Германию и Британию, бравшими Алезию и Герговию, об отказе от Цезаря и переходе на сторону законов и республики, они не отвечали, что защищают народ и его права. "Неужели мы, - говорили они, - бросим нашего полководца, который дал нам всем наши звания, неужели мы возьмем в руки оружие против армии, в которой мы служили и побеждали тридцать шесть лет? Мы никогда этого не сделаем!" Эти люди были уже не гражданами, а солдатами. После тридцати шести лет побед они утратили традиции гражданской жизни и вкус к ней; права народа стали им безразличны, и слава для них заняла место свободы. Цицерон и его друзья считали, что это окружение не народного вождя, пришедшего вернуть свободу своим согражданам, а амбициозного человека, пришедшего установить абсолютную власть с помощью оружия, и они не ошиблись. Поведение Цезаря после войны доказывает это больше, чем все остальное. Как он использовал свою победу? Какие выгоды он предоставил людям, чьи интересы он защищал? Я уже не говорю о том, что он мог сделать для их комфорта и удовольствия, о роскошных

пирах, о публичных трапезах, которые он устраивал, о кукурузе и масле, которые он так щедро раздавал самым бедным, о 400 сестерциях (£3 4s.), которые он выплатил каждому гражданину в день своего триумфа: если эти милостыни удовлетворили тогдашних плебеев, если они согласились пожертвовать своей свободой такой ценой, я прощу Цицерона за то, что он не питал к ним большего уважения и не поставил себя на их сторону; но если они требовали чего-то другого, если они желали более полной независимости, большей доли в делах своей страны, новых политических прав, они их не получили, и победа Цезаря, несмотря на его обещания, не сделала их ни свободнее, ни могущественнее. Цезарь унизил аристократию, но только ради собственной выгоды. Он вырвал исполнительную власть из рук сената, но лишь для того, чтобы передать ее в свои руки. Он установил равенство между всеми орденами, но это было равенство рабства, и отныне все были низведены до одинакового уровня послушания.

Я знаю, что после того, как он заставил замолчать ораторов, лишил народ права голоса и объединил в своих руках всю государственную власть, назначенный им сенат, исчерпав лесть, торжественно присвоил ему имя Освободителя и постановил воздвигнуть Храм Свободы. Если Цицерона и его друзей обвиняют в том, что они взялись за оружие именно против этой свободы, то я не считаю нужным защищать их от этого обвинения.

Давайте называть вещи своими именами. Цезарь работал для себя, а не для народа, и Цицерон, выступая против него, думал, что защищает республику, а не привилегии аристократии.

Но заслуживала ли эта республика защиты? Была ли надежда на ее сохранение? Разве не было очевидно, что ее гибель неизбежна? Это самое большое обвинение, которое выдвигается против тех, кто следовал за партией Помпея. Я признаю, что ответить на него нелегко. Зло, от которого страдал Рим и которое проявилось в тех беспорядках и насилии, о которых так печально повествуют письма Цицерона, было не из тех, которые можно предотвратить несколькими мудрыми реформами. Она была древней и глубокой. С каждым днем оно становилось все хуже, и ни один закон не мог его предотвратить или остановить. Можно ли было надеяться излечить ее с помощью тех незначительных изменений, которые предлагали самые смелые? Что толку уменьшать, как того желали, привилегии аристократии и увеличивать права плебеев? Сами источники общественной жизни были серьезно подорваны. Зло исходило от способа получения гражданства.

Долгое время Рим черпал свои силы в сельском народе. Именно из деревенских племен, самых почетных из всех, вышли те доблестные воины, которые завоевали Италию и покорили Карфаген; но этот земледельческий и воинственный народ, который так хорошо защищал республику, не мог защитить себя от посягательств крупных владений. Замыкаясь малопомалу в этих огромных владениях, где легче всего возделывать землю, бедный крестьянин долго боролся с нищетой и ростовщиками; потом, разочаровавшись в борьбе, он кончил тем, что продал свое поле богатому соседу, желавшему получить его в придачу к своим владениям. Тогда он попытался стать фермером-арендатором, метайером, наемным рабочим на участке, где он так долго был хозяином, но там он встретил конкуренцию раба, более экономного работника, который не выделялся своей зарплатой, не ставил условий, с которым можно было обращаться как угодно.^[58] Таким образом, дважды изгнанный со своих полей, и как владелец, и как фермер-арендатор, без работы и средств, он был вынужден переселиться в город. В Риме, однако, жизнь его была не легче. Что он мог там делать?

Торговли было мало, и обычно она была не в руках свободных людей. В странах, где процветает рабство, на работу смотрят свысока. Умереть от голода, ничего не делая, свободный человек считает привилегией и честью. Кроме того, каждый знатный человек имел среди своих рабов людей всех профессий, и, поскольку такого количества рабочих было слишком много для него одного, он сдавал их в наем тем, у кого их не было, или заставлял их держать лавку в углу своего дома для собственной выгоды. И снова конкуренция рабов убила свободный труд. К счастью, в это время Марий открыл ряды армии для самых бедных граждан (*capite censi*). Эти несчастные, не найдя другого выхода, становились солдатами. За неимением лучшего они добились завоевания мира, покорили Африку, Галлию и Восток, побывали в Британии и Германии, и большее число их, самых храбрых и лучших, погибло в этих далеких походах. В это время в городе плохо заполнялись вакансии, оставленные теми, кто уехал и не вернулся. С тех пор как Рим стал могущественным, к нему стекались люди со всех концов света, и, надо полагать, не всегда самые уважаемые.

Несколько раз она пыталась защититься от этих нашествий чужеземцев; но бесполезно было издавать суровые законы, чтобы удалить их, они всегда возвращались, чтобы скрыться в этом огромном городе без полиции, и, поселившись там, более преуспевающие, с помощью своих денег, другие с помощью низких услуг или хитрости, преуспели в получении звания граждан. Те, кто получил его более естественно и без необходимости требовать, были вольноотпущенниками. Несомненно, закон не сразу предоставил им все политические права; но через одно-два поколения все эти оговорки исчезли, и внук того, кто молотил на мельнице и был продан на невольничьем рынке, голосовал за законы и избирал консулов, как римлянин старого рода. Из этой смеси вольноотпущенников и чужеземцев и образовалось то, что в те времена называлось римским народом, - жалкий народ, живший на щедрость частных лиц или милостыню государства, не имевший ни памяти, ни традиций, ни политических способностей, ни национального характера, ни даже нравственности, ибо он не знал того, что составляет честь и достоинство жизни низших классов, а именно труда. С таким народом республика была уже невозможна. Из всех правительств это то, которое требует наибольшей честности и политической рассудительности от тех, кто им пользуется. Чем больше привилегий она дает, тем больше преданности и ума она требует. Люди, которые не пользовались своими правами или пользовались ими только для того, чтобы продать их, не были достойны их сохранения. Та абсолютная власть, которую они пригласили своими голосами, которую они приняли с аплодисментами, была создана для них; и можно понять, что историк, изучающий издали события прошлого, видя, как свобода исчезает из Рима, утешает себя ее падением, говоря, что оно было заслуженным и неизбежным, и прощает или даже аплодирует тому, кто, свергнув ее, был лишь орудием необходимости или справедливости.

Но люди, жившие тогда, привязанные к республиканскому правительству традициями и воспоминаниями, помнившие о великих делах, которые оно совершило, обязанные ему своими достоинствами, положением и славой, могли ли они думать, как мы, и так же легко смириться с его падением? Во-первых, это правительство существовало. Они были знакомы с его недостатками, поскольку жили с ними так долго. Они меньше страдали от них, благодаря долгой привычке терпеть их. С другой стороны, они не знали, что представляет собой эта новая власть, желающая заменить республику. Царская власть внушала римлянам инстинктивное отвращение, особенно с тех пор, как они завоевали Восток. Они нашли там под этим именем самые отвратительные правительства, самое полное рабство посреди самой утонченной цивилизации, все удовольствия роскоши и искусств, тончайшее развитие интеллекта с самой тяжелой и подлой тиранией; принцев, привыкших играть с состоянием, честью и жизнью людей, вид жестоких избалованных детей, таких, каких сейчас можно

встретить только в африканских пустынях. Эта картина не привлекала их, и какими бы недостатками ни обладала республика, они спрашивали себя, стоит ли менять их на те, которыми могла бы обладать королевская власть. Кроме того, естественно, что падение республики не казалось им столь близким и несомненным, как нам. С государствами все так же, как с людьми, у которых после смерти мы находим тысячу причин, о которых никто не подозревал при их жизни. Пока механизм этого древнего правительства еще работал, нельзя было заметить, насколько он был дезорганизован. Иногда у Цицерона бывают минуты глубокого отчаяния, когда он объявляет друзьям, что все потеряно; но эти минуты длятся недолго, и он быстро возвращает себе мужество. Ему кажется, что твердая рука, красноречивый голос и согласие добрых граждан могут все исправить, и что свобода легко исправит злоупотребления и недостатки свободы. Он никогда не осознает всей серьезности опасности. В самые тяжелые дни его мысли никогда не выходят за пределы интриганов и честолюбцев, нарушающих общественный покой; он всегда обвиняет Катилина, Цезаря или Клодия и думает, что все будут спасены, если удастся одолеть их. Он ошибался, Катилина и Клодий были лишь симптомами более глубокого зла, которое невозможно излечить; но стоит ли винить его за эту надежду, пусть и химерическую? Разве можно винить его за то, что он считал, что для спасения республики есть другие средства, кроме жертвы свободой? Честный человек и добропорядочный гражданин не должен с самого начала принимать эти советы отчаяния. Бесполезно говорить ему, что распоряжения судьбы обрекают на гибель конституцию, которую он предпочитает и которую обещал защищать; ему лучше не верить в ее полную гибель, пока она не будет фактически свергнута. Если угодно, мы можем называть таких людей слепцами или недоумками; для них почетно не быть слишком проницательными, и есть ошибки и иллюзии, которые стоят большего, чем слишком легкая покорность. Настоящей свободы в Риме больше не существовало, как я полагаю, осталась лишь тень, но тень все же была. Нельзя обижаться на тех, кто привязался к ней и прилагал отчаянные усилия, чтобы не дать ей погибнуть, ибо эта тень, это подобие утешало их за утраченную свободу и давало хоть какую-то надежду на ее восстановление. Так думали честные люди вроде Цицерона, которые после зрелых размышлений, без энтузиазма, без страсти и даже без надежды отправились на поиски Помпея; так Лукан заставляет Катона сказать в тех восхитительных строках, которые, как мне кажется, выражают чувства всех тех, кто, не скрывая от себя печального состояния республики, упорно отстаивал ее до последнего: "Как отец, только что потерявший ребенка, с удовольствием проводит его похороны, своими руками зажигает погребальный костер, с сожалением покидает его, как только может; так и я, Рим, не оставлю тебя, пока не подержу тебя мертвую в своих объятиях. Я буду следовать до конца самому имени твоему, о Свобода, даже когда ты станешь не более чем тщетной тенью!"

IV.

Фарсалия не стала концом политической карьеры Цицерона, как он думал. События должны были вновь привести его к власти и поставить во главе республики. Его уединенная жизнь, молчание в первые дни диктатуры Цезаря не только не повредили его репутации, но, напротив, укрепили ее. Государственные деятели не так много теряют, как им кажется, оставаясь на некоторое время в стороне от дел. Отставка, поддерживаемая с достоинством, повышает их значимость. Того, что они больше не у власти, достаточно, чтобы люди нашли в себе склонность сожалеть о них. Когда их место не желанно, меньше причин быть суровым по отношению к ним, а поскольку люди больше не страдают от их недостатков, память о них легко теряется, и вспоминаются только их хорошие качества. Именно это и произошло с Цицероном. Его позор обезоружил всех врагов, которых нажила его власть, и его популярность никогда не была столь велика, как тогда, когда он добровольно скрывал себя

от посторонних глаз. Немного позже, когда он решил, что ему следует сблизиться с Цезарем, он вел себя с таким тактом, так ловко регулировал подчинение и независимость, так хорошо умел сохранять видимость оппозиции даже в своих восхвалениях и льстивых речах, что общественное мнение не переставало благоволить к нему. Кроме того, самые прославленные защитники побежденного дела, Помпей, Катон, Сципион, Бибул, были мертвы. Из всех тех, кто с честью занимал высшие посты при старом правительстве, остался только он один, поэтому его было принято считать последним представителем республики. Мы знаем, что в мартовские иды Брут и его друзья, зарубив Цезаря и размахивая окровавленными мечами, призвали Цицерона. Похоже, они признали его главой своей партии и возложили на него ответственность за только что совершенное кровопролитие.

Таким образом, именно обстоятельства, а не его собственная воля, заставили его сыграть столь значительную роль в событиях, последовавших за смертью Цезаря.

Позже я расскажу^[60], как он был вынужден вступить в борьбу с Антонием, в которой ему предстояло погибнуть. Я покажу, что он начал ее не по своей воле и не добровольно. Он покинул Рим и не хотел возвращаться. Он считал, что время сопротивления в законных формах прошло, что ветеранам Антония нужно противопоставить хороших солдат, а не веские причины, и он не ошибся. Убедившись, что его роль закончена, а роль воинов вот-вот начнется, он отправился в Грецию, когда шторм выбросил его на берег Регии. Оттуда он отправился в порт Велия, где нашел Брута, который тоже готовился покинуть Италию, и именно он, всегда щепетильный, всегда враг насилия, попросил его еще раз попытаться разбудить народ и еще раз попытаться вести борьбу на основе закона. Цицерон уступил просьбе своего друга, и хотя надежды на успех было мало, он поспешил вернуться в Рим, чтобы там предложить эту последнюю битву. Это был второй раз, когда он, подобно Амфиару, пришел "броситься живым в пропасть".

В тот день Брут оказал ему хорошую услугу. Отчаянное предприятие, в которое он ввязался, почти вопреки себе, не могло быть полезным для республики, но послужило славе Цицерона. Это был, пожалуй, самый великий момент в его политической жизни. Во-первых, мы с радостью и почти с удивлением обнаружили, что он тверд и решителен. Кажется, он избавился от всех колебаний, которые обычно мешали его поведению; кроме того, колебаться тогда было невозможно, ведь вопрос никогда не был поставлен так четко. С каждым новым развитием событий стороны вырисовывались все отчетливее. Впервые честолубие Цезаря, о котором все знали, сплотив вокруг римской аристократии всех тех, кто хотел, подобно ему, сохранить древние институты, расширило пределы этой партии и изменило ее программу. Приняв в себя новые элементы, она изменилась как в названии, так и в характере; она стала партией порядка, партией честных людей, "оптиматов". Именно так любит называть ее Цицерон. Смысл этого названия поначалу был довольно туманным, но после Фарсалии он стал более точным. Поскольку в этот момент уже не оставалось никаких сомнений в намерениях завоевателя, так как было видно, что он открыто подменяет своей властью власть сената и народа, партия, сопротивлявшаяся ему, получила подобающее ей название, от которого уже никто не мог отказаться; она стала республиканской партией. Борьба между республикой и деспотизмом была честно начата. И чтобы сомнений было меньше, деспотизм после смерти Цезаря предстал перед римлянами в своей наименее замаскированной и, так сказать, наиболее жестокой форме. Солдат без политического гения, без манер, без величия души, одновременно грубый, развратный и жестокий, силой утверждал свое право на наследство великого диктатора. Он не позаботился о том, чтобы скрыть свои замыслы, и ни Цицерон, ни кто-либо другой больше не могли быть обмануты. Должно быть, для ума, обычно столь нерешительного и неуверенного, было большим

облегчением увидеть истину так ясно, не быть больше озадаченным тенями, иметь такую полную уверенность в справедливости своего дела и после стольких сомнений и неясностей наконец-то сражаться при ясном дневном свете. Мы чувствуем, что его разум успокоился! Насколько он свободнее и живее! Какой пыл в этом старике, какое нетерпение к борьбе! Никто из окружающих его молодых людей не проявляет такой решимости, как он, да и сам он, несомненно, моложе, чем когда боролся с Катилиной или Хлодием. Он не только решительно начинает борьбу, но, что еще более необычно для него, доводит ее до конца, не отступая. По странному контрасту, самое опасное предприятие, которое он когда-либо предпринимал и которое должно было стоить ему жизни, было именно тем, в котором он лучше всего сопротивлялся своим обычным приступам уныния и слабости.

Сразу же по возвращении в Рим, еще воодушевленный пылом, который он приобрел в Веллии благодаря беседам с Брутом, он отправился в сенат и решил выступить там. Первый Филиппик, по сравнению с остальными, кажется робким и бесцветным; однако какого мужества ему не хватило, чтобы произнести его в этом беззаботном городе, перед испуганными сенаторами, в нескольких шагах от разъяренного и грозного Антония, который через своих шпионов слышал все, что говорилось против него! Цицерон закончил так же, как и начал. Дважды, с интервалом в тридцать пять лет, он в одиночку, среди всеобщего молчания, возвышал свой голос против страшной силы, которая не терпела сопротивления. Мужество, как и страх, заразительно. Мужество, проявленное Цицероном в своей речи, пробудило мужество других. Эта свобода слова сначала удивила, а затем пристыдила тех, кто молчал. Цицерон воспользовался этим первым оживлением, которое все еще было довольно нерешительным, чтобы собрать вокруг себя несколько человек и найти защитников почти забытой республики. Тут-то и возникла трудность. Республиканцев почти не осталось, а самые решительные уехали в Грецию к Бруту. Все, что можно было сделать, - это обратиться к умеренным представителям всех партий, ко всем тем, кого потрясли эксцессы Антония. Цицерон призвал их забыть старую вражду и воссоединиться. "Теперь, - говорил он, - есть только один сосуд для всех честных людей". Здесь мы узнаем его обычную политику. Он снова пытается создать коалицию, как во времена своего консульства. Очевидно, что именно эта часть ему больше всего по вкусу и больше всего ему подходит. Благодаря уступчивости своего характера и своим принципам он, как никто другой, умел примирять мнения, а привычка обращаться ко всем партиям сделала его не чужим ни для одной, и везде у него были друзья. Поэтому поначалу его затея оказалась очень удачной. Некоторые из полководцев Цезаря охотно прислушались к нему, особенно те, кто считал, что, оставаясь гражданами свободного государства, они теряют меньше, чем становясь подданными Антония; а также честолюбивые подчиненные, такие как Гирций и Панса, которые после смерти хозяина не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы стремиться к первому месту, и не хотели довольствоваться вторым. К сожалению, это все еще было лишь собрание вождей без воинов, а в воинах никогда не было такой нужды, как в тот момент. Антоний находился в Брундизии, где ждал легионы, посланные им в Македонию. Разгневанный неожиданным сопротивлением, с которым он столкнулся, он объявил, что отомстит за себя грабежом и резней, и его знали как человека, способного это сделать. Каждому казалось, что он уже видит свой дом разграбленным, свое поместье разделенным, свою семью проскрибированной. Повсюду царил страх, люди дрожали, прятались и бежали. Самые отважные искали со всех сторон того, кто мог бы встать на защиту республики. На помощь можно было надеяться только от Децима Брута, который с несколькими легионами занял Цизальпинскую Галлию, или от Секста Помпея, который реорганизовывал свои войска в Сицилии, но эта помощь была далекой и сомнительной, а гибель - близкой и верной. В разгар всеобщей паники племянник Цезаря, молодой Октавий, которого ревность Антония и недоверие республиканцев до сих пор держали в стороне и который с нетерпением ждал

возможности заявить о себе, решил, что эта возможность наступила. Он отправился по окрестностям Рима, призывая к оружию ветеранов своего дяди, обосновавшихся там. Его имя, его либеральность, обещания, которые он давал, вскоре привели к нему солдат. В Калатии, в Казилинуме за несколько дней он нашел три тысячи. Тогда он обратился к лидерам сената, предложил им поддержку своих ветеранов, требуя в качестве единственного вознаграждения, чтобы они признали его в тех усилиях, которые он собирался предпринять для их спасения. В таком бедственном положении нельзя было отказаться от помощи, без которой они погибли бы, и Цицерон, сначала проявлявший некоторое недоверие, в конце концов позволил себе соблазниться этим молодым человеком, который советовался с ним, льстил ему и называл его отцом. Когда благодаря ему они спаслись, когда увидели, что Антоний, покинутый частью своих легионов, вынужден покинуть Рим, где его сдерживал Октавий, благодарность сената была столь же щедрой, сколь велик был их страх. Освободителя осыпали почестями и наградами. Цицерон в своих восхвалениях ставил его гораздо выше своего дяди; он называл его божественным юношей, вознесенным небесами для защиты своей страны: он выступал гарантом его патриотизма и верности; неосторожные слова, за которые Брут сурово упрекал его и которые событие не замедлило подделать!

Последовавшие за этим события слишком хорошо известны, чтобы я мог их повторять. Никогда Цицерон не играл более значительной политической роли, чем в этот момент; никогда он не был так достоин звания государственного деятеля, от которого отказались его враги. В течение шести месяцев он был душой республиканской партии, которая была вновь создана по его призыву. "Это я, - с гордостью говорил он, - дал сигнал к этому пробуждению", и он был прав, говоря так. Его голос, казалось, вернул патриотизм и энергию этому беззаботному народу. Он заставил их вновь аплодировать тем великим именам страны и свободы, которые Форум вскоре перестал слышать. Из Рима пыл перекинулся на соседние города, и постепенно пробудилась вся Италия. Однако этого ему было мало, он пошел еще дальше, чтобы поднять врагов для Антония и защитников для республики. Он писал проконсулам провинций и генералам армий. Из одного конца света в другой он укорял слабонервных, льстил честолюбцам и поздравлял энергичных. Именно он подстрекал всегда нерешительного Брута к захвату Греции. Он аплодировал смелому удару Кассия, который сделал его хозяином Азии; он призывал Корнифиция изгнать солдат Антония из Африки; он поощрял Децима Брута к сопротивлению в Модене. Обещания поддержки, к которым он так искренне призывал, поступали со всех сторон. Даже враги и предатели не смели открыто отказать ему в сотрудничестве. Лепид и Планк решительно заявили о своей верности. Поллион написал ему в торжественном тоне, "что он клянется быть врагом всех тиранов". Со всех сторон его дружбы требуют, его поддержки просят, люди ставят себя под его защиту. Его Филиппики, которые, к счастью, он не успел переработать, разбросаны по всему миру, почти в том виде, в каком он их произносил, и с живостью первого наброска сохраняют следы перебивок и рукоплесканий народа. Эти страстные речи повсюду несут в себе страсть этих грандиозных народных сцен. Их читают в провинциях, их поглощают в армиях, а из самых далеких стран к Цицерону приходят свидетельства о восхищении, которое они вызывают! "Твое одеяние еще удачнее нашего оружия", - говорит ему победоносный полководец и добавляет: "В тебе консул победил консула". "Мои солдаты - твои", - пишет ему другой.^[65] Ему приписывались все удачи республики. Именно его поздравляли и благодарили за все успехи, которые были достигнуты. В тот вечер, когда в Риме стало известно о победе над Моденой, весь народ пришел к нему в дом, чтобы разыскать его, проводил его с триумфом до Капитолия и пожелал услышать из его собственных уст рассказ о сражении. "Этот день, - писал он Бруту, - отплатил мне за все мои труды".

Это был последний триумф Цицерона и республики. Успех иногда бывает более фатальным для коалиции, чем поражение. Когда общий враг, ненависть к которому их объединяла, побежден, вспыхивают частные разногласия. Октавий хотел ослабить Антония, чтобы получить от него то, что ему было нужно; он не хотел его уничтожить. Увидев его летящим к Альпам, он сделал ему предложение, и оба вместе двинулись на Рим. С этого времени Цицерону ничего не оставалось, как "подражать храбрым гладиаторам и стремиться, подобно им, умереть с честью". Его смерть была мужественной, что бы ни утверждал Поллион, который, предав его, был заинтересован в клевете на него. Я скорее поверю свидетельству Ливия, который не был одним из его друзей и жил при дворе Августа: "Из всех его несчастий, - говорит он, - смерть - единственное, которое он перенес как мужчина". Это, надо признать, было нечто. Он мог бы бежать, и в какой-то момент он попытался это сделать. Он хотел отправиться в Грецию, где нашел бы Брута; но после нескольких дней плавания при встречном ветре, страдая от моря, терзаемый прежде всего сожалениями и печалью, он потерял надежду на жизнь, был высажен в Гаэте и вернулся в свой дом в Формиях, чтобы умереть там. Он часто благодарил шторм, который унес его обратно в Велию, когда он впервые пожелал бежать в Грецию. Именно он дал ему возможность написать свои "Филиппики". Шторм, который выгнал его на берег Гаэты, оказался не менее полезным для его славы. Его смерть, как мне кажется, искупает слабости его жизни. Для такого человека, как он, который не мог похвастаться тем, что он Катон, очень много значит быть таким твердым в этот ужасный момент; чем более робким он был по характеру, тем больше я тронут тем, что он так решительно умирает. Таким образом, когда, изучая его историю, я испытываю искушение упрекнуть его в нерешительности и слабости, я думаю о его конце, вижу его таким, каким его так хорошо изобразил Плутарх: "борода и волосы грязные, лицо измученное, взяв подбородок в левую руку, как это было принято, и пристально глядя на своих убийц", и я больше не смею быть суровым. Несмотря на свои недостатки, он был честным человеком, "который хорошо любил свою страну", как сказал сам Август в день искренности и раскаяния. Если иногда он был слишком нерешителен и слаб, он всегда заканчивал тем, что защищал то, что считал делом справедливости и права, а когда это дело было навсегда побеждено, он оказал ему последнюю услугу, которую оно могло потребовать от своих защитников, - почтил его своей смертью.

II ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЦИЦЕРОНА

/

Те, кто читал переписку Цицерона с Аттиком и знает, какое место в этих частных беседах занимают денежные вопросы, не удивятся, что я начинаю исследование его личной жизни с попытки оценить его состояние. Люди того времени были озабочены деньгами не меньше, чем люди наших дней, и, возможно, именно в этом эти два периода, которые люди так часто любят сравнивать, больше всего похожи друг на друга.

Для того чтобы с точностью определить расходы его домохозяев, необходимо иметь под рукой бухгалтерские книги Эроса, управляющего Цицерона. Все, что мы знаем с уверенностью по этому вопросу, - это то, что отец оставил ему весьма скромное состояние, которое он значительно приумножил, хотя мы не можем точно сказать, до какой суммы оно дошло. Его враги имели привычку преувеличивать его, чтобы бросить подозрение на средства, которыми оно было приобретено, и действительно, вероятно, если бы мы знали общую сумму, она показалась бы нам значительной; но мы должны быть осторожны, чтобы

не судить о ней в соответствии с представлениями нашего времени. Богатство не является абсолютной вещью; человек богат или беден в зависимости положения, в котором он живет, и вполне возможно, что то, что было бы богатством в одном месте, едва ли будет компетенцией в другом. Теперь мы знаем, что в Риме богатство было распределено далеко не так равномерно, как у нас. За сорок лет до консульства Цицерона трибун Филипп говорил, что в этом огромном городе не было и двух тысяч человек, которые имели бы вотчину;^[70] только они владели всем общественным богатством. Красс утверждал, что для того, чтобы называть себя богатым, необходимо, чтобы человек мог содержать армию из своих доходов, и мы знаем, что он был в состоянии делать это без особых неудобств. Мило за несколько лет умудрился влезть в долги на сумму более семидесяти миллионов сестерций (560 000 фунтов стерлингов). Цезарь, будучи еще частным лицом, потратил в свое время сто двадцать миллионов сестерций (960 000 фунтов стерлингов), чтобы преподнести в дар римскому народу новый Форум. Такая вопиющая расточительность подразумевает огромные состояния. В сравнении с ними можно понять, что состояние Цицерона, которого едва хватило на покупку дома на Палатине, и которое почти исчерпывалось украшением его тускуланской виллы, должно быть, казалось весьма умеренным.

Каким образом он его получил? Небезынтересно узнать это, чтобы ответить на недоброжелательные сообщения, которые распространяли его враги. Он где-то говорит, что средствами, с помощью которых в Риме можно было честно заработать состояние, были торговля, заключение контрактов на общественные работы и сбор налогов;^[71] но эти средства, очень удобные для людей, спешащих обогатиться, могли быть использованы только теми, кто не имел политических амбиций; они исключали возможность получения общественных почестей, а следовательно, не подходили человеку, стремящемуся управлять своей страной. Мы также не видим, чтобы он действовал подобно Помпею, который вложил свои средства в важный банк и разделил прибыль; по крайней мере, в его письмах не осталось никаких следов подобных начинаний. Он и подумать не мог о том, чтобы заработать на своих произведениях. В те времена не было принято, чтобы автор продавал свои произведения книготорговцам; вернее, книготорговля, как мы понимаем ее сейчас, почти не существовала. Обычно те, кто хотел прочитать или обладать книгой, брали ее у автора или его друзей и переписывали у своих рабов. Когда переписчиков становилось больше, чем нужно для собственных нужд, они заставляли их работать на публику и продавали ненужные им экземпляры; но автор не имел никакого отношения к прибыли, которую они с них получали. И наконец, государственные должности не могли обогатить Цицерона; мы знаем, что они были не столько средством заработка, сколько поводом для расходов и разорения, как по той цене, которую иногда приходилось за них платить, так и по тем играм и развлечениям, которые ожидали тех, кто их получал. Только в управлении провинциями были достигнуты огромные успехи. Именно на эти доходы честолюбивые вельможи обычно рассчитывали возместить растрату своего состояния, к которой привели роскошь их личной жизни и изобилие жизни общественной. Теперь Цицерон лишил себя этой возможности, уступив своему коллеге Антонию провинцию, которой, согласно обычаю, он должен был управлять после консульства. Подозревают, правда, что он заключил с ним некую сделку, по которой сохранил за собой долю в тех больших доходах, от которых отказался. Если такая сделка и существовала, что сомнительно, то она точно не была соблюдена. Антоний разграбил свою провинцию, но разграбил ее для себя одного, и Цицерон ничего из нее не извлек. Двенадцать лет спустя, сам того не желая, он был назначен проконсулом Киликии. Мы знаем, что он пробыл там всего год и, не совершая никаких противозаконных действий и обеспечивая счастье своих подданных, сумел вернуть себе два миллиона двести тысяч сестерций (17 600 фунтов стерлингов), что дает нам представление о том, что можно получить в провинциях, когда их грабят без всякого стеснения. Кроме того, эти деньги не

принесли Цицерону никакой пользы: часть их он одолжил Помпею, который их не вернул, а остальное, вероятно, досталось ему в результате гражданской войны, поскольку по ее окончании он оказался без средств. Поэтому мы должны искать истоки его состояния в другом месте. Если бы он жил в наше время, нам не составило бы труда узнать, откуда оно взялось. Оно было бы достаточно объяснено его способностями адвоката. С таким красноречием, как у него, он и в наши дни не преминул бы быстро обогатиться в адвокатуре; но в те времена существовал закон, запрещавший ораторам принимать плату или подарки от тех, за кого они выступали (*lex Cincia, de donis et muneribus*). Хотя этот закон был принят трибуном, который, по словам Ливия, сделал это в интересах народа,^[72] в основе своей был аристократическим законом. Не позволяя адвокату извлекать законную прибыль из своего таланта, он отстранял от адвокатуры тех, у кого ничего не было, и оставлял занятие этой профессией для богатых в качестве привилегии, или, скорее, препятствовал тому, чтобы она действительно стала профессией. Однако я думаю, что этот закон всегда соблюдался весьма несовершенно. Поскольку он не мог предусмотреть всего, едва ли можно было предотвратить, чтобы благодарные клиенты не нашли какой-нибудь хитроумный способ избежать его строгости. Если они действительно были намерены каким-то образом заплатить за услуги, которые они получили, мне кажется, что закон мог только с трудом помешать этому. Во времена Цицерона они не преминули открыто нарушить его. Веррес сказал своим друзьям, что разделил деньги, привезенные им из Сицилии, на три части; самая значительная пошла на развращение судей, вторая - на оплату адвокатов, а сам он довольствовался третьей.^[73] Цицерон, который по этому случаю смеялся над адвокатом Верреса, Гортенziem, и над сфинксом, которого тот получил на счет, позаботился о том, чтобы не подражать ему. Его брат утверждает, что до тех пор, пока он не стал кандидатом в консулы, он никогда ничего не просил у своих клиентов.^[74] Тем не менее, какие бы угрызения совести мы ни предполагали, очень трудно признать, что он никогда не пользовался их доброй волей. Несомненно, он отказался от подарков, которые сицилийцы хотели сделать ему, когда он отомстил им за Верреса; возможно, было бы неразумно принимать их после столь громкого процесса, который привлек к нему все внимание и сделал его могущественным врагом; но через несколько лет после этого я вижу, что он позволил себе принять подарок, сделанный ему его другом Папирием Поэтом, за которого он только что выступал.^[75] Он состоял из нескольких прекрасных греческих и латинских книг, а Цицерон ничего не любил так сильно, как книги. Замечу также, что, когда ему нужны были деньги, что случалось иногда, он предпочитал обращаться к богатым людям, которых защищал. Они были менее суровыми и более терпеливыми кредиторами по отношению к нему, чем другие, и было вполне естественно, что он пользовался их влиянием после того, как помог им своим красноречием. Он сам рассказывает, что купил дом Красса на деньги своих друзей. Среди них П. Силла, за которого он только что ратовал, один одолжил ему два миллиона сестерций (16 000 фунтов стерлингов). Когда на него напали за это в сенате, Цицерон отделался шуткой; это доказывает, что *lex Cincia* больше не пользовался большим уважением и что те, кто его нарушал, не очень-то боялись быть привлеченными к ответственности.^[76] Вполне возможно, что те вельможи, чью честь или состояние он спас, те города или провинции, которые он защитил от жадных губернаторов, те иностранные князья, чьи интересы он защищал в сенате, и, прежде всего, те богатые общества земледельцев, через руки которых проходили все деньги, которые мир посылал в Рим, и которым он так энергично служил своей репутацией или своим красноречием, часто искали и иногда находили возможность выразить свою благодарность. В наши дни эта щедрость кажется нам настолько естественной, что едва ли стоит винить Цицерона за то, что он не всегда ее отвергал; но мы можем быть уверены, что если он иногда и думал, что может ее принять, то всегда делал это с большей умеренностью и сдержанностью, чем большинство его современников.

Нам известна одна из самых обычных форм и, как кажется, одна из самых законных, в которых проявлялась эта щедрость. В Риме существовал обычай выплачивать после смерти и по завещанию все долги благодарности и привязанности, возникшие при жизни. Это был способ, который предлагал клиент, чтобы выполнить свои обязательства перед защитником, который его защищал, и не похоже, что *lex Cincia* ставил какие-либо препятствия на этом пути. У нас самих нет ничего подобного. В те времена отец семейства, имевший естественных наследников, мог изъять из своего состояния любую сумму, какую пожелает, и подарить своим родственникам, друзьям и всем, кто был ему полезен или приятен, хорошую долю своего имущества. Этот обычай превратился в злоупотребление. Мода и тщеславие стали играть в нем большую роль. Человек хотел казаться, что у него много друзей, вписывая в завещание имена многих людей, и, естественно, предпочтение отдавалось самым известным. Иногда в нем собирались люди, которые редко встречались где-либо еще и, должно быть, удивлялись, обнаружив себя там. Клувий, богатый банкир из Путеолов, после Фарсалии оставил свое имущество Цицерону и Цезарю.^[77] Архитектор Кир включил в число своих наследников и Клодия, и Цицерона, то есть двух людей, которые наиболее сильно ненавидели друг друга в Риме.^[78] Этот архитектор, несомненно, считал за честь иметь друзей среди всех партий. Случалось даже, что человек заносил в свое завещание людей, которых никогда не видел. Лукулл приумножил свое огромное состояние за счет завещаний, которые неизвестные люди оставили ему, пока он управлял Азией. Аттикус получил множество наследств от людей, о которых он никогда не слышал и которые знали его только по репутации. Насколько же великий оратор Цицерон, перед которым многие были в долгу и которым гордились все римляне, должен был часто становиться объектом этой посмертной щедрости! Из его писем мы видим, что он был наследником многих людей, которые, похоже, не занимали большого места в его жизни. В целом, оставленные им суммы не очень велики. Одна из самых больших - та, которую он унаследовал от своего старого учителя, стоика Диодота, которого он содержал в своем доме до самой смерти.^[79] В благодарность за эту многолетнюю привязанность Диодот оставил ему все свои сбережения как философа и учителя. Их сумма составила сто тысяч сестерций (800 фунтов стерлингов). Объединение всех этих небольших завещаний, несомненно, составило значительную сумму. Сам Цицерон оценивает ее более чем в двадцать миллионов сестерций (160 000 фунтов стерлингов).^[80] Поэтому мне кажется, что нет сомнений в том, что эти наследства, а также подарки, которые он мог получить из благодарности своих клиентов, были главным источником его богатства.

Это богатство состояло из имущества разного рода. Во-первых, он владел домами в Риме. Помимо дома на Палатине и доставшегося ему от отца дома на Карине, у него были еще дома в Аргилетуме и на Авентине, которые приносили ему доход в размере восьмидесяти тысяч сестерций (640 фунтов стерлингов).^[81] Он владел многочисленными виллами в Италии. Мы знаем о восьми очень важных, принадлежавших ему,^[82] не считая тех небольших домов (*diversoria*), которые вельможи покупали вдоль главных дорог, чтобы было где отдохнуть, когда они ехали из одного домена в другой. У него также были денежные суммы, которыми он распоряжался по-разному, как мы видим из его переписки. Мы не можем с точностью оценить эту часть его богатства, но, согласно практике богатых римлян того времени, можно утверждать, что она была не меньше, чем его дома или поместья. Однажды, когда он просит Аттика купить ему сады, которые он желает, он говорит ему вскользь, что, по его мнению, в его собственных руках находится около шестисот тысяч сестерций (4800 фунтов стерлингов).^[83] Здесь мы имеем, пожалуй, одно из самых любопытных различий, отличающих то состояние общества от нашего. В наши дни вряд ли кто-либо, кроме банкиров по профессии, имеет дело с такими значительными суммами денег. Наша аристократия всегда свысока относилась к финансовым вопросам. Римская аристократия, напротив, хорошо понимала их и много думала о них. Их огромное богатство использовалось для

удовлетворения политических амбиций, и они без колебаний рисковали его частью, чтобы заполучить сторонников. Кошелек кандидата на государственные почести был открыт для всех, кто мог быть ему полезен. Он давал самым бедным, давал займы другим и стремился наладить с ними отношения, которые бы привязали их к его делу. Успех обычно сопутствовал тем, кто связывал обязательствам наибольшее число людей. Цицерон, хотя и был менее богат, чем большинство из них, подражал им. В своих письмах к Аттику он почти всегда пишет о векселях и сроках их погашения, и мы видим, что его деньги циркулируют по всем сторонам. Он находится в постоянных деловых отношениях и, как мы теперь говорим, имеет текущий счет с самыми великими персонами. Иногда он одалживает Цезарю, а иногда берет у него займы. Среди его многочисленных должников встречаются люди всех рангов и состояний, от Помпея до Гермогена, который, кажется, был простым вольноотпущенником. К сожалению, если пересчитать их всех, его кредиторы оказываются еще более многочисленными. Несмотря на пример и советы Аттика, он плохо понимал, как управлять своим состоянием. У него постоянно возникали дорогостоящие причуды. Он хотел любой ценой заполучить статуи и картины, чтобы украсить свои галереи и придать им вид греческих гимназий. Он разорял себя, чтобы украсить свои загородные дома. Щедрый не по сезону, он дает займы другим, когда вынужден занимать для себя. Именно тогда, когда он погряз в долгах, у него возникает огромное желание купить новую виллу. Тогда он без колебаний обращается ко всем банкирам Рима; он ходит к Консидию, Аксию, Вектену, Весторию; он даже попытался бы смягчить Цецилия, дядю своего друга Аттика, если бы не знал, что тот непреклонен. Тем не менее он переносит свои беды с легким сердцем. Благоразумный Атик напрасно говорит ему, что быть в долгу позорно; но поскольку он разделяет этот позор со многими людьми, это кажется легким, и он первым начинает шутить по этому поводу. Однажды он сказал одному из своих друзей, что так задолжал, что охотно вступил бы в какой-нибудь заговор, если бы кто-нибудь его принял, но что с тех пор, как он наказал Катилину, он не внушает доверия другим;^[84] и когда наступает первый день месяца, когда нужно платить, он довольствуется тем, что затворничает в Тускулуме и оставляет Эроса или Тиро спорить с кредиторами.

Эти смущения и неприятности, которыми полна его переписка, заставляют нас, почти вопреки себе, вспомнить о некоторых местах в его философских трудах, которые кажутся довольно удивительными, если сопоставить их с его образом жизни, и которые легко могут быть обращены против него. Действительно ли этот легкомысленный блудник, всегда готовый тратить без раздумий, воскликнул однажды тоном убежденности, который нас трогает: "Вы, бессмертные боги, когда же люди поймут, какие сокровища можно найти в экономии!" Как осмелился этот пылкий любитель произведений искусства, этот страстный друг великолепия и роскоши, как осмелился он считать безумцами людей, которые слишком любят статуи и картины или строят себе великолепные дома? Он сам себя осуждает, и я не хочу его полностью оправдывать; но, вынося ему суровый приговор, давайте вспомним о временах, в которые он жил, и подумаем о его современниках. Я не стану сравнивать его с худшими людьми, его превосходство было бы слишком очевидным; но среди тех, кого считают самыми почетными, он по-прежнему занимает одно из первых мест. Он не был обязан своим богатством ростовщичеству, как Брут и его друзья; он не приумножал его той гнусной скупостью, в которой упрекают Катона; он не грабил провинции, как Аппий или Кассий; он не соглашался, как Гортензий, брать свою долю от этого грабежа. Тогда мы должны признать, что, несмотря на все упреки, которые мы можем возложить на него, он был более щепетилен и бескорыстен в денежных делах, чем другие. В основном его нарушения вредили только ему самому,^[86] и если он имел слишком большой вкус к разорительной расточительности, то, по крайней мере, не прибегал к скандальным приобретениям, чтобы удовлетворить его. Эти угрызения совести делают ему честь тем больше, что в то время они

были очень редки, и мало кто прошел без пятен через то алчное и развращенное общество, среди которого он жил.

II.

Он не заслуживает меньшей похвалы за то, что был благороден и постоянен в семейной жизни. Это были добродетели, в которых его современники не подавали ему примера.

Вероятно, юность его была аскетичной.^[87] Он твердо решил стать великим оратором, и это далось ему не без труда. От него самого мы знаем, насколько трудным было тогда обучение ораторскому искусству. "Чтобы преуспеть в нем, говорит он нам, человек должен отказаться от всех удовольствий, избегать всех развлечений, распрощаться с отдыхом, играми, развлечениями и почти полностью отказаться от общения с друзьями" Такова была цена, которую он заплатил за свой успех. Честолюбие, которое пожирало его, уберегло его от других страстей, и его хватало. Его юность была полностью посвящена учебе. Когда эти ранние годы прошли, опасность стала меньше; привычка к труду, которую он сформировал, и важные дела, которыми он занимался, могли уберечь его от всех опасных порывов. Писатели, которым он не нравился, тщетно пытались найти в его жизни следы той разнузданности, которая была так распространена вокруг него. Самые недоброжелательные, как Дио,^[89] подтрунивают над ним, рассказывая об умной женщине по имени Цереллия, которую он где-то называет своим близким другом.^[90] Она была таковой на самом деле, и, судя по всему, она не испытывала недостатка во влиянии на него. Его переписка с ней была сохранена и опубликована. Эта переписка, как говорят, была довольно свободной по тону и, казалось, поначалу давала повод для злословия; но следует заметить, что Керелия была намного старше его; что, отнюдь не будучи причиной раздоров в его семье, мы видим, что она вмешивалась только для того, чтобы примирить его с женой,^[91] более того, их знакомство, кажется, началось с общей любви к философии;^[92] спокойное происхождение, не предвещающее неприятных последствий. Цереллия была ученой дамой, чей разговор, должно быть, был очень приятен Цицерону. Ее возраст, ее образование, не свойственное обычным женщинам, располагали его к общению с ней, и, поскольку он был от природы быстр в речах, поскольку, будучи возбужден оживлением беседы, он не всегда мог управлять своим остроумием и сдерживать его, и, кроме того, по патриотизму, как и по вкусу, он не ставил ничего выше того свободного и смелого веселья, образцом которого казался ему Плавт, могло случиться, что он без церемоний написал ей те любезности, "более острые, чем у аттических писателей, и все же истинно римские". Позже, когда эти деревенские и республиканские манеры уже не были в моде, когда под влиянием постепенно развивающейся придворной жизни правила вежливости оттачивались, а манеры становились более церемонными, свобода этих замечаний, несомненно, шокировала некоторые привередливые умы и могла послужить поводом для недоброжелательных замечаний. Со своей стороны, из всей той переписки Цицерона, которая ныне утрачена, мы больше всего сожалеем о письмах к Цереллии. Они лучше, чем все остальные, показали бы нам привычки общества и жизнь модного мира того времени.

Считается, что ему было около тридцати лет, когда он женился. Это было в конце правления Суллы, во время его первых ораторских успехов. Его жена, Теренция, принадлежала к богатой и знатной семье. Она принесла ему в приданое, по словам Плутарха,^[94] 120 000 драхм (4440 фунтов стерлингов), и мы видим, что у нее были дома в Риме, а также лес возле Тускулума.^[95] Это был выгодный брак для молодого человека, только начинающего политическую жизнь, у которого было больше таланта, чем состояния. Из переписки Цицерона складывается не очень хорошее впечатление о Теренции. Мы представляем ее хозяйственной и аккуратной, но резкой и неприятной домохозяйкой, с которой было трудно

жить в ладу. Она не очень хорошо ладила со своим шурином Квинтом, а еще меньше - с невесткой Помпонией, которая, впрочем, не ладила ни с кем. Она имела то влияние на мужа, которое решительная и упрямая женщина всегда имеет над беспечным и непостоянным умом. Долгое время Цицерон оставлял ее абсолютной хозяйкой в доме, он был очень рад переложить на кого-то другого те занятия, которые его не устраивали. Не обошлось без ее влияния и на его политическую жизнь. Она посоветовала ему принять энергичные меры во время великого консульства, а позже сблизилась с Клодием из-за неприязни к Клодии, которую она подозревала в желании соблазнить его. Поскольку никакая выгода не была ей неприятна, ей удалось впутать его в некоторые финансовые дела, которые сам Аттик, не отличавшийся особой щепетильностью, не считал очень почетными; но на этом ее власть закончилась. Похоже, она осталась чужой и, возможно, была равнодушна к литературной славе своего мужа. Ни в одном из произведений Цицерона, где так часто повторяются имена его дочери, брата и сына, нет упоминания о его жене. Теренция не имела никакого влияния на его ум. Он никогда не делился с ней своими частными мнениями о самых серьезных делах жизни; он никогда не допускал, чтобы она разделяла его взгляды и убеждения. Любопытное доказательство этому мы находим в его переписке. Теренция была набожна, причем набожна до крайности. Она обращалась к прорицателям, верила в чудеса, и Цицерон не позаботился о том, чтобы излечить ее от этой эксцентричности. Кое-где он даже необычно распределяет труды между ней и собой; он показывает, как она почтительно служит богам, в то время как он занят работой для людей.^[96] Он не только не нарушил ее набожности, но и проявил к ней внимание, которое нас удивляет. Когда он собирался отправиться в лагерь Помпея, он написал ей: "Наконец-то я свободен от тех тревог и страданий, которые я испытывал и которые причиняли тебе столько беспокойства. На следующий день после отъезда я понял причину. Ночью я выпустил чистую желчь и почувствовал облегчение, как будто какой-то бог был моим врачом. Очевидно, это были Аполлон и Эскулап. Прошу тебя воздать им благодарность с твоим обычным благочестием и усердием". Это странный язык в устах скептика, написавшего трактат "О природе богов"; но Цицерон, несомненно, был одним из тех людей, как Варро и многие другие, которые, хотя сами мало пользуются религиозными обрядами, считают, что они не вредны для простых людей и для женщин. Сохранилась целая книга писем Цицерона к Терентию, в которой содержится история его домашнего хозяйства. Открыв ее, поражаешься, что по мере продвижения письма становятся все короче, а последние - не более чем короткие заметки. И не только длина писем уменьшается, но и тон их уже не тот, а знаки привязанности становятся все более редкими. Из этого можно сделать вывод, что эта привязанность была не из тех, что усиливаются со временем; что совместная жизнь, которая укрепляет истинные личные союзы, ослабила этот. Вместо того чтобы укрепиться, она износилась от долгого времени. Ранние письма свидетельствуют о невероятной страсти, и это несмотря на то, что Цицерон был женат уже почти двадцать лет; но тогда он был очень несчастен, а несчастья, как известно, делают людей более нежными, и семьи чувствуют необходимость сблизиться, когда на них обрушиваются тяжелые удары. Цицерона только что приговорили к изгнанию. Он с большой печалью покидал Рим, где, как он знал, его дом сожгли, друзей преследуют, с семьей жестоко обращаются. Теренция вела себя очень энергично, она страдала за своего мужа, и страдала мужественно. Узнав о том, как с ней обошлись, Цицерон в отчаянии написал ей: "Как я несчастен! И неужели женщина, такая добродетельная, такая благородная, такая нежная, такая преданная, должна так мучиться ради меня!" "Будь уверена, говорит он ей в другом месте, что у меня нет ничего дороже тебя. В эту минуту мне кажется, что я вижу вас, и я не могу сдержать слез!" Он добавил с еще большим чувством: "О, жизнь моя, я хотел бы увидеть вас снова и умереть в ваших объятиях!" После этого переписка прекращается на шесть лет. Она возобновляется в то время, когда Цицерон покидает Рим,

чтобы отправиться управлять Киликией, но тон письма очень сильно меняется. В единственном сохранившемся письме этой даты привязанность сменяется делом. Речь идет о наследстве, которое очень удачно выпало на долю Цицерона, и о том, как обратить его в лучшую сторону. Правда, он по-прежнему называет Теренцию своей очень дорогой и желанной женой, *suavissima atque optatissima*, но эти слова имеют вид вежливых фраз. Однако он выражает огромное желание увидеть ее снова и просит ее приехать как можно дальше и подождать его.^[101] Она доехала до Брундизия и, по счастливой случайности, вошла в город в то самое время, когда ее муж прибыл в гавань; они встретились и обнялись на Форуме. Это был счастливый момент для Цицерона. Он вернулся с титулом *императора* и надеждой на триумф; он нашел свою семью объединенной и радостной. К сожалению, гражданская война вот-вот должна была разразиться. За время его отсутствия партии перессорились между собой; они вот-вот должны были сойтись в схватке, и сразу после его приезда Цицерон был вынужден сделать выбор между ними и встать на их сторону. Эта война не только повредила его политическому положению, но и стала роковой для его личного счастья. Когда после Фарсалии переписка возобновляется, она приобретает исключительно фактический характер. Цицерон возвращается в Италию и снова приземляется в Брундизии, уже не триумфатором и счастливым, а побежденным и отчаявшимся. На этот раз он не желает больше видеть свою жену, хотя никогда еще не нуждался в утешении. Он держит ее на расстоянии, причем без особых церемоний. "Если ты придешь, - говорит он ей, - я не вижу, чем ты можешь быть мне полезна". Что делает этот ответ еще более жестоким, так это то, что в то же время он послал за своей дочерью и утешает себя ее разговорами. Что касается его жены, то она получает от него лишь короткие записки, и у него хватает смелости сказать ей, что он не делает их длиннее, потому что ему нечего сказать.^[103] В то же время он отправляет ее к Лепте, Требацию, Аттику и Сикку, чтобы узнать, какие решения он принял. Это достаточно ясно показывает, что она больше не пользуется его доверием. Единственный знак интереса, который он все еще проявляет к ней, - это время от времени просит ее позаботиться о своем здоровье, что является излишней рекомендацией, ведь она прожила более ста лет! Последнее письмо, которое он ей адресовал, - это как раз то, что человек написал бы своему стюарду, чтобы отдать распоряжение. "Я рассчитываю быть в Тускулуме 7-го или 8-го числа месяца, - пишет он, - будьте внимательны, приготовьте все необходимое. Со мной, возможно, будет несколько человек, и, скорее всего, мы останемся на некоторое время. Пусть будет готова ванна, и пусть не будет ничего, что необходимо для комфорта и здоровья". Через несколько месяцев после этого между супругами произошла разлука, которую предвещал этот тон. Цицерон развелся с Теренцией после более чем тридцати лет брака, когда у них уже были дети и внуки.

Какие мотивы подтолкнули его к этой неприятной крайности? Вероятно, мы не знаем всех. Неприязненный нрав Теренция, должно быть, часто становился причиной тех мелких ссор в семье, которые, повторяясь постоянно, в конце концов изматывают самую стойкую привязанность. Примерно в то время, когда Цицерон был возвращен из ссылки, и через несколько месяцев после того, как он написал те страстные письма, о которых я уже говорил, он сказал Аттику: "У меня есть домашние неприятности, о которых я не могу тебе написать", и добавил, чтобы его поняли: "Моя дочь и мой брат все еще любят меня". Надо думать, у него были веские основания жаловаться на жену, чтобы не включать ее в число лиц, которых он считал любимыми. Есть подозрение, что Теренция ревновала Цицерона к его дочери. Эта привязанность была несколько чрезмерной и настолько исключительной, что, возможно, ранила ее, а она была не той женщиной, чтобы переносить это без жалоб. Можно считать, что эти разногласия подготовили и привели к разводу, но они не были его окончательной причиной. Мотив был более прозаичным и вульгарным. Цицерон оправдывал его

расточительством и нецелевым использованием женой своих денег и несколько раз обвинял ее в том, что она разорила его ради собственной выгоды. Одной из самых любопытных особенностей той эпохи было то, что женщины, похоже, занимались бизнесом и интересовались спекуляциями не меньше, чем мужчины. Деньги - их первая забота. Они обрабатывают свои поместья, инвестируют средства, дают в долг и берут займы. Среди кредиторов Цицерона мы находим одну, а среди его должников - двух. Только, поскольку они не всегда могли сами проявить себя в этих финансовых делах, они прибегали к помощи какого-нибудь услужливого вольноотпущенника или сомнительного дельца, который следил за их интересами и наживался на их прибылях. Цицерон в своей речи к Цецине, столкнувшись с подобным персонажем, чьим делом было посвящать себя судьбе женщин, а зачастую и создавать свою собственную за их счет, изображает его в таких выражениях: "Нет человека, которого можно было бы встретить чаще в обычной жизни. Он льстец женщин, защитник вдов, мелочный адвокат по профессии, любитель ссор, постоянный участник судебных процессов, невежественный и глупый среди мужчин, умный и ученый адвокат среди женщин, умеющий завлекать внешним видом ложного рвения и лицемерной дружбы, стремящийся оказать услуги, иногда полезные, но редко верные." Он был чудесным наставником для женщин, мучимых желанием нажить состояние; так, Теренция имела при себе одного из таких людей, своего вольноотпущенника Филотима, умного делового человека, но не очень щепетильного, который преуспел в этом ремесле, поскольку был богат и сам владел рабами и вольноотпущенниками. В ранние годы Цицерон часто прибегал к его услугам, несомненно, по просьбе Теренция. Именно он получил для него по низкой цене часть имущества Милона, когда тот был изгнан. Это было выгодное дело, но не в очень хорошем вкусе, и Цицерон, который чувствовал, что это так, говорит о нем с некоторым стыдом. Уезжая в Киликию, он оставил управление частью своего имущества Филотиму, но недолго раскаивался в этом. Филотим, как управитель большого дома, уделял интересам своего хозяина меньше внимания, чем своим собственным. Он оставлял себе прибыль, полученную от имущества Милона, а по возвращении Цицерона представил ему счет, в котором значительная сумма значилась как его кредитор. "Он удивительный вор!" - в ярости сказал Цицерон. В это время его подозрения не шли дальше Филотима; когда он вернулся из Фарсалии, то ясно увидел, что Теренций был его сообщником. "Я нашел свои домашние дела, - говорил он другу, - в таком же плохом состоянии, как и дела республики". Бедственное положение, в котором он оказался в Брундизии, сделало его недоверчивым. Он стал внимательнее изучать свои счета, что было ему несвойственно, и ему не составило труда обнаружить, что Теренция часто обманывала его. Однажды она удержала шестьдесят тысяч сестерций^[109] (480 фунтов стерлингов) из приданого своей дочери. Это была неплохая прибыль, но она не пренебрегала и малыми выгодами. Однажды муж поймал ее на том, что она прикарманила две тысячи сестерций (16 фунтов стерлингов) из суммы, которую он у нее попросил.^[110] Эта жадность довершила раздражение Цицерона, которого другие причины, несомненно, долгое время раздражали и ранили. Он смирился с разводом, но не без печали. Мы не можем безнаказанно разрывать узы, которые привычка, при отсутствии привязанности, должна была бы сближать. В момент разлуки, после стольких счастливых дней, проведенных вместе, стольких общих бед, всегда остается какое-то воспоминание, которое тревожит нас. Печаль этих мучительных минут усугубляется тем, что, когда мы хотим уйти в себя и уединиться в своем горе, приходят деловые люди; мы должны защищать свои интересы, считаться и обсуждать с ними. Эти дискуссии, которые никогда не устраивали Цицерона, заставляли его тогда страдать больше обычного. Прося услужливого Аттика взять их на себя, он сказал: "Раны слишком свежие, я не мог бы прикоснуться к ним, не заставив их кровоточить". А поскольку Теренция продолжала создавать трудности, он пожелал положить

конец дискуссии, дав ей все, что она просила. "Я бы предпочел, - писал он, - иметь повод жаловаться на нее, чем быть недовольным собой".

Мы прекрасно понимаем, что острословы не преминули повеселиться на тему этого развода. В конце концов, это было справедливое возмездие, а Цицерон слишком часто смеялся над другими, чтобы рассчитывать, что его пощадят. К сожалению, через некоторое время он предоставил им новую возможность повеселиться его счет. Несмотря на свои шестьдесят три года, он решил снова жениться и выбрал совсем юную девушку Публилию, которую ее отец, умирая, передал под его опеку. Брак между опекуном и подопечной - это настоящий сценический брак, и опекуну, как правило, приходится хуже всех. Как случилось, что Цицерон с его житейским опытом позволил втянуть себя в этот неосмотрительный шаг? Теренция, которой пришлось мстить, повсюду повторяла, что он жестоко влюбился в эту молодую девушку; но его секретарь Тиро утверждал, что он женился на ней только для того, чтобы оплатить свои долги ее состоянием, и я думаю, что мы должны поверить Тиро, хотя не всегда в таких браках старший оказывается беднее. Как и следовало ожидать, неприятности в семье не заставили себя ждать. Публилия, которая была младше своей падчерицы, не была с ней согласна и, судя по всему, не смогла скрыть своей радости, когда та умерла. В глазах Цицерона это было непростительным преступлением, и он отказался видеть ее снова. Странно, что эта молодая женщина, отнюдь не принявшая с радостью свободу, которую он хотел ей вернуть, приложила немало усилий, чтобы снова войти в дом этого старика, который с ней развелся^[113], но он был непреклонен. На этот раз ему надоело жениться, и говорят, что, когда его друг Гиртий пришел предложить ему руку своей сестры, он отказал ей под тем предлогом, что трудно одновременно заниматься женой и философией. Это был мудрый ответ, но ему следовало бы подумать об этом раньше.

III.

У Цицерона было двое детей от Теренция. Старшей была его дочь Туллия. Он воспитывал ее по-своему, приобщая к своим занятиям и прививая ей вкус к тем интеллектуальным вещам, которые так любил сам и которые, судя по всему, не нравились его жене. "Я нахожу в ней, - говорил он, - мои черты, мои слова, мой ум"; , соответственно, он нежно любил ее. Пока она была еще совсем маленькой, ее отец не мог удержаться от того, чтобы в одной из своих молеб не упомянуть о своей привязанности к ней.^[115] Эта привязанность, несомненно самая глубокая из всех, что он когда-либо испытывал, была главной тревогой его жизни. Более печальной судьбы, чем судьба этой молодой женщины, невозможно себе представить. Выданная замуж в тринадцать лет за Пизона, затем за Крассипа, разлученная с ними смертью и разводом, она в третий раз вышла замуж, пока ее отец отсутствовал, управляя Киликией. Ухажеров было много, даже среди молодых людей из знатных семей, и их привлекала не только слава тестя, как мы могли бы подумать. Он говорит нам, что они предполагали, что он вернется из своего правления очень богатым. Женившись на его дочери, молодые люди думали заключить выгодный союз, который позволит им расплатиться с долгами.^[116] Среди них были сын консула Сульпиция и Тиберий Нерон, который был отцом Тиберия и Друза. Цицерон отдавал предпочтение последнему и даже отправился в Киликию за его согласием, но его жена и дочь, которым он, уезжая,

предоставил право выбора, решили без него в пользу Корнелия Долабеллы. Это был молодой человек из знатного рода, друг Курио, Каэлия и Антония, который до тех пор жил, как они, то есть рискуя своей репутацией и растрачивая свое состояние; кроме того, он был остроумным и модным человеком. Этот муж не пришелся по вкусу Аттику; но, похоже, Теренцию покорило его громкое имя, а Туллия, возможно, была равнодушна к его изысканным манерам. Поначалу брак казался счастливым. Долабелла очаровал тещу и жену своим добродушием и любезностью. Сам Цицерон, поначалу удивленный поспешностью, с которой было затеяно дело, решил, что его зять обладает большим умом и изысканностью. "В остальном, - добавил он, - мы должны смириться". Он ссылаясь на легкомысленные и распущенные привычки, от которых Долабелла не отказался, несмотря на женитьбу. Он обещал исправиться, но плохо выполнял свое обещание, и, как бы охотно Цицерон ни закрывал глаза на его распущенность, в итоге смириться было очень трудно. Он продолжал жить как молодежь того времени, шумел по ночам на улицах под окнами модниц, и его распутство казалось скандальным в городе, привыкшем к разврату. Он привязался к модной женщине, прославившейся своими амурными похождениями, Цецилии Метелле, жене консула Лентула Сфинтера. Это была та самая женщина, которая впоследствии погубила сына великого трагического актера Эзопа, того безумца, который, не зная, что придумать, чтобы быстрее погубить себя, имел странный каприз на ужине, который он давал своей любовнице, растворить и проглотить жемчужину стоимостью в миллион сестерций^[118] (£8000). С такой женщиной, как Метелла, Долабелла вскоре растратил свое состояние, затем он растратил состояние своей жены и, не довольствуясь тем, что предал и разорил ее, пригрозил ей разводом, когда она осмелилась пожаловаться. Судя по всему, Туллия очень любила его и долгое время сопротивлялась тем, кто советовал развестись. Цицерон где-то винит то, что он называет^[119] безрассудством своей дочери, но в конце концов ей пришлось решиться на это после новых возмущений и покинуть дом мужа, чтобы вернуться к отцу. Она была очарована. Последовавшее за этим заключение в столь мучительных обстоятельствах привело ее в Тускулум в возрасте тридцати одного года.

Цицерон был безутешен в связи с ее смертью, и его горе от потери было, безусловно, самым большим в его жизни. Поскольку его привязанность к дочери была хорошо известна, со всех сторон к нему приходили письма, которые обычно утешают только тех, кто не нуждается в утешении. Философы, которым приписывали его имя, своими увещеваниями пытались заставить его мужественнее перенести утрату. Цезарь писал ему из Испании, где он только что победил сыновей Помпея. Величайшие представители всех партий, Брут, Луций, сам Долабелла, разделяли его скорбь; но ни одно из этих писем, должно быть, не тронуло его сильнее, чем то, которое он получил от одного из своих старых друзей, Сульпиция, великого юриста, который в то время управлял Грецией. К счастью, оно сохранилось. Оно достойно великого человека, написавшего его, и того, кому оно было адресовано. Следующий отрывок часто цитируется: "Я должен рассказать тебе о размышлениях, которые утешили меня, и, возможно, они смогут уменьшить твою беду. По возвращении из Азии, когда я плыл из Эгины в сторону Мегары, я стал смотреть на окружающую меня страну. Мегара была передо мной, Эгина - позади, Пирей - справа, Коринф - слева. Когда-то это были очень процветающие города, теперь же от них остались лишь разрозненные руины. При виде этого зрелища я сказал себе: Как смеем мы, бедные смертные, сетовать на смерть наших друзей, чью жизнь природа сделала такой короткой, когда при одном взгляде на них мы видим одни трупы стольких великих городов, лежащих вокруг!" Мысль новая и великая. Этот урок, извлеченный из руин, эта манера черпать нравственные идеи из природы, эта серьезная меланхолия, смешанная с созерцанием прекрасного пейзажа, - чувства, мало известные языческой античности. Этот отрывок кажется вдохновленным духом христианства. Мы должны сказать, что его написал человек, знакомый со священными писаниями и "уже сидевший вместе с

пророком на развалинах опустевших городов". Это настолько верно, что святой Амвросий, желая написать соболезнование, подражал этому письму, и оно, вполне естественно, было сочтено христианским. Ответ Цицерона был не менее благороден. В нем мы видим трогательную картину его печали и замкнутости. Описав горе, которое он испытывал в связи с падением республики, он добавляет: "Моя дочь, по крайней мере, осталась со мной. У меня было место, куда я мог удалиться и отдохнуть. Очарование ее беседы заставляло меня забыть о своих заботах и печалях; но страшная рана, которую я получил, потеряв ее, вновь открыла в моем сердце все те раны, которые я считал закрытыми. Раньше я удалялся в свою семью, чтобы забыть о несчастьях государства, но может ли государство теперь предложить мне какое-нибудь средство, чтобы заставить меня забыть о несчастьях моей семьи? Я вынужден избегать одновременно и своего дома, и Форума, ибо мой дом больше не утешает меня за те неприятности, которые причиняет мне республика, а республика не может заполнить ту пустоту, которую я нахожу в своем доме"

Печальная судьба Туллии и горе, которое ее смерть причинила ее отцу, привлекают нас к ней. Когда мы видим, что ее так оплакивают, нам хочется узнать ее получше. К сожалению, в переписке Цицерона не сохранилось ни одного ее письма; когда он осыпает ее ум комплиментами, мы вынуждены верить, а комплименты отца всегда под подозрением. Исходя из того, что мы знаем, мы можем легко признать, что она была опытной женщиной; *lectissima femina* - вот похвала, которую ей дал Антоний, которому не нравилась ее семья.^[122] Мы хотели бы знать, однако, как она перенесла образование, которое дал ей отец. Мы с недоверием относимся к такого рода воспитанию, и не можем не опасаться, что Туллия в какой-то мере от него пострадала. Сама манера, в которой отец умолял ее, на наш взгляд, вредит ее памяти. Написав после ее смерти трактат "Об утешении", который был наполнен ее восхвалениями, он, возможно, не оказал ей большой услуги. Столь несчастная молодая женщина заслуживала элегии; философский трактат, кажется, отягощает ее память. Не может ли быть, что отец скорее избаловал ее, желая сделать слишком образованной? В те времена это было вполне в порядке вещей. Гортензий сделал свою дочь оратором, и утверждают, что однажды она вела важное дело лучше хорошего адвоката. Подозреваю, что Цицерон хотел сделать из своей дочери философа, и, боюсь, ему это слишком хорошо удалось. Философия таит в себе множество опасностей для женщины, и у мадам де Севинье не было особых оснований поздравлять себя с тем, что ее дочь попала под систему Декарта. Эта сухая и педантичная фигура не рассчитана на то, чтобы нам понравились женщины-философы.

Сын Цицерона Марк преуспел в философии еще меньше, чем его дочь. Его отец совершенно заблуждался относительно его вкусов и способностей, что не так уж необычно, ведь родительская нежность часто бывает более теплой, чем просвещенной. У Марка были только инстинкты солдата, Цицерон хотел сделать из него философа и оратора, но упустил свой труд. Эти инстинкты, подавленные на мгновение, всегда вспыхивали вновь с новой силой. В восемнадцать лет Марк жил, как все юноши того времени, и надо было упрекнуть его в расточительности. Ему наскучили уроки его учителя Дионисия и риторика, которой его пытался обучить отец. Он хотел отправиться на войну с Цезарем в Испанию. Вместо того чтобы прислушаться к нему, Цицерон отправил его в Афины, чтобы тот завершил свое образование. Там он был устроен как сын аристократа. Ему дали вольноотпущенников и рабов, чтобы он мог стать таким же хорошим учеником, как учившиеся у него молодые Бибул, Ацидин и Мессала. На его ежегодные расходы было выделено около ста тысяч сестерций (800 фунтов стерлингов), что кажется разумным пособием для студента-философа; но Марк уехал в плохом настроении, и его пребывание в Афинах не принесло тех результатов, на которые рассчитывал Цицерон. Больше не находясь под присмотром отца, он беззастенчиво

потакал своим вкусам. Вместо того чтобы следить за лекциями риторов и философов, он проводил время за хорошими ужинами и шумными развлечениями. Его жизнь была тем более беспутной, что, судя по всему, его поощрял в распутстве сам хозяин, ритор Горгий. Этот ритор был чистокровным греком, то есть человеком, готовым на все, чтобы добиться своего. Изучая своего ученика, он видел, что больше выиграет, льстя его порокам, чем культивируя его хорошие качества, и, соответственно, льстил его порокам. В этой школе Маркус, вместо того чтобы уделять внимание Платону и Аристотелю, как рекомендовал ему отец, приобрел вкус к фалернскому и хианскому вину, и этот вкус сохранился за ним. Единственная репутация, которой он гордился впоследствии, - это репутация самого крепкого пьяницы своего времени; он стремился и добился славы, победив триумвира Антония, который пользовался большой репутацией в этой области, чем он очень гордился. Так он отомстил за своего отца, которого Антоний предал смерти. Позже Август, пожелавший выплатить сыну долг, который тот заключил с отцом, сделал его консулом, но не сумел отучить его от привычки к разврату, ибо единственный подвиг, о котором нам рассказывают, заключается в том, что однажды, напившись, он бросил свой бокал в голову Агриппы.^[123]

Мы можем понять, какую печаль должен был испытывать Цицерон, узнав о ранней распущенности своего сына. Полагаю, он долго не решался поверить в это, ибо любил заблуждаться относительно своих детей. Поэтому, когда Маркус, выслушав нотации всей семьи, отстранил Горгия и пообещал вести себя лучше, его отец, который очень охотно поддавался обману, охотно поверил в это. С этого времени мы видим, как он постоянно умоляет Аттикуса не позволять сыну ни в чем нуждаться и изучает письма, которые получает от него, пытаясь обнаружить хоть какой-то прогресс. Сохранилось лишь одно из этих писем Маркуса, относящееся к тому времени, когда он, кажется, вернулся к лучшим привычкам. Оно было адресовано Тиро и полно раскаяния. Он признает себя настолько униженным, настолько измученным всеми своими недостатками, "что не только душа его ненавидит их, но он не может вынести и слуха о них". Чтобы окончательно убедить его в своей искренности, он рисует картину своей жизни; невозможно представить себе более занятого человека. Дни и почти все ночи он проводит с философом Кратиппом, который относится к нему как к сыну. Он приглашает его на ужин, чтобы как можно реже лишать себя его общества. Его так очаровывает ученая беседа Бруттия, что он желает иметь его рядом с собой и оплачивает его питание и ночлег. Он декламирует на латыни, он декламирует на греческом с самыми учеными риторами. Он посещает только хорошо осведомленных людей, видит только умудренных опытом стариков, мудрого Эпикрата, почтенного Леонида, в общем, весь Ареопаг, и заканчивается это назидательное повествование такими словами: "Прежде всего, береги здоровье, чтобы мы могли вместе беседовать о науках и философии".

Это очень приятное письмо, но при его прочтении в голову закрадывается некоторое подозрение. Эти заверения настолько преувеличены, что мы подозреваем Маркуса в каком-то умысле, особенно если вспомнить, что Тиро пользовался доверием своего господина и распоряжался всеми его либеральностями. Кто знает, не предшествовали ли эти сожаления и многозначительные обещания какому-то призыву о выделении средств?

В пользу Марка следует сказать, что, огорчив отца своей рассеянностью, он хотя бы утешил его последние минуты. Когда Брут проезжал через Афины, призывая к оружию находившихся там молодых римлян, Маркус почувствовал, как в нем возрождаются солдатские инстинкты. Он вспомнил, что в семнадцать лет успешно командовал кавалерийским корпусом при Фарсалии, и одним из первых откликнулся на призыв Брута. Он был одним из самых умелых, самых преданных и самых отважных его лейтенантов и часто заслуживал его похвалы. "Я так доволен, - писал Брут Цицерону, - доблестью, активностью и энергией Марка, что он,

кажется, всегда напоминает мне отца, чьим сыном он имеет честь быть". Мы можем понять, насколько Цицерон, должно быть, был доволен этим свидетельством. Именно радуясь этому пробуждению сына, он написал и посвятил ему свой трактат *De Officiis*, который, возможно, является его лучшим произведением, и который стал его последним прощанием с семьей и страной.

IV.

Исследование семейной жизни Цицерона еще не закончено, осталось добавить несколько деталей. Мы знаем, что римская семья состояла не только из людей, объединенных родством, но и из рабов. Тогда раб и хозяин были связаны между собой теснее, чем сейчас, и жизнь их была более общинной. Чтобы досконально узнать Цицерона в его семье, необходимо сказать несколько слов о его отношениях с рабами.

Теоретически он не придерживался взглядов на рабство, отличных от тех, что были в его время. Как и Аристотель, он принимал этот институт и считал его законным. Провозглашая, что человек обязан выполнять свои обязанности по отношению к рабам, он без колебаний признавал, что их приходится удерживать с помощью жестокости, когда нет других средств управления ими;^[126] но на практике он относился к ним с большой мягкостью. Он привязался к ним настолько, что оплакивал их, когда имел несчастье потерять. Это, вероятно, было не совсем обычно, так как мы видим, что он почти просит прощения за это у своего друга Аттика. "Мой ум весьма встревожен, пишет он ему; я потерял юношу по имени Соситей, который был моим читателем, и я опечален, возможно, больше, чем должен быть опечален смертью раба". Во всей его переписке я вижу только одного человека, на которого он, кажется, очень сердится; это был некий Дионисий, которого он искал даже в глубинах Иллирии и которого он хотел получить снова любой ценой;^[128] но Дионисий украл некоторые из его книг, и это было преступление, которое Цицерон не мог простить. Его рабы также очень любили его. Он хвастался их верностью ему в несчастьях, и мы знаем, что в последний момент они бы умерли за него, если бы он не помешал им.

Лучше других мы знаем одного из них, который был более привязан к нему, а именно Тиро. Имя, которое он носит, латинское, что заставляет нас подозревать, что он был одним из тех рабов, которые родились в доме хозяина (*vernae*) и считались принадлежащими к семье больше, чем остальные, потому что никогда не покидали ее. Цицерон рано привязался к нему и тщательно обучал его. Возможно, он даже взял на себя труд самому завершить его образование. Где-то он называет себя своим учителем и любит повторять его слова о манере письма. Он питал к нему живейшую привязанность и в конце концов не смог без него обойтись. Он играл большую роль в доме Цицерона, и его способности были очень разнообразны. Он олицетворял в нем порядок и экономию, которые не были обычными качествами его хозяина. Он был доверенным лицом, через руки которого проходили все финансовые дела. Первого числа месяца он брался бранить задолжавших и заставлять терпеть слишком настойчивых кредиторов; он пересматривал счета управляющего Эроса, которые не всегда были правильными; он ходил к услужливым банкирам, чей кредит поддерживал Цицерона в трудные минуты. Каждый раз, когда нужно было выполнить какое-нибудь деликатное поручение, к нему обращались, как, например, когда нужно было потребовать у Долабеллы немного денег, не слишком огорчив его. Заботливость, с которой он относился к самым важным делам, не мешала ему заниматься самыми незначительными. Его посылали присматривать за садами, подстегивать рабочих, руководить строительными работами: даже столовая входила в его компетенцию, и я вижу, что ему поручено рассылать

приглашения на ужин - дело не всегда без трудностей, ведь нужно собрать только тех гостей, которые взаимно приятны, "а Терция не придет, если пригласить Публия". Но именно в качестве секретаря он оказал Цицерону самые большие услуги. Он писал почти так же быстро, как человек говорит, и только он один мог прочитать написанное своим хозяином, что переписчики не могли расшифровать. Он был для него не просто секретарем, а доверенным лицом и даже соратником. Аулус Геллий утверждает, что он помогал ему в составлении сочинений,^[130] и переписка не опровергает этого мнения. Однажды, когда Тиро оставался больным в каком-то загородном доме, Цицерон написал ему, что Помпей, который был тогда у него в гостях, попросил его почтить его что-нибудь, на что тот ответил, что в доме все немые, когда Тиро нет. "Моя литература, - добавил он, - вернее, наша, томится в твое отсутствие. Возвращайся как можно скорее, чтобы оживить наши музы". В это время Тиро все еще был рабом. Лишь много позже, около 700 года, он был освобожден от рабства. Все вокруг Цицерона приветствовали это справедливое вознаграждение за столь верную службу. Квинт, который в то время находился в Галлии, написал брату письмо, в котором благодарил его за то, что тот подарил ему нового друга. Впоследствии Тиро купил небольшое поле, несомненно, на щедрость своего хозяина, и Марк в письме, которое он написал ему из Афин, приятно радуется его новыми вкусами, которые это приобретение разовьет в нем. "Теперь ты землевладелец! - говорит он, - ты должен оставить элегантность города и стать вполне римским крестьянином. С каким удовольствием я созерцаю вас отсюда в вашем новом облике! Мне кажется, я вижу, как ты покупаешь сельскохозяйственные орудия, беседуешь с фермером или хранишь семена для своего сада в складках своего халата за десертом!" Но, собственник и вольноотпущенник, Тиро был не менее полезен своему хозяину, чем в бытность рабом.

Его здоровье было слабым, и ему не всегда уделяли достаточно внимания. Он всем нравился, но под этим предлогом все заставляли его работать. Они, казалось, были согласны злоупотреблять его добродушием, которое, как они знали, было неистощимо. Квинт, Аттик и Марк настаивали на том, чтобы он постоянно сообщал им новости о Риме и Цицероне. Тиро с такой готовностью принимал участие в каждом пополнении дел, свалившихся на его хозяина, что в конце концов заболел. Во время управления Цицероном Киликией он так измучился, что на обратном пути его пришлось оставить в Патрах. Цицерон очень сожалел о разлуке с ним, и, чтобы показать, как он скорбит о расставании с ним, он писал ему до трех раз в течение одного дня. Забота, которую Цицерон проявлял при каждом случае об этом нежном и драгоценном здоровье, была чрезвычайной; он стал врачом, чтобы лечить его. Однажды, оставив его больным в Тускулуме, он написал ему: "Позаботься о своем здоровье, которым ты до сих пор пренебрегал, служа мне. Вы знаете, чего оно требует: хорошего пищеварения, отсутствия усталости, умеренных физических упражнений, развлечений и поддержания тела в открытом состоянии. Возвращайся красивым парнем, и ты мне еще больше понравишься, ты и Тускулум". Когда болезнь стала более серьезной, советы давались более подробно. Все члены семьи присоединились к письму, и Цицерон, который держал перо, сказал ему от имени жены и детей: "Если ты любишь всех нас, и особенно меня, воспитавшего тебя, ты подумаешь только о том, чтобы восстановить свое здоровье..... Прошу тебя не считаться с расходами. Я написал Куриусу, чтобы он дал вам все, что вы хотите, и щедро заплатил врачу, чтобы он был более внимателен. Ты оказал мне множество услуг дома, на Форуме, в Риме, в моей провинции, в моих общественных и частных делах, в моей учебе и литературной работе; но ты поставишь точку, если, как я надеюсь, я снова увижу тебя в добром здравии". Тиро оплатил за эту привязанность неутомимой преданностью. При своем слабом здоровье он прожил более ста лет, и можно сказать, что всю эту долгую жизнь он служил своему господину. Его рвение не угасло, когда он потерял его, и его время было занято им до последних минут жизни. Он написал его биографию, издал его

неопубликованные работы; чтобы ничего не пропало, он собрал его мельчайшие заметки и остроумные изречения, которых, как говорят, он собрал несколько слишком много, так как его восхищение не позволяло ему делать различия, и он опубликовал несколько превосходных изданий его речей, с которыми еще советовались во времена Аулуса Геллия.^[135] Это, несомненно, были услуги, за которые Цицерон, так много думавший о своей литературной славе, от всей души поблагодарил бы своего верного вольноотпущенника.

Изучая отношения Тиро с его хозяином, мы не можем не сделать одного вывода: древнее рабство, если смотреть на него с этой точки зрения и в доме такого человека, как Цицерон, кажется менее отталкивающим. Очевидно, что в это время оно значительно смягчилось, и в этом улучшении большая доля принадлежит письмам. Они распространили среди тех, кто их любил, новую добродетель, имя которой часто повторяется в философских трудах Цицерона, а именно гуманность, то есть ту культуру ума, которая смягчает сердце. Именно под ее влиянием рабство, не подвергаясь принципиальным нападкам, претерпело глубокие изменения в своих последствиях. Это изменение произошло незаметно. Люди не пытались идти вразрез с господствующими предрассудками; вплоть до времен Сенеки они не настаивали на том, чтобы установить право раба считаться среди людей, и его продолжали исключать из великих теорий о человеческом братстве; но в действительности никто не выиграл больше, чем он, от смягчения нравов. Мы только что видели, как Цицерон обращался со своими рабами, и он не был исключительным. Аттикус вел себя так же, как и он, и эта гуманность стала своего рода почетным пунктом, которым гордилось это общество отшлифованных и дипломированных людей. Несколько лет спустя Плиний Младший, который также принадлежал к этому обществу, с трогательной грустью рассказывает о болезнях и смерти своих рабов. "Я хорошо знаю, - говорит он, - что многие другие относятся к подобным несчастьям лишь как к простой потере имущества и, думая так, считают себя великими и мудрыми людьми. Для себя я не знаю, так ли они велики и мудры, как воображают, но я знаю, что они не люди". Таковы были настроения всего выдающегося общества того времени. Итак, рабство в значительной степени утратило свою суровость к концу Римской республики и в первые времена империи. Это улучшение, которое обычно относят к христианству, было намного старше его, и мы должны отдать должное философии и литературе.

Кроме вольноотпущенников и рабов, составлявших семью богатого римлянина, были и другие лица, хотя и менее тесно связанные с ней, а именно клиенты. Несомненно, древний институт клиентелы во многом утратил свой серьезный и священный характер. Прошло то время, когда Катон говорил, что клиенты должны иметь приоритет перед родственниками и соседями в доме, а титул покровителя шел сразу после титула отца. Эти связи значительно ослабли,^[137] и обязательства, которые они налагали, стали гораздо менее жесткими. Почти единственное, что по-прежнему соблюдалось, - это необходимость для клиентов отправляться приветствовать патрона рано утром. Квинт в очень любопытном письме, которое он адресовал своему брату по поводу его кандидатуры на пост консула, делит их на три класса: во-первых, те, кто довольствуется утренним визитом; это, как правило, друзья или любознательные наблюдатели, которые приходят узнать новости или даже иногда посещают всех кандидатов, чтобы иметь удовольствие прочитать на их лицах состояние их надежд; Затем те, кто сопровождает своего покровителя на Форум и формирует его поезд, пока он делает два или три оборота в базилике, чтобы все видели, что прибыл важный человек; и, наконец, те, кто не покидает его все время, пока он находится вне дома, и провожает его обратно в его дом, как они шли, чтобы встретить его там. Это верные и преданные последователи, которые не торгуются о времени, которое они предоставляют, и чье неустанное усердие добивается для кандидата тех достоинств, которых он желает.^[138]

Если человеку посчастливилось принадлежать к большой семье, он получал по наследству готовую клиентуру. Клавдий или Корнелий, даже не взяв на себя труд кого-нибудь обязать, каждое утро находил свой зал наполовину заполненным людьми, которые с благодарностью относились к его семье, и производил сенсацию на Форуме по числу тех, кто сопровождал его в день, когда он отправлялся туда, чтобы изложить свое первое дело. Цицерон не имел такого преимущества; но, хотя он был обязан своими клиентами только себе, они были тем не менее очень многочисленны. В то волнующее время, когда самые спокойные граждане ежедневно подвергались самым необоснованным обвинениям, многие были вынуждены прибегнуть к его защите. Он делал это охотно, ведь у него не было другого способа наработать клиентуру, кроме как предоставлять свои услуги многим. Возможно, именно это и заставило его принять так много плохих дел. Поскольку он прибыл на Форум почти в одиночестве, без той вереницы людей, которым он был обязан, что придавало ему общественную значимость, ему было необходимо не быть слишком щепетильным, чтобы сформировать и увеличить ее. Как ни противно было его честному уму братья за сомнительное дело, его тщеславие не могло отказать себе в удовольствии добавить еще одного человека к толпе тех, кто его сопровождал. В этой толпе, по словам его брата, были граждане всех возрастов, званий и состояний. Важные персоны, несомненно, смешались с теми ничтожными людьми, которые обычно составляют подобную свиту. Говоря о народном трибуне Меммие Гемелле, защитнике Лукреция, он называет его своим клиентом.^[139]

Не только в Риме у него были клиенты и лица, обязанные ему; из его переписки мы видим, что его защита распространялась гораздо дальше и что люди писали ему со всех концов, требуя его услуг. Римляне в то время были рассеяны по всему миру; завоевав его, они стремились извлечь из него как можно больше выгоды. Вслед за легионами и почти по их пятам в только что завоеванные провинции устремлялся целый рой умных и предприимчивых людей, которые искали там свою судьбу; они умели приспособить свое мастерство к ресурсам и потребностям каждой страны. В Сицилии и Галлии они возделывали обширные поместья, спекулировали вином и кукурузой; в Азии, где было много городов, богатых или погрязших в долгах, они стали банкирами, то есть предоставили им с помощью своего ростовщичества быстрое и надежное средство разорить себя. В общем, они думали вернуться в Рим, как только наживут состояние, и, чтобы вернуться скорее, стремились обогатиться как можно быстрее. Поскольку в завоеванных странах они только разбивали лагерь, а не обосновывались, поскольку они оказывались там без привязанностей и без корней, они обращались с ними без милосердия и вызывали к себе отвращение. Их часто преследовали в трибуналах, и они очень нуждались в защите, поэтому старались заручиться поддержкой лучших адвокатов, прежде всего Цицерона, величайшего оратора своего времени. Его талант и заслуги были не слишком велики, чтобы избавить их от позорных дел, в которые они были впутаны.

Если мы хотим хорошо познакомиться с одним из тех великих купцов Рима, которые по своему характеру и судьбе иногда напоминают спекулянтов наших дней, мы должны прочитать речь, которую Цицерон произнес в защиту Рабирия Постума. В ней он рассказывает всю историю своего клиента. Это живая история, и небезынтересно подытожить ее, чтобы понять, какими были те римские бизнесмены, которые так часто прибегали к его красноречию. Рабирий, сын богатого и расторопного фермера, занимавшегося сбором налогов, родился с духом предприимчивости. Он не ограничивался одной отраслью торговли, ибо был одним из тех, о ком Цицерон говорил, что они знают все дороги, по которым могут прийти деньги, *omnes vias pecuniae norunt*.^[140] Он занимался всеми видами бизнеса, и с одинаковой удачей; он многое предпринимал сам и часто участвовал в предприятиях других. Он занимался государственными налогами, давал займы частным

лицам, провинциям и королям. Как щедрый, так и богатый, он заставлял своих друзей извлекать выгоду из своего состояния. Он создавал для них рабочие места, давал им долю в своем бизнесе и долю в прибылях.

Поэтому его популярность в Риме была очень велика; но, как это иногда бывает, процветание его погубило. Он одолжил много денег Птолемею Аулетесу, царю Египта, который, вероятно, дал ему хорошие проценты. Когда этот царь был изгнан своими подданными, Рабирий был вынужден сделать ему новые авансы, чтобы вернуть деньги, которые стояли на кону. Он заложил свое состояние и даже состояние своих друзей, чтобы обеспечить его расходы; он оплатил стоимость великолепного царского *кортежа*, когда Птолемей отправился в Рим, чтобы потребовать поддержки сената, и, что должно было обойтись ему еще дороже, дал ему средства, чтобы заручиться поддержкой самых влиятельных сенаторов. Дела Птолемея казались безопасными. Поскольку люди надеялись на благодарность царя, самые важные персоны стремились получить честь или, скорее, выгоду от его восстановления. Лентул, тогдашний проконсул Киликии, утверждал, что не может отказать ему в этом; в то же время Помпей, принимавший молодого принца в своем доме в Альбе, требовал этого для себя. Из-за этого соперничества все пошло наперекосяк. Противоположные интересы противодействовали друг другу, и, чтобы не вызвать ревности, позволив одному человеку воспользоваться этой удачной возможностью, сенат никому ее не предоставил. Говорят, что Рабирий, хорошо знавший римлян, дал царю дерзкий совет обратиться к одному из тех авантюристов, которыми был полон Рим и которые не гнушались ничем ради денег. Сирией управлял бывший трибун Габиний. Ему пообещали 10 000 талантов (2 200 000 фунтов стерлингов), если он открыто не подчинится постановлению сената. Это была большая сумма; Габиний согласился на сделку, и его войска привезли Птолемея в Александрию. Как только Рабирий узнал, что он восстановлен, он поспешил ему навстречу. Чтобы быть более уверенным в возвращении своих денег, он согласился стать надзирателем доходов (*diaecetes*), или, как мы теперь говорим, министром финансов. Он надел греческую мантию, к большому скандалу строгих римлян, и нацепил знаки отличия своей должности. Он принял его с мыслью, что ему никогда не должны платить лучше, чем если бы он платил сам, своими руками. Так он и попытался сделать, и, кажется, при сборе денег, обещанных Габинию, он также предусмотрительно взял достаточно, чтобы расплатиться самому; но разоряемый народ жаловался, и царь, для которого Рабирий стал невыносим теперь, когда он больше не нуждался в нем, и который, несомненно, был рад найти удобное средство избавиться от кредитора, бросил его в тюрьму и даже угрожал его жизни. Рабирий бежал из Египта, как только смог, радуясь, что оставил там только свое состояние. У него оставался только один ресурс. Одновременно с управлением царскими финансами он покупал на собственные средства египетские товары, бумагу, лен, стекло и нагрузил несколько судов, которые с большой помпой разгрузились в Путеолах. Весть об этом дошла до Рима, и, поскольку люди там привыкли к удачным приключениям Рабирия, молва с удовольствием преувеличила количество судов и стоимость их груза. Говорили даже, что среди этих кораблей был и меньший, который не показали, несомненно, потому, что он был полон золота и драгоценностей. К несчастью для Рабириуса, во всех этих рассказах не было правды. Маленький корабль существовал только в воображении газетчиков, а товары, которые везли остальные, были проданы с убытком, и он оказался совершенно разорен. Его катастрофа произвела сенсацию в Риме, о ней говорили весь сезон. Друзья, которых он так щедро одарил, покинули его; общественное мнение, которое до этого времени было столь благосклонно к нему, ополчилось против него. Самые снисходительные называли его глупцом, самые жестокие обвиняли в симулировании бедности и сокрытии части своего состояния от кредиторов. Однако несомненно, что он не имел ничего и жил только на щедрость Цезаря, одного из тех немногих, кто остался верен ему в несчастье. Цицерон тоже

не забыл его. Он помнил, что во время своего изгнания Рабирий предоставил в его распоряжение свое состояние и заплатил людям за его сопровождение, и поэтому поспешил вступить за него, когда было предложено включить его в обвинение Габиния, и ему удалось, по крайней мере, сохранить его честь и свободу.

В этом описании не хватает одной черты. Цицерон в своей речи говорит нам, что Рабирий был лишь умеренно образован. В его жизни было так много дел, что ему некогда было думать об учебе, но это было не совсем обычно; мы знаем, что многие из его коллег, несмотря на свои не слишком литературные занятия, были не менее остроумными и образованными людьми. Цицерон, рекомендуя Сульпицию одного купца из Феспии, говорит ему: "У него есть вкус к нашим занятиям". Он считал Курия из Патраса одним из тех, кто лучше всего сохранил обороты древнеримского юмора. "Поспеши вернуться в Рим, - писал он ему, - чтобы не пропало семя нашего родного юмора" Те рыцари, которые объединялись в могущественные компании и отрабатывали налоги, были также остроумными людьми и людьми из лучшего общества. Цицерон, который происходил из их числа, был связан почти со всеми из них; но, похоже, он был особенно связан с компанией, которая занималась пастбищами Азии, и он говорит, что она взяла себя под его защиту.

Эта защита распространялась и на людей, которые не были римлянами по рождению. Иностранцы, как мы можем понять, считали большой честью и безопасностью быть каким-либо образом связанными с известной личностью в Риме. Они не могли быть его клиентами, они хотели стать его хозяевами. В те времена, когда в странах, через которые проезжал человек, было так мало удобных гостиниц, что, желая путешествовать, нужно было иметь услужливых друзей, которые согласились бы принять вас. В Италии богатые люди покупали маленькие домики, где ночевали на дорогах, по которым они привыкли ездить; в других же местах они путешествовали от одного хозяина к другому. Приютить богатого римлянина таким образом часто было связано с большими расходами. С ним всегда был большой обоз. Цицерон рассказывает, что встретил П. Ведия в глубине Азии "с двумя колесницами, каретой, упряжкой, лошадьми, многочисленными рабами и, кроме того, обезьяной на маленькой тележке и несколькими дикими ослами". Ведий был сравнительно малоизвестным римлянином. Можно судить о свите, которая была у проконсула и претора, когда они отправлялись овладевать своими провинциями! Однако, хотя их проезд истощал дом, который их принимал, эта разорительная честь была востребована, потому что в обеспечении их поддержки можно было найти множество преимуществ. У Цицерона были хозяева во всех великих городах Греции и Азии, и почти всегда это были главные граждане. Сами цари, такие как Дейотар и Ариобарзанес, считали себя удостоенными этого титула. Важные города, Волатерра, Ателла, Спарта, Пафос, часто пользовались его покровительством и награждали его публичными почестями. В число его клиентов входили целые провинции, почти народы, а после дела Верреса, например, он стал защитником и покровителем Сицилии. Этот обычай пережил республику, и во времена Тацита знаменитые ораторы все еще имели в числе своих клиентов провинции и королевства. Это был единственный знак реального отличия, который оставался у красноречия.

Эти подробности, как мне кажется, дополняют наше представление о том, какой была жизнь важного человека в то время. Пока мы довольствуемся изучением тех немногих людей, которые составляют то, что сегодня принято называть его семьей, и видим его только с женой и детьми, его жизнь очень похожа на нашу собственную. Чувства, лежащие в основе человеческой природы, не изменились, и они всегда приводят почти к тем же результатам. Заботы, тревожившие домашний очаг Цицерона, его радости и несчастья во многом похожи на наши; но стоит нам покинуть этот ограниченный круг, заменить римлянина в толпе его

слуг и знакомых друзей, как разница между тем обществом и нашим становится очевидной. В наши дни жизнь стала более простой и понятной. У нас больше нет ни огромного богатства, ни обширных связей, ни множества людей, связанных с нашим состоянием. Того, что мы называем большой свитой, едва ли хватило бы на одного из тех клерков фермеров, которые отправлялись собирать налоги в провинциальный город. Знатный или даже богатый римский рыцарь не довольствовался столь малым. Когда мы вспоминаем о тех армиях рабов, которые они собирали в своих домах и поместьях, о тех вольноотпущенниках, которые образовывали вокруг них своеобразный двор, о множестве клиентов, которые загромождали улицы Рима, по которым они проезжали, о тех прислужниках, которых они имели по всему миру, тех городов и царств, которые просили у них защиты, мы можем лучше понять авторитет их речи, надменность их осанки, широту их красноречия, серьезность их поведения, чувство личной значимости, которое они вкладывали во все свои действия и речи. Именно здесь, прежде всего, чтение писем Цицерона оказывает нам большую услугу. Они дают нам представление о жизни, прожитой в таких масштабах, каких мы больше не знаем, и тем самым помогают лучше понять общество того времени.

АТТИК

Из всех корреспондентов Цицерона никто не поддерживал с ним более длительную и регулярную связь, чем Атик. Их дружеские отношения длились без перерыва и тени до самой смерти. Они переписывались во время самых коротких отлучек, а когда это было возможно, то и чаще, чем раз в день. Эти письма, иногда короткие, чтобы передать мимолетное размышление, иногда длинные и изучающие, когда события были серьезнее, игривые или серьезные в зависимости от обстоятельств, которые писались второпях, где бы ни находились авторы, эти письма отражают всю жизнь двух друзей. Цицерон удачно охарактеризовал их, сказав: "Они были как разговор между нами двумя". К сожалению, в настоящее время мы слышим только одного из собеседников, и беседа превратилась в монолог. Публикуя письма своего друга, Атикус позаботился о том, чтобы не добавлять свои собственные. Несомненно, он не хотел, чтобы его чувства читались слишком открыто, и благоразумием стремился скрыть от публики свои взгляды и тайны личной жизни; но напрасно он старался скрыть себя, объемная переписка, которую вел с ним Цицерон, была достаточной, чтобы сделать его известным, и из нее легко составить точное представление о человеке, которому она адресована. Этот человек, несомненно, один из самых любопытных представителей важной эпохи, и он заслуживает того, чтобы мы взяли на себя труд изучить его с особой тщательностью.

I.

Атику было двадцать лет, когда началась война между Марием и Суллой. Он видел ее начало и едва не стал ее жертвой; трибун Сульпиций, один из главных руководителей народной партии и его родственник, был предан смерти вместе со своими сторонниками и друзьями по приказу Суллы, а поскольку Атик часто навещал его, он подвергся некоторому риску. Эта первая опасность определила всю его дальнейшую жизнь. Поскольку, несмотря на возраст, он обладал твердым и благоразумным умом, то не стал унывать, а

пересмотрел свое положение. Если до сих пор у него и была небольшая склонность к политическим амбициям и мысль добиваться общественных почестей, он без колебаний отказался от них, когда увидел, какую цену иногда приходится за них платить. Он понял, что республика, в которой власть можно было захватить только силой, погибла и что, погибнув, она, скорее всего, утянет за собой тех, кто ей служил. Тогда он решил держаться в стороне от государственных дел, и вся его политика отныне заключалась в том, чтобы создать для себя безопасное положение, вне партий и вне досягаемости опасности.

Однажды Сьеса спросили: "Что вы делали во время Террора?". "Что я делал?" - ответил он, - "Я жил". Это был великий поступок. Аттикус сделал еще больше: он жил не только во время террора, длившегося несколько месяцев, но и во время террора, длившегося несколько лет. Как будто для того, чтобы проверить его благоразумие и способности, его поместили в самый беспокойный период в истории. Он наблюдал за тремя гражданскими войнами, видел, как Рим четыре раза подвергался нашествию разных вождей, и резня возобновлялась после каждой новой победы. Он жил не скромно, безвестно, позволяя забыть о себе в каком-нибудь далеком городе, а в Риме, и при полной огласке. Все способствовало тому, чтобы привлечь к нему внимание: он был богат, что было достаточным основанием для его изгнания, он пользовался репутацией остроумного человека, он охотно общался с сильными мира сего, и, по крайней мере, благодаря своим связям, его считали важной персоной. Тем не менее он сумел избежать всех опасностей, которые создавали для него его положение и богатство, и даже умудрился стать еще более великим во время каждой из тех революций, которые, казалось бы, могли его погубить. Каждая смена правительства, отбрасывавшая его друзей от власти, делала его богаче и сильнее, так что в конце концов он оказался, что вполне естественно, почти на одном уровне с новым хозяином. Каким же чудом сообразительности, каким чудом искусных комбинаций ему удалось жить в почете, богатстве и могуществе в то время, когда жить вообще было так трудно? Это была проблема, полная трудностей; вот как он ее решил.

Ввиду первой резни, свидетелем которой он был, Аттикус решил впредь не принимать никакого участия в общественных делах и партиях; но это не так легко сделать, как можно подумать, и не всегда для успеха достаточно самой твердой решимости. Бесполезно заявлять о своем нейтралитете, мир продолжает классифицировать вас в соответствии с именем, которое вы носите, вашими семейными традициями, личными связями и прежними проявлениями ваших предпочтений. Аттикус понимал, что для того, чтобы избежать подобной принудительной вербовки и сбить общественное мнение со следа, необходимо покинуть Рим, и покинуть надолго. Он надеялся с помощью этого добровольного изгнания полностью овладеть собой и разорвать узы, которые против его воли все еще связывали его с прошлым. Но, желая скрыться от глаз сограждан, он не собирался быть забытым всеми. Он хотел вернуться; и не хотел вернуться чужаком, которого больше не узнают, и потерять все преимущества своей ранней дружбы. Поэтому он не выбрал для своего уединения какое-нибудь отдаленное поместье в неизвестной провинции или один из тех безвестных городов, на которые никогда не падал взгляд римского народа. Он удалился в Афины, то есть в единственный город, который сохранил большую славу и который все еще занимал место в восхищении народов наравне с Римом. Там, с помощью нескольких удачно выбранных либеральных мер, он привлек к себе всеобщее расположение. Он раздавал горожанам кукурузу, он ссужал деньги без процентов этому городу литераторов, финансы которого всегда были в затруднительном положении. Более того, он льстил афинянам в их самых чувствительных местах. Он был первым римлянином, который осмелился открыто заявить о своем пристрастии к греческой литературе и искусству. До этого времени среди его соотечественников было модно почитать и культивировать греческих муз в частном порядке

и смеяться над ними на публике. Сам Цицерон, который столько раз боролся с этими глупыми предрассудками, не осмеливался назвать имя великого скульптора; но Цицерон был государственным деятелем, для которого было уместно хотя бы время от времени демонстрировать то надменное презрение к другим народам, которое отчасти составляло то, что называют римским достоинством. Для того чтобы понравиться народу, необходимо было льстить этой национальной слабости. Аттик, который не собирался ничего от них требовать, был более свободен; поэтому он открыто смеялся над этими обычаями. Сразу же по прибытии он начал говорить и писать по-гречески, открыто посещать мастерские скульпторов и живописцев, покупать статуи и картины, сочинять произведения по изящным искусствам. Афиняне были не только восхищены, но и удивлены тем, что один из их завоевателей разделяет их самые заветные вкусы и таким образом протестует против несправедливого пренебрежения остальных. Их благодарность, которая, как мы знаем, всегда была очень шумной, переполнила Атика всевозможной лестью. Указы в его честь множились, ему предлагали все достоинства города; они даже хотели воздвигнуть ему статуи. Аттик поспешил отказаться от всего, но эффект был произведен, и весть о такой большой популярности не преминула дойти до Рима, разносимая молодыми людьми из знатных семей, только что закончившими свое образование в Греции. Таким образом, репутация Атика ничего не потеряла от его отсутствия; люди со вкусом говорили об этом просвещенном знатоке искусств, который стал заметен даже в Афинах; и в это же время политики, больше не видя его, потеряли привычку причислять его к какой-либо политической партии.

Это был важный шаг. Оставалось сделать еще один, более важный. Атик не раз убеждался, что богатство - первое условие независимости. В то время эта общая истина была еще более очевидна, чем в любое другое. Сколько было людей, чье поведение во время гражданских войн можно было объяснить только состоянием их состояния! У Курио был только один мотив служить Цезарю, которого он недолюбливал, - давление кредиторов; сам Цицерон среди главных причин, помешавших ему отправиться в лагерь Помпея, куда его звали все его симпатии, называет деньги, которые Цезарь ссудил ему и которые он не мог вернуть. Чтобы избежать подобных затруднений и обрести полную свободу, Атик решил разбогатеть и стал таковым. Здесь важно привести несколько подробностей, чтобы показать, как люди богатели в Риме. Отец оставил ему довольно скромное состояние - два миллиона сестерций (16 000 фунтов стерлингов). Когда он покинул Рим, то продал почти все семейное имущество, чтобы не оставлять после себя ничего, что могло бы искушать обвинителей, и купил поместье в Эпире, в стране больших стад, где земля приносила так много дохода. Вероятно, он заплатил за него не так уж много. Митридат только что опустошил Грецию, и, поскольку денег не было, все уходило по низкой цене. Под умелым управлением эти владения быстро процветали; на излишки доходов каждый год покупались новые земли, и Атик стал одним из крупнейших землевладельцев страны. Но возможно ли, что его богатство пришло к нему исключительно благодаря умелому управлению землей? Он охотно бы поверил в это, чтобы хоть в чем-то походить на Катона и римлян старой школы. К несчастью для него, его друг Цицерон предает его. Читая эту откровенную переписку, мы не сразу понимаем, что у Атика было много других способов обогащения, кроме продажи кукурузы и стад. Этот искусный земледелец был в то же время ловким торговцем, который успешно вел все дела. Он умел извлекать прибыль не только из чужих глупостей, что часто случается, но даже из собственных удовольствий, и его талант состоял в том, чтобы обогащаться там, где другие разоряются. Например, мы знаем, что он любил прекрасные книги; тогда, как и сейчас, это было очень дорогостоящее увлечение, но он знал, как сделать его источником больших прибылей. Он собрал в своем доме большое количество искусных переписчиков, которых обучал сам; заставив их работать на себя, он, удовлетворив свою

страсть, поручал им работу для других и продавал книги, которые они переписывали, публике очень дорого. Таким образом, он стал настоящим издателем для Цицерона, а поскольку сочинения его друга хорошо продавались, случилось так, что эта дружба, полная очарования для его сердца, не осталась без пользы для его состояния.^[144] Эта коммерция могла быть очевидной, и другу письма не возбранялось стать книготорговцем; но Аттикус также участвовал во многих сделках, которые должны были быть более отвратительными для него. Видя, каким успехом повсюду пользуются гладиаторские бои и что ни один праздник не проходит без одного из этих грандиозных побоищ, он решил разводить гладиаторов в своих поместьях. Он тщательно обучил их искусству изящно умирать и сдавал их в аренду по высокой цене в города, которые хотели развлечься.^[145] Следует признать, что это неподходящее ремесло для ученого и философа; но прибыль была велика, а философия Аттика была сговорчивой, как только появлялась возможность получить хорошую прибыль. Кроме того, он был банкиром, когда предоставлялась возможность, и давал в долг под высокий процент, как это делали величайшие вельможи Рима без всякого стеснения. Только он был более осмотрителен, чем другие, и старался как можно меньше показываться в делах, которые вел, и у него, несомненно, были ловкие агенты в Италии и Греции, которые максимально использовали его капитал. Его деловые связи простирались по всему миру; мы знаем о его должниках в Македонии, Эпире, Эфесе и Делосе, почти везде. Он давал займы частным лицам, давал займы и городам, но совершенно тайно, так как этот бизнес в то время был столь же малопочтенным, сколь и прибыльным, а люди, которые им занимались, не считались ни честными, ни щепетильными. Поэтому Аттикус, который заботился о своей репутации не меньше, чем о своем состоянии, никому не позволял узнать, что он занимается подобным бизнесом. Он тщательно скрывал это даже от своего друга Цицерона, и мы бы не знали об этом сейчас, если бы с ним не случилось несколько неприятных происшествий в этом рискованном деле. Несмотря на то, что обычно он получал большие прибыли, его подстерегали и некоторые опасности. После двух веков римского господства все города, союзные и муниципальные, и особенно азиатские, были полностью разорены. Все они имели меньше доходов, чем долгов, а проконсулы в сочетании с фермерами-налогоплательщиками так полностью выкачивали их ресурсы, что кредиторам ничего не оставалось, если только они не прикладывали усилий. Именно это случилось однажды с Аттиком, несмотря на его активность. Мы видим, что Цицерон в одном из своих писем убеждает его в необходимости осады Сикиона;^[146] эта осада, очевидно, принадлежала каким-то непокорным должникам; других походов Аттик не предпринимал, да и этот, по правде говоря, удался плохо. Пока он вел войну против этого несчастного города с долгами, сенат сжалился над ним и защитил его декретом от слишком требовательных кредиторов, так что Аттик, который отправился из Эпира как завоеватель, с развевающимися знаменами, был вынужден, говорит Цицерон, когда он прибыл под стены, вымогать у сикионцев несколько бедных крон (*nummulum aliquid*) с помощью молитв и лести.^[147] Однако мы должны предположить, что Аттику обычно везло в инвестировании своих средств, и благодаря его известному благоразумию мы можем быть уверены, что он умел выбирать более платежеспособных должников. Все эти дела, которыми он занимался, несомненно, вскоре сделали бы его очень богатым; но ему не нужно было так напрягаться, потому что, пока он так искусно работал над своим состоянием, оно пришло к нему готовым из другого квартала. У него был дядя, К. Цецилий, который слыл самым ужасным ростовщиком в Риме, где их было очень много, и который соглашался давать в долг только своим ближайшим родственникам и в качестве особой милости - под один процент в месяц. Это был жесткий, непреклонный человек, который стал настолько ненавистен всем, что в день его похорон народ не мог удержаться от того, чтобы не поиздеваться над его трупом. Аттикус был единственным человеком, который смог найти с ним общий язык. Цецилий усыновил его по

завещанию и оставил ему большую часть своего имущества - десять миллионов сестерций, чуть больше 80 тысяч фунтов стерлингов. Отныне его состояние было нажито, он был независим от всех и волен следовать своим наклонностям.

Но не следовало ли опасаться, что, когда он вернется в Рим, принятое им решение отказаться от всех связей будет иметь дурной вид? Он не мог достойно притвориться равнодушным или боязливым, чтобы отстраниться от партий; он должен был найти более благородный мотив и такой, который он мог бы провозгласить; философская школа дала ему его. Эпикурейцы, жертвуя всем ради удобств жизни, говорили, что следует воздерживаться от общественных занятий, чтобы избежать беспокойства, которое они приносят. "Не занимайтесь политикой", - была их любимая фраза. Аттикус исповедовал себя эпикурейцем; отныне его воздержание имело благовидный предлог - верность мнениям своей секты, и если его порицали, то вина падала на всю школу, которая всегда делает долю каждого отдельного человека очень легкой. Был ли Аттикус в действительности истинным и полным эпикурейцем? Это вопрос, который обсуждают ученые, и который характер этого человека легко позволяет нам решить. Полагать, что в чем бы то ни было он неукоснительно придерживался какой-либо школы и обязывался быть ее верным учеником, значило бы плохо его знать. Он изучал их всех ради удовольствия, которое это изучение доставляло его пытливому уму, но он был полон решимости не быть рабом их систем. Он нашел в эпикурейской морали принцип, который его устраивал, и воспользовался им, чтобы оправдать свое политическое поведение. Что же касается самого Эпикура и его учения, то они его мало волновали, и он был готов отказаться от них под первым же предлогом. Цицерон очень приятно показывает это в одном из отрывков "De Legibus". В этом произведении он представляет себя беседующим с Аттиком на берегу Фибрена, под восхитительной тенью Арпинума. Поскольку он хочет возвести происхождение законов к богам, ему необходимо сначала доказать, что боги имеют дело с людьми, что эпикурейцы отрицали. Тогда он обращается к своему другу: "Признаешь ли ты, Помпоний, что сила бессмертных богов, их разум, их мудрость или, если тебе так больше нравится, их провидение, управляют вселенной? Если ты этого не признаешь, я должен начать с доказательства этого. Ну что ж, отвечает Аттик, я признаю это, если хочешь, ибо благодаря этим поющим птицам и журчанию этих ручейков я не опасюсь, что кто-нибудь из моих братьев-учеников может услышать меня" Перед нами очень сговорчивый философ, и школа не получит много пользы от адепта, который отказывается от нее, как только убедится, что ее не узнают. Здесь хорошо виден характер Аттикуса. Решительно принять какое-либо мнение - значит обязаться его отстаивать и подвергнуть себя необходимости бороться за него. Философские споры, пусть и не кровавые, не менее отчаянны, чем другие; это все равно война, а Аттикус желает мира во всем, по крайней мере для себя. Забавно рассмотреть, какую роль отводит ему Цицерон в философских диалогах, в которые он его вводит. В целом он не обсуждает, а подстрекает к дискуссии. Любопытный и ненасытный, он постоянно спрашивает, допрашивает, заставляет отвечать, выдвигает возражения, оживляет спорщиков, а сам в это время спокойно наслаждается борьбой, никогда не принимая в ней участия. Впоследствии мы увидим, что именно такую роль он играл в политике.

Аттик провел вдали от Рима двадцать три года, посещая его лишь через большие промежутки времени и обычно оставаясь там очень недолго. Когда он решил, что благодаря своему долгому отсутствию он вполне освободился от уз, связывавших его с политическими партиями, когда он обрел независимость вместе с богатством, когда он обезопасил себя от всех упреков, которые могли бы быть сделаны ему по поводу его поведения, придав своему благоразумию вид философского убеждения, он задумал окончательно вернуться в Рим и

там возобновить свой прерванный образ жизни. Он выбрал момент для возвращения, когда все было спокойно, и, чтобы окончательно порвать со своим прошлым, вернулся с новой фамилией, под которой люди вскоре научились его называть. Это имя Аттикус, которое он привез с собой из Афин, казалось, ясно указывало на то, что отныне он будет жить только для изучения букв и наслаждения искусством.

С этого момента он делил свое время между проживанием в Риме и в своих загородных домах. Он тихо свернул свои банковские дела, некоторые из которых до сих пор сохранились, и принял меры, чтобы скрыть от общественности источники своего богатства. У него остались только поместья в Эпире и дома в Риме, которые приносили ему неплохой доход и прибыль от которых он мог признать. Его имущество продолжало расти благодаря тому, как он им управлял. Кроме того, у него не было ни одной из тех слабостей, которые могли бы поставить его под угрозу; он не заботился о покупке или строительстве, у него не было ни одной из тех великолепных вилл у ворот Рима или на берегу моря, содержание которых разорило Цицерона. Он по-прежнему иногда давал деньги в долг, но, как видно, скорее для того, чтобы обязывать, чем для собственного обогащения. Кроме того, он тщательно выбирал надежных людей и не проявлял жалости при возникновении долгов. По его словам, он делал это в интересах своих должников, поскольку, терпя их небрежность, он поощрял их к саморазрушению. Но он не церемонился, увольняя тех, с кем его деньги могли быть связаны с определенным риском, даже если они были его ближайшими родственниками. Цицерон, рассказав ему однажды, что их общий племянник, молодой Квинт, пришел к нему и попытался растрогать его картиной своей бедности, добавил: "Я тогда перенял кое-что из твоего красноречия; я ничего не ответил". Это был хороший прием, и Аттик, должно быть, не раз использовал его по отношению к своему шурина и племяннику, которые всегда были без денег. Он научился добиваться высокого положения в обществе без особых затрат. Он жил в своем доме на Квиринале, который был более просторным и удобным внутри, чем красивым снаружи, и который он ремонтировал как можно реже, среди произведений искусства, отобранных им в Греции, и рабов с грамотой, которых он сам тщательно обучал и которым все завидовали. Он часто собирал культурных людей Рима на пиры, где демонстрировал свою образованность. Его гостеприимство не стоило дорого, если верить Корнелию Непосу, который видел его счета, что он тратил на свой стол всего 3000 ассов (6 фунтов стерлингов) в месяц.^[149] Цицерон, всегда неосторожный, рассказывает, что Аттик часто подавал своим гостям очень простые овощи на очень дорогих блюдах,^[150] но какое это имело значение? Каждый считал себя счастливым, принимая участие в этих избранных вечерах, где можно было услышать беседы Аттика и чтение лучших произведений Цицерона до их публикации, и можно сказать, что все самые выдающиеся личности того великого периода считали за честь посещать этот дом на Квиринале.

II.

Из всех достоинств Аттикуса больше всего хочется позавидовать его удаче в том, что он приобщил к себе столько друзей. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать это. С самого прибытия в Рим мы видим, как он старался завязать хорошие отношения со всеми и использовал все средства, чтобы понравиться людям всех партий. Его рождение, богатство и способ, которым он его приобрел, привлекли его к рыцарям; эти богатые фермеры из податей были его естественными друзьями, и вскоре он пользовался большой репутацией среди них; но он был не менее связан с патрициями, обычно столь презрительно относящимися ко всем, кто не принадлежал к их касте. Чтобы примирить их, он выбрал самое верное средство - льстить их тщеславию. Пользуясь своими историческими познаниями, он составил для них приятные генеалогии, в которых сам оказался причастен ко многим

неправдам и подкрепил своей ученостью их самые причудливые притязания. Этот пример сразу показывает его знание мира и то, какую пользу он извлекал из него, когда хотел заручиться чьей-либо дружбой. Мы можем увидеть, каким внимательным наблюдателем он был, и каким талантом обладал, улавливая слабые стороны людей и извлекать из них выгоду, просто рассмотрев характер услуг, которые он оказывал каждому человеку. Он предложил Катону взять на себя управление его делами в Риме на время его отсутствия, и Катон поспешил согласиться: управляющий с такими способностями не должен был пренебрегать человеком, который так заботился о своем богатстве. Он угодил тщеславному Помпею, занявшись подбором в Греции прекрасных статуй для украшения строящегося театра.^[151] Поскольку он прекрасно понимал, что Цезарь недоступен для подобной лести и что для его привлечения нужны более реальные услуги, он одолжил ему денег.^[152] Естественно, он отдавал предпочтение главам партий; но он не пренебрегал и другими, когда мог им услужить. Он тщательно опекал Бальбуса и Феофана, доверенных лиц Цезаря и Помпея; он даже иногда навещал Хлодия и его сестру Клодию, а также других людей с сомнительной репутацией. Не имея ни жестких угрызений совести, как Катон, ни яростных отвращений, как Цицерон, он приспособивался ко всем; его добродушие располагало ко всему; он подходил ко всем возрастам, а также ко всем характерам. Корнелий Непос с восхищением отмечает, что, будучи еще совсем молодым, он очаровал старого Суллу, а будучи совсем старым, смог понравиться молодому Бруту. Аттикус был связующим звеном между всеми этими людьми, столь разными по темпераменту, званию, взглядам и возрасту. Он постоянно ходил от одного к другому, как некий мирный посол, пытаясь сблизить и объединить их, ибо, по словам Цицерона, у него была привычка устанавливать дружеские отношения между другими.^[153] Он устранял подозрения и предрассудки, мешавшие им узнать друг друга; он внушал им желание увидеться и сблизиться, а если впоследствии между ними возникали разногласия, он становился их посредником и добивался объяснений, которые снова делали их друзьями. Его шедевром в этой области является то, что ему удалось примирить Гортензия и Цицерона и заставить их жить дружно вместе, несмотря на жестокую ревность, которая их разделяла. Каких только усилий ему не стоило утихомирить их раздражительное тщеславие, которое всегда было готово вырваться наружу и которое судьба, казалось, с удовольствием возбуждала еще больше, ввергая их в постоянное соперничество!

Все эти знакомства Аттикуса, конечно, не были настоящей дружбой. Многих из них он посещал только ради выгоды, которую мог извлечь из их безопасности или богатства; но есть и множество других, которые действительно были его друзьями. Если ограничиться самыми важными, то Цицерон никого не любил так сильно, как его; Брут до последнего проявлял к нему безоговорочное доверие, а накануне Филипп написал ему свои последние признания. Остается слишком много ярких доказательств дружбы этих двух прославленных людей, чтобы их можно было поставить под сомнение, и мы должны признать, что он сумел внушить живую привязанность двум благороднейшим умам того времени. Поначалу нас это очень удивляет. Его благоразумная сдержанность, открыто выраженная решимость держаться подальше от всех пут, чтобы избежать любой опасности, должны были, как кажется, держать в стороне от него людей убежденных, которые жертвовали состоянием и жизнью ради своих взглядов. За какие же заслуги он все же смог привязать их к себе? Как человек, столь поглощенный собой и столь заботящийся о своих интересах, мог так полно наслаждаться удовольствиями дружбы, которые, на первый взгляд, требуют преданности и самозабвения? Как ему удалось заставить моралистов, утверждающих, что эгоизм - это смерть истинной привязанности, поверить в себя?^[154]

Это все еще одна из тех проблем, которыми полна жизнь Аттикуса, и ее труднее всего решить. Увиденный издали, даже сквозь хвалу Цицерона, Аттик не кажется

привлекательным, и у человека не возникнет соблазна выбрать его в друзья. И все же можно с уверенностью сказать, что те, кто жил с ним, не судили его так, как мы. Они любили его и с самого начала чувствовали, что склонны любить его. Та всеобщая доброжелательность, которую он внушал, та решимость каждого прощать или не замечать его недостатки, та живая дружба, которую он вызывал, - все это свидетельства, которым невозможно сопротивляться, какое бы удивление они у нас ни вызывали. Значит, в этом человеке было нечто иное, чем мы видим; должно быть, он обладал какой-то необъяснимой для нас притягательностью, которая была присуща ему лично и исчезла вместе с ним. По этой причине мы уже не можем до конца понять то странное притяжение, которое он с первого взгляда оказывал на всех своих современников. Однако мы можем составить о нем некоторое представление, и писатели, знавшие его, особенно Цицерон, дают представление о некоторых из тех блестящих или солидных качеств, благодаря которым он завоевывал расположение тех, кто к нему приближался. Я перечислю их в соответствии с их свидетельствами, и если они все же покажутся недостаточными, чтобы полностью оправдать количество его дружеских связей и их пылкость, мы должны мысленно присоединить к ним то личное обаяние, которое теперь невозможно определить или восстановить, потому что оно исчезло вместе с ним.

Во-первых, он обладал немалой образованностью, с этим согласны все, и образованностью, особенно приятной для общества, в котором он часто бывал. Он был не просто одним из тех приятных пустяков, которые очаровывают на мгновение при мимолетном знакомстве, но не обладают достаточной квалификацией для более длительной связи. Он был человеком многих достижений и солидных знаний; не то чтобы он был человеком глубокой учености, этот титул не является большой рекомендацией в общении с обществом; Цицерон считал, что такие люди, как Варро, которые являются совершенными рудниками знаний, не всегда забавны, и рассказывает, что когда последний приехал к нему в Тускулум, он не разорвал свою мантию, пытаясь удержать его.^[155] Но, не будучи по-настоящему ученым, Атик в своих занятиях касался всего: изящных искусств, поэзии, грамматики, философии и истории. По всем этим предметам у него были справедливые, а иногда и оригинальные идеи; он мог обсуждать вопросы с учеными людьми без особого ущерба для себя, и у него всегда находилась какая-нибудь любопытная деталь, чтобы рассказать ее тем, кто не был таковым. Паскаль назвал бы его культурным джентльменом (*honnête homme*); во всем он был умным и просвещенным любителем. По ряду причин знания, которые приобретает дилетант, являются наиболее актуальными в обществе. Во-первых, поскольку он не учится по правилам, его интересуют прежде всего курьезы; он узнает по преимуществу пикантные и новые подробности, а именно их хотят знать люди из общества. Кроме того, сама множественность исследований, которые его манят, не позволяет ему исчерпать ни одно из них; его каприз всегда уносит его в другое место, прежде чем он досконально изучит что-либо. В результате он знает очень много вещей, и всегда в тех пределах, в которых их приятно знать людям из мира. В сущности, характерная черта любителя - делать все, даже то, что он делает лишь на мгновение, с энтузиазмом. Поскольку его влечет к занятиям личный вкус, и он продолжает их только до тех пор, пока они его интересуют, его язык более живой, когда он говорит о них, его тон более свободный и оригинальный, а следовательно, более приятный, чем у ученых по профессии. Именно такое представление мы должны составить об образованности Аттikuса. Она была слишком обширна, чтобы его беседа когда-нибудь стала монотонной; она не была настолько глубокой, чтобы рисковать стать утомительной; она была, в общем, живой, ибо, когда вещи делаются с энтузиазмом, естественно говорить о них с интересом. Именно это делало его беседу столь привлекательной, и именно этим он очаровывал самые привередливые и наименее благосклонные умы. Он был еще совсем молод, когда престарелый Сулла, у которого не было причин любить его, встретил его в

Афинах. Ему так понравилось слушать, как он читает греческие и латинские стихи и рассуждает о литературе, что он не хотел с ним расставаться и во что бы то ни стало хотел забрать его с собой в Рим. Спустя долгое время Август почувствовал то же очарование; он никогда не уставал слушать разговоры Аттика, а когда не мог пойти к нему, то писал ему каждый день, чтобы просто получить его ответы и таким образом в некотором роде продолжить те долгие беседы, которыми он был так восхищен.

Можно представить, что при первой встрече с этим выдающимся человеком люди чувствовали, как их влечет к нему очарование его беседы. По мере того как он становился все более известным, обнаруживались другие, более прочные качества, которые удерживали тех, кого привлекала его культура. Прежде всего, в его общении чувствовалась большая безопасность. Хотя он был связан с людьми самых разных взглядов, и хотя через них ему были известны секреты всех партий, его никогда не упрекали в том, что он кому-то их выдал. Мы не видим, чтобы он когда-либо давал серьезную причину кому-либо из своих друзей держаться от него в стороне, или чтобы какая-либо из его связей была разорвана иначе, чем смертью. Это общение, столь надежное, было в то же время очень легким. Никто и никогда не был более снисходителен и уступчив. Он заботился о том, чтобы не утомить своими требованиями и не оттолкнуть прямоот. Те бури, которые так часто будоражили дружбу Цицерона и Брута, в его отношениях не вызывали опасений. Это была скорее одна из тех спокойных и равномерных близостей, которые крепнут день ото дня благодаря регулярному продолжению. Именно это, должно быть, особенно очаровывало тех политиков, которых угнетала и утомляла та кипучая деятельность, которая поглощала их жизнь. Выйдя из этого вихря дел, они были счастливы найти в нескольких шагах от Форума тот мирный дом на Квиринале, куда не проникали посторонние ссоры, и пойти на минутку поболтать с этим уравновешенным и опытным человеком, который всегда принимал их с одинаковой улыбкой и в чьей доброй воле они были так спокойны.

Но ничто, несомненно, не могло завоевать ему столько друзей, как его готовность услужить им. Она была неисчерпаемой, и нельзя утверждать, что она была заинтересованной, поскольку, вопреки обыкновению, он много давал и ничего не требовал. И здесь кроется одна из причин, почему его дружба была столь прочной, ведь именно такой взаимобмен, который, как нам кажется, мы вправе требовать, и сравнения, которые мы делаем, вопреки себе, между добрыми услугами, которые мы оказываем, и теми, которые мы получаем, в конечном итоге нарушают самую прочную дружбу. Аттикус, который хорошо знал это, так устроил свою жизнь, что ни в ком не нуждался. Он был богат, у него никогда не было судебных тяжб, он не искал общественных занятий, так что друг, решивший воздать за оказанные ему услуги, никогда не мог найти такой возможности,^[156] и всегда оставался перед ним в долгу, и долг его продолжал расти, ибо Аттикус никогда не уставал быть полезным. У нас есть простой способ оценить масштабы этой полезности, увидеть ее вблизи и, так сказать, в действии, а именно: быстро вспомнить всевозможные услуги, которые он оказывал Цицерону во время их долгой близости. Цицерон очень нуждался в таком друге, как Аттик. Он был из тех умных людей, которые не умеют считать; когда ему предъявляли бухгалтерские книги, он, подобно своему ученику Плинию Младшему, охотно говорил, что привык к литературе другого рода: *aliis sum chartis, aliis litteris initiatus*. Аттик стал его деловым человеком; мы знаем его талант к этой профессии. Он дорого сдавал в аренду имущество Цицерона, откладывал, сколько мог, из доходов и выплачивал самые насущные долги. Обнаружив новые, он осмелился отругать своего друга, который поспешил смиренно ответить, что впредь будет осторожнее. Аттикус, не очень-то поверив в это, принялся за работу, чтобы восполнить дефицит. Он отправился к богачу Бальбусу или к другим крупным банкирам Рима, с которыми у него были деловые отношения. Если из-за бедствий времени

получить кредит было трудно, он без колебаний заглядывал в собственный кошелек. Те, кто его знал, не сочтут эту щедрость незаслуженной. Когда Цицерон хотел купить какое-нибудь поместье, Атик сначала сердился, но если друг не уступал, то быстро отправлялся осмотреть его и обсудить цену. Если речь шла о строительстве элегантной виллы, Атик одалживал своего архитектора, корректировал планы и с видом принимался за работу. Когда дом был построен, его нужно было украсить, и Атик посылал в Грецию за статуями. Он превосходно подбирал их, и Цицерон был неисчерпаем в своих похвалах Гермафине из пентелийского мрамора, которую он для него приобрел. На вилле Цицерона, как мы можем понять, не забывали и о библиотеке, и именно от Атика опять же поступали книги. Он торговал ими, а самые красивые оставлял для своего друга. Купив книги, нужно было их расставить, и Атик послал своего библиотекаря Тиранниона с рабочими, которые покрасили полки, склеили оторванные листы папируса, наклеили ярлыки на рулоны и привели все в такой порядок, что Цицерон, очарованный, написал: "Поскольку Тираннион расставил мои книги, можно сказать, что у дома есть душа".

Но Атик не ограничивался этими услугами, которые можно назвать внешними; он проникал в дом, знал все его тайны. Цицерон ничего от него не скрывал и безоговорочно доверял ему все свои домашние горести. Он рассказывает ему о буйном нраве брата и глупостях племянника, советуется с ним о досадах, которые доставляют ему жена и сын. Когда Туллия достигла возраста, позволяющего ей выйти замуж, Атик подыскал ей мужа. Тот, кого он предложил, был сыном богатого и хорошо воспитанного рыцаря. "Возвращайся", - мудро сказал он Цицерону, - "возвращайся к своей старой пастве". К сожалению, его не послушали. Богатому финансисту предпочли разорившегося дворянина, который растратил приданое Туллии и вынудил ее уйти от него. Когда Туллия умерла, возможно, от горя, Атик отправился к кормилице, чтобы навестить оставшегося у нее маленького ребенка, и позаботился о том, чтобы тот ни в чем не нуждался. В то же время Цицерон дал ему много занятий в связи с двумя его разводами. После развода с первой женой, Теренцией, он поручил Атику заставить ее составить завещание в его пользу. Ему же он дал неприятное поручение убрать вторую, Публилию, когда она решила насильно вернуться в дом мужа, который больше не желал иметь с ней ничего общего.

Это, несомненно, великие заслуги, но он оказал и другие, еще более деликатные, еще более ценные. Именно ему Цицерон доверил то, что было для него дороже всего на свете, - свою литературную славу. Он сообщал ему свои произведения, как только писал их, прислушивался к его советам при внесении исправлений и ждал его решения об их публикации. Таким образом, он относился к нему как к другу, с которым чувствуешь себя как дома и которому полностью раскрываешься. Хотя ему очень хотелось, чтобы его красноречие воспринимали всерьез, будучи уверенным, что его услышит только Атик, он не стеснялся шутить над собой и своими произведениями. Он без обиняков ввел его во все секреты ремесла и показал ему рецепты своих самых популярных эффектов. "На этот раз, - весело говорил он, - я использовал всю ароматическую коробку Исократа и все шкатулки учеников". Нет ничего любопытнее, чем то, как он рассказывал ему однажды об одном из своих величайших ораторских успехов. Речь шла о праздновании славы великого консулата - тема, на которую, как мы знаем, он был неисчерпаем. В тот день у него была причина говорить с большим блеском, чем обычно. Присутствовал Помпей; теперь у него была слабость завидовать славе Цицерона. Это была хорошая возможность разгневаться его, и Цицерон постарался ею не пренебречь. "Когда настал мой черед говорить, пишет он Атику, бессмертные боги! С каким удовольствием я осыпал себя похвалами в присутствии Помпея, который никогда не слышал, чтобы я восхвалял свое консульство! Если я когда-либо и призывал на помощь периоды, энтимемы, метафоры и все прочие фигуры риторики, то это

было именно тогда. Я не говорил, я кричал, ибо речь шла о моих подданных, о мудрости сената, о доброй воле рыцарей, о союзе всей Италии, о задушенных остатках заговора, о восстановлении мира и изобилия и т. д. Вам известны мои громы, когда я говорю об этих предметах. В тот день они были столь прекрасны, что мне нет нужды рассказывать вам о них подробнее; вы, возможно, часто слышали подобное в Афинах!" Невозможно с большим легкомыслием переспрашивать самого себя. Аттикус отплатил за эти доверительные беседы тем, что позаботился об успехе произведений своего друга. Поскольку он был свидетелем их рождения и занимался ими до того, как они стали известны публике, он почти считал себя их родителем. Именно он взял на себя обязанность вывести их в свет и обеспечить им успех. Цицерон говорит, что он был в этом превосходно искусен, и это нас не удивляет. Чтобы создать о них хорошее мнение, он чаще всего прибегал к тому, что лучшие отрывки читались его лучшими чтецами умным людям, которых он собирал за своим столом. Цицерон, знавший обычную экономность его трапез, умолял его немного отступать от нее в таких случаях. "Позаботься о том, - пишет он ему, - чтобы хорошо обращаться с гостями, ибо, если они будут в дурном расположении духа к тебе, они выплеснут его на меня". Естественно, что Цицерон был чрезвычайно благодарен за все эти услуги; но было бы дурно судить о нем, если бы он решил, что привязан к нему только за те блага, которые он от него получил. Он действительно любил его, и все его письма полны свидетельств самой искренней привязанности. Он всегда был счастлив с ним; он никогда не уставал от общения с ним; едва покинув его, он страстно желал увидеть его снова. "Пусть я умру, - писал он ему, - если мой дом в Тускулуме, где мне так хорошо, или Острова блаженных смогут радовать меня без тебя!" Какое бы удовольствие он ни испытывал от того, что его *чествуют*, аплодируют, льстят, что вокруг него толпы поклонников и почитателей, среди этой толпы и шума он всегда с сожалением обращался к своему отсутствующему другу. "Со всеми этими людьми, говорит он ему, я чувствую себя более одиноким, чем если бы у меня был только ты". Все эти люди, в сущности, состоят из политических друзей, которые меняются в зависимости от обстоятельств, которых общий интерес приводит к тебе, а соперничающее честолюбие снова уводит; с ними Цицерон вынужден быть сдержанным и осторожным, что является пыткой для столь открытой натуры. С другой стороны, Аттику он может рассказать все и довериться ему без ограничений. Поэтому он спешит потребовать его присутствия, когда с ним случается малейшая неприятность. "Ты мне нужен, - пишет он ему, - я нуждаюсь в тебе, я жду тебя. У меня тысяча дел, которые меня тревожат и беспокоят, и одна прогулка с тобой принесет мне облегчение". Мы никогда не закончим, если соберем все эти очаровательные выражения, которыми полна переписка и в которых ясно говорит его сердце. Они не оставляют сомнений в чувствах Цицерона; они доказывают, что он считал Аттика не только одним из тех твердых и серьезных друзей, на чью поддержку он мог рассчитывать, но и, что еще более удивительно, чувствительной и нежной душой: "Ты принимаешь свою долю, - говорит он ему, - во всех бедах других".

Вот нечто далекое от того представления, которое мы обычно имеем о нем, и все же мы не можем устоять перед таким ясным свидетельством. Как мы можем утверждать, что он испытывал лишь сомнительную привязанность к своим друзьям, когда видим, что все его друзья были довольны им? Разве мы должны быть более требовательными, чем они, и разве не было бы несправедливо по отношению к таким людям, как Брут и Цицерон, предполагать, что они так долго были обмануты, не замечая этого? С другой стороны, как объяснить тот факт, что потомство, которое судит только по документам, предоставленным ему друзьями Аттика, извлекает из этих самых документов мнение, прямо противоположное тому, которого придерживались они? Очевидно, потому, что потомки и современники не судят о людях с одной и той же точки зрения. Мы видели, что Аттикус, взявший за правило не участвовать в государственных делах, не считал себя обязанным принимать участие в опасностях, которым

могли подвергаться его друзья, принимавшие в них участие. Он оставил им и почести, и опасности. Чувствительный, услужливый, преданный им в обычных делах жизни, когда случался большой политический кризис, который ставил их под удар, он отходил в сторону, оставляя их в одиночестве подвергать себя опасности. Теперь, когда мы смотрим на факты со стороны и отделены от них, как мы, несколькими столетиями, мы воспринимаем только самые важные события и особенно политические революции, то есть именно те обстоятельства, к которым дружба Аттикуса не имела никакого отношения. Отсюда и суровый приговор, который мы выносим ему. Но его современники судили иначе. Эти великие кризисы, в конце концов, лишь редкие и мимолетные исключения; без сомнения, современников они сильно поражают, но еще большее впечатление на них производят те бесчисленные мелкие происшествия, из которых складывается повседневная жизнь и которые потомки не замечают. О дружбе человека они судят по тем услугам, которые оказываются ежеминутно и которые важны самим фактом своего количества, гораздо больше, чем по каким-то исключительным заслугам, которые могут быть оказаны в одном из таких великих и редких случаев. Именно этим объясняется тот факт, что их мнение об Аттикусе так сильно отличалось от нашего.

Несомненно, одной из характерных черт этого человека является то, что для него было необходимо иметь много друзей и что он прилагал усилия, чтобы привлечь и удержать их. Мы можем отказаться признать, если захотим, что эта потребность была у него следствием щедрой и сочувственной натуры, что она проистекала из того, что Цицерон восхитительно называет "порывом души, желающей любить"; но даже если предположить, что он думал только о том, чтобы занять и заполнить свою жизнь, мы должны признать, что заполнять ее таким образом не является признаком вульгарной натуры. Этот утонченный эпикуреец, этот мастер непринужденной жизни, знал, "что жизнь уже не жизнь, если мы не можем отдохнуть от привязанности друга." Он отказался от волнений политической борьбы, триумфов красноречия, радостей удовлетворенного честолюбия, но в качестве компенсации он был намерен наслаждаться всеми удовольствиями частной жизни. Чем больше он ограничивал себя в ней, тем более конкретным и утонченным становился в отношении тех удовольствий, которые она могла дать; поскольку он оставил себе только их, он хотел наслаждаться ими в полной мере, смаковать их, жить ими. Ему нужны были друзья, и среди них - величайшие умы, благороднейшие души его времени. Он тратил всю свою энергию, которую не тратил ни на что другое, на то, чтобы обеспечить себе те удовольствия общества, которые Боссюэ называет величайшим благом человеческой жизни. Аттикус наслаждался этим благом даже сверх своих желаний, и дружба щедро отплачивала ему за все те хлопоты, которые он ради него предпринимал. Это была его единственная страсть; он смог удовлетворить ее полностью, и дружба, украсив его жизнь, пролила блеск на его имя.

III.

Аттикус предстает в благоприятном свете в личной жизни. Он менее удачлив, когда мы изучаем его поведение в общественных делах. В этом вопросе он не избежал порицания, и защищать его нелегко.

Однако мы не были бы очень неблагосклонны к нему, если бы оценивали его поведение полностью в соответствии с представлениями наших дней. Мнение о тех, кто открыто заявляет о своей жизни вне политики, стало менее суровым. Так много людей стремятся управлять своей страной, и стало так трудно сделать выбор среди этого множества, что мы склонны благосклонно смотреть на тех, кто не имеет таких амбиций. Их не порицают, а называют умеренными и мудрыми; они составляют исключение, которое поощряется, чтобы уменьшить число претендентов. В Риме думали иначе, и нетрудно найти причины этого

различия. Там то, что мы можем назвать политическим телом, на самом деле было очень ограниченным. Кроме рабов, которые не считались, и простого народа, который довольствовался тем, что отдавал или, скорее, продавал свои голоса на выборах, и чьей величайшей привилегией было развлекаться за счет кандидатов и питаться за счет общественной казны, оставалось лишь несколько семей с древним происхождением или более поздней известностью, которые делили между собой все государственные должности. Аристократия рождения и состояния была не очень многочисленна, и ее едва хватало на то, чтобы обеспечить необходимое количество чиновников всех мастей для управления миром. Поэтому было необходимо, чтобы никто не отказывался от своей роли, а жизнь в отставке считалась дезертирством. В нашей демократии все обстоит иначе. Поскольку все должности открыты для всех, а благодаря распространению образования люди, достойные их занять, могут появиться во всех сословиях, нам больше не нужно опасаться, что отсутствие нескольких тихих людей, друзей мира и покоя, станет ощутимым и досадным пробелом в рядах тех, кто со всех сторон борется за власть. Кроме того, сейчас мы думаем, что есть много других способов служить своей стране, кроме государственной жизни. Римляне высокого происхождения не знали ничего другого; они смотрели на торговлю как на не очень почетное средство^[166], которое частный человек может использовать, чтобы сделать свое состояние, и не понимали, какую выгоду от этого может получить государство; литература казалась им приятным, но тривиальным занятием, и они не понимали ее общественного значения. Отсюда следует, что среди них человек определенного ранга мог найти только один почетный способ занять свою деятельность и быть полезным своей стране, а именно - занимать политические должности.^[167] Заниматься чем-либо другим, по их представлениям, означало ничего не делать; самых трудолюбивых ученых они называли бездельниками, и им не приходило в голову, что есть что-то, что стоит того, чтобы занимать время гражданина помимо службы государству. Так думали все древние римляне, и они испытали бы странное удивление, если бы увидели, что кто-то претендует на право, как Аттикус, не служить своей стране в пределах своих способностей и талантов. Уверен, что Катон, который никогда не отдыхал и в девяносто лет мужественно покинул свою виллу в Тускулуме, чтобы пойти и обвинить Сервия Гальбу, мясника лузитанцев, подумал бы, что оставаться в своем доме на Квиринале или в своем поместье в Эпире среди книг и статуй, когда судьба Рима решалась на Форуме или в Фарсалии, было бы таким же преступлением, как оставаться в своей палатке в день битвы.

Это систематическое воздержание Аттика не было римским обычаем; он перенял его от греков. В тех маленьких неуправляемых республиках Греции, где не знали покоя, постоянно и без предупреждения переходя от суровой тирании к самой разнузданной свободе, можно понять, что тихие и ученые люди должны были устать от всего этого бесплодного возбуждения и перестать желать общественных занятий, которые доставались только путем лести капризной толпе и сохранялись только при условии повиновения ей. Кроме того, какую ценность могла иметь эта власть, с таким трудом приобретенная и так редко сохраняемая, если ее приходилось делить с самыми заурядными демагогами? Стоило ли так напрягаться, чтобы стать преемником или соратником Клеона? В то время как усталость и отвращение удерживали почтенных людей в стороне от этой ничтожной борьбы, философия, с каждым днем все более изучаемая, передавала своим ученикам своего рода гордость, которая приводила их к тому же результату. Люди, которые проводили время в размышлениях о Боге и мире и пытались постичь законы, управляющие Вселенной, не спускались с этих высот, чтобы управлять государствами площадью в несколько лиг. Поэтому в школах постоянно обсуждали, должен ли человек заниматься государственными делами, должен ли мудрец стремиться к государственной должности, и что лучше - активная или созерцательная жизнь. Несколько философов, колеблясь, отдавали предпочтение активной жизни, большинство же

придерживалось противоположного мнения, и под прикрытием этих дискуссий многие считали себя вправе создавать своего рода элегантную праздность в сладострастных уединениях, украшенных письмом и искусствами, где они жили счастливо, пока Греция погибала.

Аттикус последовал их примеру. Перенеся этот обычай из Греции в Рим, он открыто объявил о своем решении не принимать участия в политических дискуссиях. Он начал с того, что ловко держался в стороне от всех тех ссор, которые постоянно будоражили Рим со времен консульства Цицерона и до гражданских войн. В тот самый момент, когда эта борьба была наиболее активной, он посещал все партии, у него были друзья со всех сторон, и в этих широких дружеских связях он нашел новый предлог для сохранения нейтралитета. Аттику было уже более шестидесяти лет, когда Цезарь перешел Рубикон - возраст, когда обязанность военной службы у римлян отпадает. Это была еще одна причина для молчания, и он не преминул ею воспользоваться. "Я получил увольнение", ответил он тем, кто хотел зачислить его на службу. Тот же курс и с тем же успехом он проводил и после смерти Цезаря; но тогда он еще больше разочаровал общественное мнение. Он был настолько известен как друг Брута, что считалось, что на этот раз он без колебаний встанет на его сторону. Сам Цицерон, который должен был его знать, рассчитывал на это; но Атик не стал противоречить себе и воспользовался важным случаем, чтобы дать понять публике, что его не привлекут против его воли. Пока Брут собирал армию в Греции, некоторые рыцари, его друзья, задумали собрать подписку среди богатейших людей Рима, чтобы дать ему средства на содержание солдат. Сначала они обратились к Аттику, чье имя хотели поставить во главе списка. Атик прямо отказался подписываться. Он ответил, что его состояние в распоряжении Брута, если он в нем нуждается, и попросил его как друга, но в то же время заявил, что не будет принимать участия в политических манифестациях, и его отказ стал причиной провала подписки. В то же время, верный своей привычке льстить всем партиям, он приветствовал Фульвию, жену Антония, а также Волумния, начальника своих рабочих, и, уверенный, что у него везде есть друзья, он без особого страха ждал результатов борьбы.

Самое странное, что этот человек, так упорно сохранявший нейтралитет, не был равнодушен. Его биограф хвалит его за то, что он всегда принадлежал к лучшей партии,^[169] и это правда; только он взял за правило не служить своей партии; он довольствовался тем, что высказывал ей свои добрые пожелания. Но эти добрые пожелания были самыми теплыми, какие только можно себе представить. У него были, хотя в это трудно поверить, политические страсти, которые он осмеливался выражать наедине с невероятной силой. Он так ненавидел Цезаря, что дошел до того, что обвинил Брута в том, что тот разрешил его погребение.^[170] Он, несомненно, пожелал бы, как того требовали самые яростные, чтобы его труп бросили в Тибр. Таким образом, он не воздерживался от того, чтобы иметь предпочтения и показывать их своим самым близким друзьям. Его сдержанность проявлялась только тогда, когда нужно было действовать. Он никогда не соглашался участвовать в борьбе; но если он не разделял ее опасности, то, по крайней мере, ощущал все ее возбуждение. Мы улыбаемся, видя, как он оживляется и возбуждается, словно настоящий боец; он принимает участие во всех успехах и всех поражениях, поздравляет энергичных, уговаривает вялых и даже бранит колеблющихся, позволяет себе советовать и порицать тех, кто, как ему кажется, вообще не действует, действует слишком вяло. Забавно слышать упреки, с которыми он обращается к Цицерону, когда видит, что тот колеблется, стоит ли идти к Помпею; он принимает самый патетический тон, напоминает ему о его поступках и словах, умоляет его во имя своей славы, цитирует ему свои собственные слова, чтобы убедить его.^[171] Этот избыток дерзости, в

который он позволяет себя вовлечь ради других, иногда порождает довольно комические инциденты. В тот момент, когда Помпей только что затворился в Брундизии, Атик, движимый живейшим горем, желал, чтобы были предприняты попытки спасти его, и дошел до того, что просил Цицерона предпринять перед отъездом какое-нибудь поразительное действие. "Для этого нужно только зная, - сказал он, - и все сбегутся к нему". Достойный Цицерон чувствовал себя весьма возбужденным этими живыми увещаниями своего друга, и бывали моменты, когда он испытывал искушение быть смелым и когда он только требовал возможности нанести сильный удар. Такая возможность представилась, и он рассказывает в следующих словах, как воспользовался ею. "Когда я прибыл в свой дом в Помпеях, твой друг Нинний пришел сказать мне, что центурионы трех когорт, которые там находились, просят встречи со мной на следующий день, так как они хотят сдать мне это место. Знаете ли вы, что я сделал? Я ушел до рассвета, чтобы не видеть их. Что такое, в сущности, три когорты? А если бы их было больше, что бы я с ними делал?" Он говорил как человек благоразумный и хорошо знающий себя. Что касается Атикуса, то мы задаемся вопросом, действительно ли он был искренен в том пылу, который проявлял к своему делу, когда видим, как он упрямо отказывается служить ему. Те великие страсти, которые так благоразумно сдерживаются в груди и никогда не проявляются внешне, с полным основанием можно заподозрить. Возможно, он лишь хотел немного оживить ту роль зрителя, которую отводил себе, участвуя до определенного момента в азарте борьбы. Мудрец Эпикура всегда остается на безмятежных высотах, откуда он спокойно наслаждается видом кораблекрушений и зрелищем человеческих конфликтов; но он наслаждается ими слишком издалека, и удовольствие, которое он испытывает, уменьшается с расстоянием. Атикус более искусен и лучше понимает свое удовольствие; он входит в самый разгар схватки, видит ее вблизи и принимает в ней участие, будучи всегда уверенным, что вовремя удалится.

Единственная трудность, с которой он столкнулся, - заставить всех принять его нейтралитет. Эта трудность была для него тем большей, что его поведение особенно оскорбляло тех, чье уважение он больше всего хотел сохранить. Республиканская партия, которую он предпочитал и в которой считал себя самым близким другом, была гораздо менее склонна помиловать его, чем партия Цезаря. В древности, да и в наши дни, очень хвалят слова Цезаря, сказанные им в начале гражданской войны: "Кто не против меня, тот за меня", а противоположное высказывание Помпея порицалось: "Кто не за меня, тот против меня". Однако если взглянуть на вещи объективно, то и эти похвалы, и эти порицания кажутся одинаково необоснованными. Каждый из двух соперников, выражаясь подобным образом, говорил от своего лица, и их слова были обусловлены их положением. Цезарь, как бы мы его ни оценивали, пришел, чтобы опрокинуть установленный порядок, и он, естественно, был благодарен тем, кто дал ему свободу действий. Чего еще он мог требовать от них? В действительности те, кто не препятствовал ему, служили ему. Но законный порядок, установленный порядок, считает себя вправе призвать каждого на свою защиту и считать врагами всех, кто не откликается на его призыв, ибо общепризнанный принцип гласит, что тот, кто не приходит на помощь закону, когда на него открыто нападают, делает себя соучастником тех, кто его нарушает. Поэтому было вполне естественно, что Цезарь, прибыв в Рим, приветствовал Атика и тех, кто не отправился в Фарсалию, как и то, что те, кто был в лагере Помпея, были сильно раздражены против них. Атика не очень тронул этот гнев: он позволил им говорить, этим легкомысленным и вспыльчивым молодым людям, которые не могли утешиться тем, что покинули Рим, и грозились отомстить тем, кто остался. Какое значение имели для него эти угрозы? Он был уверен, что сохранил уважение двух самых важных и самых уважаемых людей в партии, и мог противопоставить их показаниям все негодование остальных. Цицерон и Брут, несмотря на силу своих убеждений, никогда не упрекали его за поведение и, похоже, одобряли его неучастие в государственных делах. "Я

знаю, насколько благородны и благородны твои чувства, - сказал ему однажды Цицерон, когда Атик счел нужным защищаться; между нами есть только одно различие, и оно заключается в том, что мы по-разному устроили свою жизнь. Я не знаю, какое честолюбие заставило меня желать государственной должности, в то время как мотивы, ни в коей мере не достойные порицания, заставили тебя искать почетного досуга!" И снова Брут писал ему под конец жизни: "Я далек от того, чтобы винить тебя, Атик; твой возраст, твой характер, твоя семья - все заставляет тебя любить отдых."

Такая добрая воля Брута и Цицерона тем более удивительна, что они прекрасно понимали, какой вред может принести такой пример делу, которое они защищали. Республика погибла не только от дерзости ее врагов, но и от апатии ее сторонников. Печальное зрелище, которое она являла собой в течение пятидесяти лет, публичная продажа достоинств, скандальное насилие, происходившее на Форуме при каждом обсуждении нового закона, сражения, которые при каждом новых выборах заливали кровью Campus Martius, армии гладиаторов, необходимые для самообороны, все эти позорные беспорядки, все эти подлые интриги, в которых были истрачены последние силы Рима, совершенно обескуражили честных людей. Они держались в стороне от общественной жизни; они больше не жаждали власти, поскольку были вынуждены оспаривать ее с людьми, готовыми на любое насилие. Катону потребовалось немало мужества, чтобы вернуться на Форум после того, как его осыпали камнями, и выйти оттуда с разорванной мантией и кровоточащей головой. Таким образом, чем больше дерзкие пытались, тем больше робкие оставляли их в покое, и со времен первого триумvirата и консульства Бибула было очевидно, что апатия честных людей отдаст республику в руки честолюбивых вельмож, которые хотели над ней господствовать. Цицерон ясно видел это и в своих письмах не переставал горько ругаться с теми ленивыми богачами, которые, умиляясь своими рыбными прудами, утешали себя предвиденной гибелью, думая, что спасут хотя бы своих миног. В предисловии к "De Republica" он с восхитительной энергией нападает на тех, кто, будучи сам удручен, пытается удручить других, кто утверждает, что человек имеет право отказываться от услуг своей страны и заботиться о своем собственном благополучии, пренебрегая благополучием своей страны. "Давайте не будем слушать, - говорит он в заключение, - тот сигнал к отступлению, который звучит в наших ушах и напоминает о тех, кто уже отправился на фронт". Брут также знал, от какого зла гибнет республика, и не раз жаловался на слабость и уныние римлян. "Поверьте мне, - писал он, - мы слишком боимся изгнания, смерти и нищеты". Именно Атику он написал эти благородные слова, но не мечтает применить их к себе! Каким же странным обаянием обладал этот человек, каким влиянием пользовалась его дружба, что эти два великих патриота так унизили себя в его пользу и так свободно прощали в нем то, что осуждали в других?

Чем больше мы думаем об этом, тем меньше представляем себе причины, которые он мог бы привести в оправдание своего поведения. Если бы он был одним из тех ученых, которые, увлеченные своими исследованиями в области истории или философии, живут только в прошлом или будущем и не являются настоящими современниками людей, с которыми они живут, мы могли бы понять, что он не принимал участия в их борьбе, поскольку держался в стороне от их страстей; но мы знаем, что, напротив, он испытывал живейший интерес ко всем мелким волнениям и неясным интригам политики своего времени. Он жаждал знать их, он преуспел в их распутывании, это было регулярной пищей его пытливого ума, и Цицерон по собственному желанию обращался к нему, когда хотел узнать о таких делах. Он не принадлежал к тем мягким и робким душам, созданным для размышлений и уединения, которые не обладают энергией, необходимой для активной жизни. Этот деловой человек с ясными и решительными суждениями, напротив, стал бы прекрасным государственным

деятелем. Чтобы быть полезным своей стране, ему нужно было лишь применить на службе ей немного той активности и ума, которые он использовал для собственного обогащения, и Цицерон был прав, считая, что у него есть политический темперамент. И, наконец, он не оставил себе даже жалкого шанса притвориться, что не принимает никакой партии, потому что все партии ему безразличны, и что, не имея определенных взглядов, он не знает, на чью сторону встать. Он сотни раз утверждал обратное в своих письмах к Цицерону и Бруту, сотни раз очаровывал их пылким республиканским рвением, и все же молчал, когда представилась возможность послужить правительству, к которому, по его словам, он был так сильно привязан. Вместо того чтобы сделать хоть одно усилие, чтобы замедлить его падение, он лишь заботился о том, чтобы не оказаться раздавленным под его руинами. Но если он и не пытался защитить его, то хотя бы оказал ему последнее уважение, показав, что сожалеет об этом? Показывал ли он каким-либо образом, что, хотя он и не участвовал в сражении, он чувствовал, что разделяет поражение? Знал ли он, старея под властью, которой был вынужден подчиниться, как уйти в отставку с достойной грустью, которая вызывает уважение даже у завоевателя? Нет, и именно это, несомненно, наиболее отвратительно для нас в его жизни; он проявил неприятную готовность приспособиться к новому порядку вещей. На следующий день после того, как он сам был проскрибирован, мы видим, как он становится другом проскрибированных. Он одаривает их всеми прелестями своего ума, усердно посещает их дома, участвует во всех их *праздниках*. Как бы мы ни привыкли к тому, что он приветствует все триумфальные правительства, мы не можем свыкнуться с мыслью, что друг Брута и наперсник Цицерона должен так быстро стать знакомым Антония и Октавия. Те, кто наиболее склонен к снисходительности, несомненно, сочтут, что эти знаменитые дружеские отношения налагали на него обязанности, которые он не выполнял, и что было изменой памяти этих людей, почтивших его своей дружбой, выбрать себе в преемники именно их палачей.

Если мы не склонны проявлять к нему такую же снисходительность, как Цицерон и Брут, то с еще большим основанием мы не будем участвовать в наивном энтузиазме, который он внушает Корнелию Непосу. Этот снисходительный биограф во всей жизни своего героя поражается лишь счастливой случайности, благодаря которой он избежал столь серьезных опасностей. Он не может преодолеть своего удивления, когда видит, как он, начиная со времен Суллы и заканчивая эпохой Августа, участвовал в стольких гражданских войнах, пережил столько проскрипций и так умело сохранил себя там, где многие другие погибли. "Если мы осыпаем похвалами, - говорит он, - лоцмана, который спасает свое судно от скал и бурь, то не должны ли мы считать восхитительным благоразумие человека, который посреди этих жестоких политических бурь сумел спастись сам?" Восхищение - слишком сильное слово. Мы оставим его для тех мужественных людей, которые приводили свои действия в соответствие со своими принципами и умели умереть, отстаивая свои взгляды. Неудачи не вредят им нашему уважению, и, что бы ни говорил друг Аттикуса, есть удачные плавания, из которых можно извлечь меньше чести, чем из некоторых кораблекрушений. Единственная похвала, которую он полностью заслуживает, это та, которую его биограф дает ему с таким самодовольством, а именно, что он был самым ловким человеком того времени; но мы знаем, что есть другие формы похвалы, которые имеют большую ценность, чем эта.

КАЭЛИЙ

РИМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВО ВРЕМЕНА ЦЕЗАРЯ

В изучаемой нами истории, пожалуй, нет более любопытной фигуры, чем Каэлий. Его жизнь представляет для нас особый интерес. Он не был, как Брут, ярким исключением среди своих современников; напротив, он вполне принадлежал своему времени; он жил так, как жили вокруг него другие. Все молодые люди того времени, Курионы, Долабеллы, похожи на него. Все они, как и он, рано развратились, мало заботятся о своем достоинстве, расточительны в богатстве, любят легкие удовольствия; все они бросаются в общественную жизнь, как только могут, с беспокойным честолюбием и большими потребностями в удовлетворении, с малым количеством угрызений совести и без убеждений. Таким образом, его история - это история всех остальных, и преимущество ее изучения заключается в том, что мы сразу узнаем все поколение, частью которого он был. Теперь, благодаря Цицерону, это исследование дается нам легко. Несмотря на столь значительные различия в поведении и принципах, Цицерон всегда чувствовал необыкновенную склонность к Целию; ему нравился разговор этого умного человека, который смеялся над всем, и с ним было спокойнее, чем с такими людьми, как Катон или Брут, чья суровость несколько настораживала его. Он защищал его в суде, когда женщина, которую он любил, пыталась погубить его, и эта его речь, безусловно, одна из самых интересных, сохранившихся до нас. Позже, когда он был вынужден отправиться в Киликию, он выбрал его своим политическим корреспондентом. По счастливой случайности письма Каэлия дошли до нас вместе с письмами Цицерона, и во всем этом собрании нет ни одного более остроумного и более яркого. Давайте соберем все детали, разбросанные в них; попытаемся, собирая их, воспроизвести рассказ о Целии и по нему составить представление о том, что представляла собой римская молодежь того времени. Знакомство с ними не лишено интереса, ведь они играли важную роль, а Цезарь использовал их особенно для революции, которую хотел совершить.

I.

Целий происходил не из прославленной семьи. Он был сыном римского рыцаря из Путеоли, который занимался торговлей и приобрел большое богатство в Африке. Его отец, у которого всю жизнь не было других забот, кроме обогащения, проявил, как это часто бывает, больше честолюбия к сыну, чем к себе: он хотел, чтобы тот стал политиком, а поскольку видел, что достоинства достигаются только с помощью красноречия, то отвел его на время к Цицерону, чтобы тот сделал из него великого оратора, если это возможно.

Еще не было принято ограничивать юношей школами риторов и довольствоваться их упражнениями в воображаемых делах. Как только они принимали *toga virilis*, то есть когда им исполнялось около шестнадцати лет, не теряли времени, чтобы отвести их к какому-нибудь известному государственному деятелю, которого они не покидали. Допущенные в его самое интимное общество, они слушали его беседы с друзьями, его диспуты с противниками; они видели, как он в тишине готовился к великим битвам красноречия, они следовали за ним в базилики и на Форум, слышали, как он отстаивает свои интересы или обращается к собравшемуся народу, а когда они становились способными говорить сами, они впервые появлялись на его стороне и под его покровительством. Тацит очень сожалеет об этом мужественном воспитании, которое, поставив юношу в условия реальности, а не удерживая его среди фикций риторики, привило ему вкус к настоящему и естественному красноречию, укрепило его, бросив с первого раза в гущу настоящих состязаний, и, по его выражению, научило его войне на поле брани, *pugnare in praelio discebant*.^[179] Это воспитание, однако, имело свои опасности. Оно научило его вещам, о которых лучше долго не знать,

познакомило его со скандальными и порочными зрелищами, которые обычно предлагает общественная жизнь, дало ему слишком быстрое взросление и воспламенило его преждевременным честолюбием. Разве шестнадцатилетний юноша, живший в тесной близости со старыми и беспринципными государственными деятелями, которому без всяких предосторожностей открывались самые подлые маневры партий, не должен был утратить благородство и чувствительность, свойственные его возрасту? Не следовало ли опасаться, что это развращающее общение может привести к тому, что у него появится вкус к интригам, поклонение успеху, необузданная любовь к власти, желание быстро и любыми средствами добиться высокого положения, а поскольку, как правило, худшие средства являются и самыми быстрыми, то и соблазн использовать их по преимуществу? Именно это и произошло с Каэлием. Целых три года, три честных и трудовых года, он не отходил от Цицерона; но в конце концов он понял, что такой молодой человек, как он, которому предстояло сделать свою политическую судьбу, больше выиграет с теми, кто хотел разрушить правительство, чем с теми, кто хотел его сохранить, и он оставил Цицерона, чтобы присоединиться к Катилине. Перемена была внезапной, но Каллий никогда не затягивал с такими переходами. Отныне, как мы легко можем понять, его жизнь приняла другой оборот; он стал мятежным и буйным человеком, чьи язвительные речи на Форуме и насилие в Campus Martius вызывали страх. На выборах понтифика он ударил сенатора. Когда он был назначен квестором, все обвинили его в том, что он купил голоса. Не удовлетворившись нарушением комиций в Риме, он поднял народные волнения в Неаполе, не знаем почему. В то же время он не пренебрегал своими удовольствиями. Разврат тех шумных молодых людей, одним из которых он был, постоянно нарушал общественное спокойствие. Говорят, что улицы Рима были небезопасны, когда они возвращались ночью с ужина, и что, подобно тем легкомысленным парням, которых изображают Плавт и Теренций, они приставали к честным женщинам, которых встречали на своем пути. Все эти безрассудства не обходились без больших затрат, а отец Каэлия, хоть и был богат, но не был такого нрава, чтобы постоянно платить. Несомненно, в это время честный купец из Путеоли должен был пожалеть о своих амбициях в отношении сына и подумать, что дорого обошлось ему желание сделать из него политика. Каэлий, в свою очередь, был не из тех, кто легко мирится с выговорами; он покинул отцовский дом и под предлогом близости к Форуму и делам снял жилье на Палатине, в доме знаменитого трибуна Аппия Клодия, за десять тысяч сестерций (80 фунтов стерлингов). Это было важное событие в его жизни, ведь именно там он познакомился с Клодием.

Если бы мы полагались на свидетельства Цицерона, то были бы очень плохого мнения о Клодии; но Цицерон - слишком пристрастный свидетель, чтобы быть полностью справедливым, и яростная ненависть, которую он питал к брату, заставляет его сильно подозревать, когда он говорит о сестре. Более того, он отчасти противоречит сам себе, когда говорит, что она поддерживала отношения с очень почтенными людьми, что было бы очень удивительно, если бы это было правдой, что она совершила все преступления, которые он вменяет ей в вину. Очень трудно поверить, что уважаемые в республике люди, тщательно свою репутацию, продолжали бы встречаться с ней, если бы знали, что она отравила своего мужа и была любовницей своих братьев. Цицерон, однако, не придумал этого; это был общественный слух, который он самодовольно повторял. Многие в Риме поверили в это, враги Клодии любили повторять это, а озорные стихи о ней были написаны на каждой стене. Репутация Клодии тогда была очень плохой, и надо признать, что, несмотря на некоторые преувеличения, она отчасти заслужила ее. Ничто не свидетельствует о том, что она убила своего мужа, в чем ее обвиняли; обвинения в отравлении были тогда широко распространены и принимались с невероятным легкомыслием, но она сделала его очень несчастным при жизни и, похоже, не очень горевала о его смерти. Сомнительно также, что, как бы ни утверждал Цицерон, ее братья были ее любовниками, но, к сожалению,

совершенно точно, что у нее было много других. Единственное оправдание, которое можно привести в ее пользу, - это то, что такой образ жизни был тогда очень распространен.

Скандалы такого рода никогда не были столь распространены среди великих дам Рима. Римское общество переживало кризис, причины которого, уходящие далеко в прошлое, заслуживают рассмотрения. Мы должны сказать о них несколько слов, чтобы объяснить, какой серьезный урон был нанесен общественной морали.

В стране, где семья пользовалась таким уважением, как в Риме, женщины не могли не иметь большого значения. Невозможно было допустить, чтобы их влияние, которое и без того было столь велико в доме, не пыталось проявиться вовне, а почетное место, которое они занимали в частной жизни, должно было однажды побудить их вторгнуться и в жизнь общественную. Древние римляне, столь ревниво относившиеся к своему авторитету, сознавали эту опасность и ничем не пренебрегали, чтобы защититься от нее. Мы знаем, как они относились к женщинам; не было такого рода недоброжелательных замечаний, которые они бы не делали в их адрес; они подвергали их нападкам на сцене и высмеивали их даже в своих политических речах:^[180] Но мы не должны заблуждаться относительно смысла этих издевательств и слишком жалеть их объекты. На них нападают только потому, что их боятся, и все эти любезности - не столько оскорбления, сколько предосторожности. Эти грубые солдаты, эти грубые крестьяне, живя с ними, узнали, как тонок и предприимчив их ум, и во многих отношениях они способнее их самих; поэтому они прилагают немало усилий, чтобы ограничить их в своих домах, но даже этого недостаточно, чтобы успокоить их; в самом доме их нужно подчинить и обуздать. Они считают и говорят, что это слабые и необузданные существа (*indomita animalia*), неспособные управлять собой самостоятельно, и спешат обеспечить их управление. Под этим предлогом их держат в состоянии постоянной опеки; они всегда "под рукой" отца, брата или мужа; они не могут продавать, покупать, торговать или делать что-либо без совета, который им помогает: действуя таким образом, мужчины делают вид, что защищают их, на самом же деле они сами защищают себя от них. Катон, их великий враг, бесхитростно признает это в минуту откровенности. "Вспомните, - заставляет его Ливий сказать о *lex Oppia*, - все те постановления, которые были приняты нашими предками, чтобы подчинить жен своим мужьям. Как бы ни были они закованы в кандалы, вам трудно ими управлять. Что будет, если вы дадите им свободу, если позволите пользоваться теми же правами, что и вы сами? Думаете, тогда вы станете их хозяевами? В тот день, когда они станут вашими равными, они станут вашими начальниками". Этот день наступил как раз в то время, о котором мы рассказываем. В разгар ослабления древних обычаев законы против женщин соблюдались не больше, чем другие. Цицерон говорит, что галантные юристы придумывали для них хитроумные способы освободиться от этих законов, не нарушая их.^[182] В то же время мужчины привыкли видеть, что они занимают более важное место в обществе, и признавать их влияние в управлении республикой. Почти всеми политиками того времени управляют их жены или их любовницы, поэтому бесчисленные галантности Цезаря, как и позднее галантности Августа, должны были в глазах многих людей выдаваться за глубокую политику, так как можно было предположить, что он стремился угодить женщинам только для того, чтобы повести за собой их мужей.

Таким образом, отменив старые законы и изменив древние максимы, женщины стали свободными. Следует заметить, что, как правило, первым использованием вновь обретенной свободы является злоупотребление ею. Мы не можем спокойно наслаждаться правами, которых нас долгое время лишали, а первые мгновения свободы вызывают своего рода опьянение, которое трудно сдержать. Именно это произошло с римским обществом того времени, и все те нарушения, которые мы замечаем в поведении женщин, отчасти объясняются соблазнами и опьянением их новой свободой. Те, кто любит деньги, как

Теренция, жена Цицерона, спешат воспользоваться возвращенным им правом распоряжаться своим состоянием, объединяются с вольноотпущенниками и агентами ради сомнительной выгоды, бессовестно грабят своих мужей, бросаются в спекуляции и торговлю, к которым они, наряду с почти невероятной жадностью, привносят тот вкус к мелкой экономии и бережливости, который им присущ. Те, кто предпочитает удовольствия богатству, предаются всем удовольствиям со страстным рвением. Менее смелые пользуются возможностями развода, чтобы под прикрытием закона переходить от одной любви к другой. Другие даже не берут на себя эту обязанность и нагло выставляют напоказ свое скандальное поведение.

Клодия была одной из последних; но среди всех ее пороков, которые она старалась не скрывать, мы вынуждены признать в ней и некоторые хорошие качества. Она не была хваткой; ее кошелек был открыт для друзей, и Казэлий не стеснялся в него заглядывать. Ей нравились умные люди, и она привлекала их в свой дом. Однажды она хотела уговорить Цицерона, чьими талантами она восхищалась, бросить свою глупую Терентию ради нее и жениться на ней; но Теренция, заподозрив это, сумела смертельно запутать их. Старый схолиаст говорит, что она танцевала лучше, чем это подобает делать честной женщине.^[183] Это было не единственное искусство, к которому она имела вкус, и было сочтено возможным сделать вывод из отрывка Цицерона, что она также писала стихи.^[184] Культивировать письма, искать умных мужчин, любить утонченные и элегантные удовольствия, на первый взгляд, не заслуживает порицания; напротив, среди нас это качества, которыми обязана обладать или притворяться женщина из общества. В Риме думали иначе, и, поскольку только куртизанки имели тогда привилегию вести такую свободную и совершенную жизнь, каждая женщина, стремившаяся к этому, рисковала быть сведенной с ними и подвергнуться такому же суровому отношению со стороны общественного мнения; но Клодия не заботилась об общественном мнении. Она вносила в свое личное поведение, в свои привязанности ту же страстность и ту же пылкость, что и ее брат в общественную жизнь. Готовая на любые излишества и не стесняющаяся их демонстрировать, неистово любящая и ненавидящая, неспособная к самоконтролю и ненавидящая любые ограничения, она ничуть не портила тот великий и надменный род, из которого происходила, и даже в ее пороках узнавалась ее кровь. В стране, где так уважали древние обычаи, в этой классической стране *приличий* (и вещь, и слово - римские), Клодия с удовольствием шокировала устоявшиеся обычаи; она выходила на публику со своими друзьями-мужчинами, сопровождала их в общественных садах или на Аппиевой дороге, построенной ее великим предком. Она смело подходила к знакомым; вместо того чтобы робко опускать глаза, как полагалось воспитанной матроне, она смело заговаривала с ними (Цицерон говорит, что иногда она даже целовала их) и приглашала на свои трапезы. Серьезные, степенные и жесткие люди были возмущены; но молодые, которых эта свобода не смущала, были очарованы и ходили обедать с Клодией.^[185]

В то время Казэлий был одним из модных молодых людей Рима. Он уже пользовался большой репутацией как оратор. Его боялись за сатирическую остроту его речи. Он был смел до безрассудства, всегда готов броситься в самые опасные предприятия. Он свободно тратил деньги и притягивал за собой целую вереницу друзей и клиентов. Мало кто танцевал так хорошо, как он,^[186] никто не превзошел его в искусстве одеваться со вкусом, а о красоте и ширине пурпурной ленты, окаймлявшей его тогу, говорили во всем Риме. Все эти качества, как серьезные, так и тривиальные, привлекали Клодию. Соседство облегчило их знакомство, и вскоре она стала любовницей Казэлия.

Цицерон, несмотря на свою сдержанность, позволяет нам догадаться, какую жизнь они тогда вели. Он вскользь упоминает о тех блестящих *праздниках*, которые Клодия устраивала

для своего любовника и римской молодежи в своих садах на берегу Тибра; но, похоже, главным театром этих развлечений был Байи. Байи уже некоторое время были местом постоянного отдыха модных людей Рима и Италии. Поводом или предлогом для этих сборищ служили горячие источники, которых там в изобилии. Некоторые инвалиды отправлялись туда за здоровьем, и их присутствие давало повод для толпы здоровых людей, которые отправлялись туда, чтобы развлечься. Люди стекались туда с апреля месяца, и в течение прекрасного сезона происходила тысяча легких интриг, сведения о которых доходили до Рима. Могильщики старались не попадаться на глаза в этом вихре удовольствий, и позже Клодий обвинил Цицерона, будто это преступление, только в том, что он прошел через него; но Каэлий и Клодия не стремились скрываться, поэтому они беззастенчиво предавались всем удовольствиям, которые можно было найти в этой стране, которую Гораций называет прекраснейшей в мире. Весь Рим говорил об их скачках на берегу, о блеске их пиров и водных праздников в лодках с певцами и музыкантами. Вот и все, что рассказывает Цицерон, вернее, дает нам о нем лишь представление, поскольку, вопреки своей привычке и к нашему большому сожалению, он в кои-то веки проявил осторожность, чтобы не скомпрометировать своего друга Каэлия. К счастью, мы можем узнать больше об этом обществе и удовлетворить свое любопытство; для этого нам нужно обратиться к тому, кто вместе с Лукрецием был величайшим поэтом того времени, Катуллу. Катулл жил среди этих людей, которые так достойны изучения, и имел с ними отношения, которые позволили ему хорошо их изобразить. Все знают Лесбию, которую увековечили его стихи; но не так хорошо известно, что Лесбия не была одной из тех вымышленных личностей, которых часто создают элегические поэты. Овидий говорит нам, что под этим именем скрывалась римская дама, вероятно, великая дама, поскольку он не называет ее имени, и по его манере говорить мы ясно видим, что тогда ее знали все.^[187] Апулей, живший гораздо позже, менее сдержан, и он говорит нам, что Лесбия была Клодией.^[188] Катулл, таким образом, был любовником Клодии и соперником Каэлия: он также часто посещал тот дом на Палатине и те прекрасные сады на Тибре, и его стихи дополняют наше представление о том обществе, одним из героев которого он был.

Я уже говорил, что Клодия не любила деньги с жадностью галантных женщин того времени и всех времен. История Катулла хорошо это доказывает. Этот молодой провинциал из Вероны, хотя и принадлежал к почтенной семье, был не очень богат, и после того как он некоторое время вел разгульную и праздную жизнь в Риме, у него ничего не осталось. Его небольшое имение вскоре было заложено. "Оно не подвержено, - весело говорит он, - ни порывистому северному ветру, ни ярости *авгура*: со всех сторон на него обрушивается ураган долгов. О! ужасный и язвительный ветер!" По картине, которую он рисует о некоторых своих друзьях, еще более бедных и задолжавших, чем он сам, мы ясно видим, что он не мог на них рассчитывать, и что его кошелек, "полный пауков", не мог ожидать от них большой помощи. Клодия любила в Катулле не богатство или родовитость, а ум и талант. То, что привлекало его в ней, то, что он так страстно любил, было отличием и изяществом. Эти качества обычно не присущи женщинам, живущим подобно Клодии; но, как бы низко она ни опустилась, она все равно была великой дамой. Об этом говорит Катулл в эпиграмме, в которой он сравнивает Лесбию с прославленной красавицей того времени: "Квинтия многими считается красивой. Я думаю, что она высока, красива, пряма: таковы ее достоинства; я признаю их все. Но то, что их союз образует красоту, я отрицаю. В ней нет ничего изящного, и во всем этом огромном теле нет ни искры остроумия, ни очарования. Это Лесбия прекрасна, прекраснее всех, и в ней столько грации, что для остальных ее не остается"

Такая женщина, как Клодия, имевшая столь явный вкус к умным людям, должно быть, с удовольствием посещала общество, в котором жил Катулл. Из того, что он рассказывает о

нем, мы ясно видим, что в Риме не было более остроумного и приятного общества. Оно объединяло писателей и политиков, поэтов и аристократов, разных по положению и состоянию, но всех друзей письма и удовольствий. Здесь были Корнифиций, Квинтилий Вар, Гельвий Цинна, чьи стихи пользовались тогда большой славой, Асиний Поллион, который был еще только подающим большие надежды юношей; прежде всего Лициний Кальв, одновременно государственный деятель и поэт, одна из самых ярких фигур того времени, который в двадцать один год напал на Ватиния с такой силой, что Ватиний, испугавшись, повернулся к своим судьям, сказав: "Если мой противник - великий оратор, то из этого не следует, что я виновен!" К этой же группе следует отнести Казэлия, который по своему остроумию и вкусу был достоин принадлежать к ней, а над ним - Цицерона, покровителя всей этой блестящей молодежи, которая гордилась его гением и известностью и приветствовала в нем, по выражению Катулла, самого красноречивого из сыновей Ромула.

В этих собраниях умных людей, среди которых многие были политическими деятелями, политика не исключалась; они были очень республиканскими, и из них выходили самые яростные эпиграммы против Цезаря. Мы знаем, в каком тоне написаны эти стихи Катулла; Кальв сочинил другие, утраченные, которые, как говорят, были еще более резкими. Литература, однако, как мы можем понять, занимала у них не менее высокое место, чем политика. Они не преминули время от времени посмеяться над плохими писателями и, чтобы показать пример, торжественно сожгли стихи Волусия. Иногда, в конце трапезы, когда вино и смех разогревали их мозги, они посылали друг другу поэтические вызовы; таблички переходили из рук в руки, и каждый писал самые язвительные стихи, какие только мог сочинить. Но больше всего их занимало удовольствие. Все эти поэты и политики были молоды и любвеобильны, и какое бы удовольствие они ни находили в том, чтобы сплотить Волусия или разорвать Цезаря на куски, они предпочитали воспевать свою любовь. Именно это и сделало их знаменитыми. Лирическая поэзия латинян не может сравниться с теми короткими и очаровательными произведениями, которые Катулл написал для Лесбии. Проперций смешивает со своими вздохами слишком много мифологии; Овидий - лишь вдохновенный развратник; только у Катулла есть мелодии, которые трогают сердце, потому что только им овладела глубокая и искренняя любовь. До этого момента он вел разгульную жизнь, и его сердце изнывало от мимолетных связей; но в тот день, когда он встретил Лесбию, он узнал, что такое страсть. Что бы мы ни думали о Клодии, любовь Катулла возвышает ее, и мы никогда не видели ее в более благоприятном свете, чем в этой изысканной поэзии. Стихи Катулла словно делают реальными и живыми те *праздники*, которые она устраивала для римской молодежи и о которых мы только что сожалели из-за отсутствия достаточного количества подробностей; ведь не для этих ли очаровательных вечеринок, не для этих ли бесплатных и роскошных пиров он сочинял свои лучшие произведения? Несомненно, именно там, под рощей на берегу Тибра, он спел ту прекрасную имитацию самой пылкой оды Сапфо, которую он сочинил для Лесбии. Возможно, именно на берегу Байи, напротив Неаполя и Капреи, под этим сладострастным небом, среди достопримечательностей этой очарованной земли, впервые были прочитаны стихи, в которых столько изящества смешалось с такой страстью и которые так достойны изысканного пейзажа, среди которого я с удовольствием помещаю их:

"Давай жить, давай любить, моя Лесбия, и вместе смеяться над всеми упреками суровой старости. Солнце умирает, чтобы родиться вновь; мы же, когда наш недолговечный свет однажды погаснет, должны спать вечным сном без пробуждения. Дай мне тысячу поцелуев, сто, тысячу, сто, еще раз тысячу и сто. Потом, когда мы обнимемся тысячи раз, мы запутаем счет, чтобы не знать его, и не оставим завистникам повода завидовать нам, сообщив им, сколько поцелуев мы подарили друг другу"

Это замечательный момент в римском обществе, когда мы встречаемся с этими полированными собраниями, в которых говорят обо всем и смешиваются все сословия, где писатели занимают свое место рядом с политиками, где они осмеливаются открыто выражать свою любовь к искусствам и относятся к воображению как к силе. Можно сказать, используя вполне современное выражение, что именно здесь начинается жизнь общества. У древних римлян ничего подобного не было. Они жили на Форуме или в своих домах. Между толпой и семьей они мало знали о той средней точке, которую мы называем обществом, то есть о тех элегантных и избранных собраниях, многочисленных, без путаницы, где мы одновременно более свободны, чем среди незнакомых людей в общественных местах, и все же менее дома, чем в семейном кругу. Прежде чем достичь этой точки, необходимо было дождаться, пока Рим станет цивилизованным, а литература займет свое место, что произошло лишь в последнюю эпоху республики. И все же не стоит преувеличивать. То общество, которое тогда только зарождалось, порой кажется нам очень грубым. Катулл рассказывает, что на тех роскошных развлечениях, где читались такие прекрасные стихи, находились гости, которые воровали даже салфетки.^[192] Разговоры, которые они вели, часто были рискованными, если судить по некоторым эпиграммам великого поэта. Клодия, собравшая в своем доме этих умных людей, отличалась необычной эксцентричностью поведения. Изящные удовольствия, к которым стремится светская женщина, далеко не удовлетворяли ее, и в конце концов она впала в излишества, которые заставляли краснеть ее прежних друзей. Они сами, эти герои моды, чей хороший вкус превозносили на все лады, кто говорил с таким очарованием и слагал такие нежные стихи, вели себя не намного лучше ее и были не намного деликатнее. Им было в чем упрекнуть себя, пока длилась их связь с Клодией; когда же она закончилась, они совершили непростительную ошибку - не уважили прошлое и не проявили того внимания, которое всегда должно быть оказано женщине, которую когда-то любили. Катулл осыпал грубыми эпиграммами ту, которая вдохновляла его на лучшие стихи. Каэлий, ссылаясь на цену, которую платили самым мерзким куртизанкам, назвал ее в открытом суде "четверть аса" (*quadrantaria*), и этот жестокий эпитет прилип к ней. Мы видим, что этому обществу предстояло еще многое сделать; но оно сделает это быстро, благодаря монархии, которая вот-вот должна была начаться. Все изменилось с приходом Августа. При новом правительстве эти остатки грубости, напоминавшие о старой республике, исчезли; люди добились такого прогресса и стали такими привередливыми, что утонченные люди не замедлили посмеяться над Кальвом и Катуллом, а Плавт - над варваром. Они шлифуют и утончают себя, и в то же время становятся неумеренными. На галантную литературу распространяется придворный тон, и перемена происходит так внезапно, что для перехода от Катулла к Овидию потребовалось не более четверти века. Любовные отношения Клодии и Катулла закончились весьма печально. Клодия не гордилась своей верностью и слишком хорошо оправдывала своего любовника, когда он писал ей: "Обещания женщины должны быть доверены ветру или написаны на бегущей воде". Катулл, который знал, что его обманули, был зол на себя за то, что поддался на это. Он рассуждал с собой, укорял себя, но не вылечился. Несмотря на все усилия, которые он прилагал, чтобы обрести мужество, любовь оказалась сильнее. После мучительной борьбы, раздиравшей его сердце, он вернулся печальный и покорный к ногам той, которую не мог не презирать и которую все же продолжал любить. "Я люблю и ненавижу, сказал он; спросите меня, как это может быть, я не могу сказать; но я чувствую, что это так, и душа моя терзается". Столь сильные страдания и покорность мало тронули Клодию. Она все глубже погружалась в непонятные увлечения, и бедный поэт, не имевший больше надежды, был вынужден расстаться с ней навсегда. Разрыв между Клодией и Каэлием был куда более трагичным. Их любовным отношениям положил конец уголовный процесс. На этот раз Каэлий устал первым. Клодия, которая, как мы видели, обычно делала первый шаг, не привыкла к такому завершению своих любовных

отношений. Разгневанная тем, что ее бросили, она объединилась с врагами Каэлия, которых было немало, и обвинила его в нескольких преступлениях, в частности в том, что он пытался отравить ее. Надо признать, что это было очень печальное утро для очаровательных *праздников* в Байях! Судебный процесс, должно быть, был очень забавным, и мы можем поверить, что в тот день на Форуме не было недостатка в любопытных слушателях. Каэлий появился в сопровождении тех, кто был его защитником, другом и учителем, - богатых Красса и Цицерона. Они разделили между собой его защиту, и Цицерон специально взял на себя часть, касающуюся Клодии. И хотя в начале своей речи он заявил, что "не является врагом женщин, а тем более женщины, которая была другом всех мужчин", можно считать, что он не упустил такой удачной возможности отомстить за все то зло, которое причинила ему эта семья. В тот день Клодия пострадала за всю свою семью. Никогда еще Цицерон не был так резок и язвителен; судьи, должно быть, много смеялись, и Каэлий был оправдан.

В своей речи Цицерон торжественно пообещал, что его клиент изменит свое поведение. На самом деле ему уже давно пора было исправиться, слишком долго длилась его молодость. Ему было уже двадцать восемь лет, и ему действительно пора было подумать о том, чтобы стать эдилом или трибуном, если он хотел играть ту политическую роль, о которой мечтал его отец. Мы не знаем, стал ли он в дальнейшем неукоснительно выполнять все те обязательства, которые Цицерон возлагал на его имя; возможно, он избегал впредь компрометировать себя слишком откровенными скандалами, а может быть, неудачные похождения с Клодией излечили его от этих шумных приключений; но очень трудно предположить, что он стал аскетичным и жил по примеру старых римлян. Мы видим, что несколько лет спустя, когда он был эдилом и принимал участие в самых серьезных делах, он нашел время, чтобы узнать и повторить все скандальные истории Рима. Вот что он писал Цицерону, тогдашнему проконсулу Киликии

"Ничего нового не произошло, кроме нескольких маленьких приключений, о которых, я уверен, вам будет приятно услышать. Паула Валерия, сестра Триария, без всякой причины развелась со своим мужем в тот самый день, когда он должен был приехать из своей провинции; она собирается выйти замуж за Децима Брута. Неужели ты никогда не подозревал об этом? За время вашего отсутствия происходили невероятные вещи такого рода. Никто бы не поверил, что Сервий Оцелла - человек интриганский, если бы его не поймали на месте преступления дважды за три дня. Вы спросите, где? По правде говоря, это было там, где я не хотел бы этого,^[195] но я оставляю вам возможность поучиться у других. Мне приятно думать, что победоносный проконсул будет ходить и спрашивать всех, с какой женщиной был пойман мужчина".

Очевидно, тот, кто написал это занимательное письмо, никогда не был так основательно обращен в веру, как в это верит Цицерон, и мне кажется, что в остроумном человеке, так приятно рассказывающем об этих пустяковых интригах, мы все еще находим того безрассудного молодого человека, который так шумел на улицах Рима, и любовника Клодии. Мы можем без тени сомнения утверждать, что, хотя с этого момента его личная жизнь нам неизвестна, он никогда полностью не отказывался от распутства своей юности, и что, будучи магистратом и политиком, он до конца продолжал смешивать удовольствия с делами.

II.

Но Каэлий был не только героем любовных приключений и не довольствовался пустой честью задавать тон элегантности манер римской молодежи. Он обладал и более солидными качествами. Благодаря урокам Цицерона он быстро стал великим оратором. Через некоторое время после того, как он вырвался из-под этой почетной опеки, он сделал

блестящее начало в деле, в котором ему противостоял сам Цицерон, и на этот раз ученик победил мастера. После этого успеха его репутация продолжала расти. На Форуме были ораторы, которыми люди со вкусом восхищались больше и чьи дарования считали более совершенными; не было ни одного более страшного, чем он, - такова была жестокость его нападков и горечь его язвительности. Он превосходно умел уловить смешную сторону своих оппонентов и в очень немногих словах сделать те ироничные и резкие замечания в их адрес, которые никогда не забываются. Квинтилиан приводит одно из них в качестве образца, хорошо иллюстрирующего талант этого ужасного остроумца. В этом отрывке он говорит о том Антонии, который был коллегой Цицерона в его консульство и который, несмотря на все хвалебные отзывы, которыми его осыпают "Орации против Катилины", был всего лишь низким интриганом и грубым развратником. Разграбив, согласно обычаю, Македонию, которой он управлял, он напал на соседние племена, чтобы получить предлог для триумфа. Он рассчитывал на легкую победу, но так как он был больше занят своими удовольствиями, чем войной, то был бесславно побежден. Целий, напавший на него по возвращении, описал или, скорее, представил в своей речи одну из тех оргий, во время которых генерал, будучи мертвецки пьяным, позволил себе застать врасплох противника.

"Женщины, его простые офицеры, заполняют пиршественный зал, растянувшись на всех кушетках или валяясь на земле. Узнав, что пришел враг, полумертвые от страха, они пытаются разбудить Антония; они выкрикивают его имя, поднимают его за шею. Одни шепчут ему на ухо ласковые слова, другие обращаются с ним грубее и даже бьют его; но он, узнав их голоса и прикосновения, по привычке протягивает руки, хватает и хочет обнять первого встречного. Он не может ни заснуть, так сильно они кричат, чтобы разбудить его, ни проснуться, так сильно он пьян. Наконец, не в силах избавиться от этой дремоты, он уносится в объятия своих сотников и любовниц"

Когда человек обладает таким язвительным и острым талантом, для него естественно иметь агрессивный нрав; поэтому ничто не подходило Каллию лучше, чем личная борьба. Он любил и стремился к спорам, потому что был уверен в успехе, и потому что мог использовать те жестокие способы нападения, которым невозможно противостоять. Он хотел, чтобы ему противоречили, потому что противоречия возбуждали его и придавали ему энергию. Сенека рассказывает, что однажды один из клиентов Каэлия, человек спокойного нрава, который, несомненно, страдал от его грубости, ограничился во время трапезы тем, что согласился с ним. В конце концов Каэлий пришел в ярость от того, что тот не дал ему возможности рассердиться, и воскликнул: "Противоречь мне, чтобы нас было двое!" Таланты Каэлия, как я их только что описал, удивительно соответствовали времени, в котором он жил. Это полностью объясняет ту репутацию, которой он пользовался, и то важное положение, которое он занимал среди своих современников. Этот пламенный спорщик, этот безжалостный остроумец, этот яростный обвинитель был бы не совсем на своем месте в спокойные времена; но в разгар революции он стал ценным помощником, за которого боролись все партии. Кроме того, Каэлий был не только оратором, но и государственным деятелем, и именно за это Цицерон чаще всего его хвалит. "Я не знаю никого, - говорил он ему, - кто был бы лучшим политиком, чем ты". Он хорошо знал людей, ясно разбирался в ситуации; он быстро принимал решения - качество, которое Цицерон очень ценил в других, поскольку именно его ему больше всего не хватало, - и, приняв решение, он приступал к работе с энергией и силой, которые завоевывали ему симпатии толпы. В то время, когда власть принадлежала тем, кто был достаточно смел, чтобы захватить ее, дерзость Каэлия, казалось, обещала ему блестящее политическое будущее.

Тем не менее, у него были и большие недостатки, которые иногда проистекали из его очень хороших качеств. Он хорошо знал людей, что, несомненно, было большим преимуществом, но, изучая их, он больше всего поражался их плохим сторонам. Испытывая их во всех отношениях, его поразительная проницательность позволяла обнажить некоторые слабости. Он был суров не только к своим противникам; от его проницательного анализа не ускользнули и лучшие друзья. Из его частной переписки мы видим, что он знал все их недостатки и не церемонился, говоря о них. Долабелла, его товарищ по удовольствиям, - бедный болтун, "неспособный хранить тайну, даже если бы его неосторожность погубила его". Курио, его обычный соратник в политических интригах, "всего лишь непостоянный болтун, меняющийся при каждом дуновении ветра, который не может сделать ничего путного". Тем не менее, в то время, когда он обращается с ними таким образом, Курио и Долабелла имели на него достаточное влияние, чтобы привлечь его в партию Цезаря. Что касается самого Цезаря, то он отзывается о нем не лучше, хотя и готовится принять его дело. Этот сын Венеры, как он его называет, представляется ему "всего лишь эгоистом, который насмехается над интересами республики и заботится только о своих собственных", и он не стесняется признаться, что в его лагере, куда он, тем не менее, направляется, есть только бесчестные люди, "все из которых имеют причины для опасений в прошлом и преступные надежды на будущее". При таком расположении духа и склонности к суровому суждению о каждом, естественно, что Каллий не никому полностью доверять и никто не смел рассчитывать на него с уверенностью. Чтобы полезно служить какому-то делу, нужно полностью отдаться ему; а как это сделать, если не можешь немного закрыть глаза и не видеть слишком отчетливо его плохих сторон? Те осторожные и дальновидные люди, которые всецело поглощены страхом быть обманутыми и которые всегда так ясно видят недостатки других, никогда не бывают ничем иным, как слабыми друзьями и бесполезными союзниками. Хотя они не внушают доверия партии, которой хотят служить, поскольку всегда делают оговорки, служа ей, они не обладают достаточным энтузиазмом, чтобы самим создать партию, и всегда не дотягивают до той степени страсти, которая побуждает человека совершать великие дела. Поэтому, поскольку они не могут быть ни вождями, ни рядовыми, не могут ни привязаться к другим, ни привязать других к себе, в конце концов они оказываются в одиночестве.

Добавим, что Целлий, не питавший иллюзий относительно личностей, похоже, также не имел предпочтений в отношении партий. Он никогда не стремился к репутации принципиального человека, к порядку и последовательности в своей политической жизни. В этом, как и в личных делах, он жил от руки до рта. Обстоятельства момента, интерес или дружба давали ему случайные убеждения, которым он не претендовал на долгую верность. Он переходил от Цицерона к Катилине, когда Катилина казался ему сильнее; он возвращался к Цицерону, когда Цицерон побеждал. Он был другом Клодии до тех пор, пока оставался любовником Клодии; он бросил брата в то же время, что и сестру, и внезапно примкнул к партии Милона. Он несколько раз переходил от народа к сенату и от сената к народу, не испытывая ни угрызений, ни смущения. В сущности, дело, которому он служил, не имело для него большого значения, и ему не приходилось прилагать особых усилий, чтобы от него отвязаться. В то время, когда, казалось, он больше всего переживал из-за этого, он говорил о нем таким тоном, что люди могли предположить, что оно ему совершенно чуждо. Даже в самых серьезных делах, когда речь шла о судьбе республики, он, казалось, не предполагал, что она имеет к нему какое-то отношение и что он заинтересован в ее сохранности или гибели. "Это ваше дело, богатые старики" - говорил он. Но какое это имело для него значение? Поскольку он всегда разорен, ему никогда нечего терять. Поэтому все формы правления ему безразличны, и только любопытство заставляет его интересоваться этой борьбой, в которой он, тем не менее, играет столь активную роль. Если он с таким рвением

погружается в бурление общественной жизни, то это потому, что события и люди видны ему ближе, и можно высказать пикантные размышления или найти в них забавные сцены. Когда он с удивительной проницательностью сообщает Цицерону о приближающейся гражданской войне и грядущих несчастьях, то добавляет: "Если бы ты не рисковал, я бы сказал, что фортуна готовит для тебя великое и любопытное зрелище!" Жестокая речь, за которую Каэлий дорого заплатил впоследствии, ибо в эти смертельные игры не играют без опаски, и часто становятся жертвами, считая себя лишь зрителями.

Когда эта война, о которой он сообщил Цицерону, была на грани развязывания, Каэлий только что был назначен эдилом, и его главной заботой было заполучить несколько киликийских пантер для игр, которые он хотел устроить для народа. В это время, после того как он в большей или меньшей степени принадлежал ко всем партиям, он стал защищать дело сената, то есть, говоря о сенаторах, он говорил "наши друзья" и называл их "хорошими гражданами"; это не мешало ему, по его обычаю, открыто видеть недостатки, которые могли совершить "хорошие граждане", и горько насмеяться над своими "друзьями", когда представлялась такая возможность. Цицерон считал его холодным и нерешительным; он хотел бы, чтобы тот крепче привязался к нему. Во время его отъезда в Киликию он не переставал превозносить перед ним великие качества Помпея: "Поверь мне, сказал он, доверься этому великому человеку, он с радостью примет тебя". Но Каэлий позаботился о том, чтобы не делать ничего подобного. Он знал Помпея, сатирические портреты которого он рисовал по разным поводам; он не очень-то восхищался им, да и вообще не любил его. Если он держался в стороне от него в период его наибольшего могущества, то, как мы можем понять, не бросился бы в его объятия, когда это могущество оказалось под угрозой. По мере приближения кризиса, который он предвидел, он все больше старался держать себя в руках и выжидал поворота событий.

Кроме того, это было время, когда самые благородные колебались. Эта нерешительность, которая, кажется, не вызывала удивления в то время, вызывает много нареканий в наши дни. Однако это легко понять. Вопросы не предстают перед глазами современников с той же ясностью, что и перед глазами потомков. Когда на них смотрят издали и с умом, свободным от всяких предрассудков; когда, кроме того, результаты и причины воспринимаются одновременно и когда мы можем судить о причинах по результатам, нет ничего проще, чем прийти к решению; но это не так, когда человек живет в гуще событий и слишком близко к ним, чтобы охватить все целиком, когда на его разум влияют прежние связи или личные предпочтения и когда решение, которое он собирается принять, может поставить под угрозу его безопасность и состояние. В таком случае невозможно видеть все так ясно. Состояние анархии, в котором находились старые партии Римской республики, добавляло путаницы в то время. По правде говоря, это были уже не партии, а коалиции. В течение пятидесяти лет они боролись не за принципиальные, а за личные вопросы. Партии больше не были организованы, как прежде, поэтому робкие умы, которые должны были привязываться к древним традициям, чтобы руководствоваться ими, дрейфовали и часто менялись. Эти разительные перемены во мнениях почтенных и уважаемых людей тревожили менее оседлые умы и затрудняли определение правоты. Цезарь, знавший об этих колебаниях и надеявшийся извлечь из них выгоду, делал все возможное, чтобы усилить их причины. В тот самый момент, когда он готовился разрушить конституцию своей страны, у него хватило искусства создать впечатление, что он уважает ее больше, чем кто-либо другой. Знаток этих дел, досконально знающий римские законы, после тщательного изучения заявил, что закон был на стороне Цезаря, а жалобы, на которые он жаловался, были вполне обоснованными.^[207] Тогда он старался не раскрывать всех своих проектов и не говорить с такой свободой, как потом, когда стал хозяином. Иногда он представлял себя преемником

Граков и защитником народных прав; иногда, чтобы успокоить всех, говорил, что республика не заинтересована в этом споре, и сводил ссору к борьбе за влияние между двумя могущественными соперниками. Собирая свои легионы в городах Верхней Италии, он говорил только о своем желании сохранить общественный мир; по мере того как его враги становились более жестокими, он становился более умеренным и никогда не предлагал настолько приемлемых условий, как в случае, когда был уверен, что сенат их не выслушает. С другой стороны, напротив, в лагере, где должны быть умеренные и мудрые люди, не было ничего, кроме опрометчивости и глупости. К тем, кто проявлял хоть какое-то отвращение к гражданской войне, относились как к врагам общества; говорили только о проскрипциях и конфискациях, и пример Суллы был у всех на устах. Странное противоречие: именно в том лагере, где отстаивали свободу, настойчивее всего требовали исключительных мер; и если человек, который ожидал от войны всего, и чья армия была готова, предлагал мир, то те, у кого не было ни одного солдата под оружием, охотно отказывались от него. Таким образом, обе стороны обменивались характерами, и каждая, казалось, говорила и действовала вопреки своим интересам или принципам. Стоит ли удивляться, что среди такой неясности, среди стольких причин для колебаний такие почтенные люди, как Сульпиций и Цицерон, преданные своей стране, но более подходящие для служения ей в спокойные времена, чем в эти бурные кризисы, не приняли решение сразу?

Каэлий тоже колебался, но не по тем же причинам, что Цицерон и Сульпиций. В то время как они с тревогой спрашивали себя, где право, Целий искал только, где превосходящая сила. Он сам признавал это с необыкновенной откровенностью: "В междоусобных ссорах, - пишет он Цицерону, - пока человек борется законными средствами, не прибегая к оружию, следует примыкать к наиболее почетной партии; но когда дело доходит до войны, необходимо повернуться лицом к более сильному и считать лучшей партией наиболее безопасную." С того момента, как он удовлетворился простым сравнением силы двух соперников, его выбор стал проще; чтобы принять решение, достаточно было открыть глаза. На одной стороне было одиннадцать легионов, поддержанных испытанными вспомогательными войсками, под командованием величайшего полководца республики, стоявших на границах и готовых начать кампанию по первому сигналу;^[209] на другой мало или совсем нет обученных войск, зато много молодых людей из знатных семей, столь же неспособных командовать, сколь и не склонных подчиняться, и много тех великих имен, которые больше делают честь партии, чем помогают ей; С одной стороны, военные правила и дисциплина лагеря; с другой - ссоры, споры, обиды, соперничество властей, разногласия, словом, все неудобства гражданской жизни, перенесенные в лагерь. Это обычные трудности партии, претендующей на защиту свободы, ведь трудно навязать молчание людям, которые борются за сохранение права на свободу слова, а любая власть быстро становится подозрительной, когда люди берутся за оружие, чтобы противостоять злоупотреблению властью. Но именно характер двух вождей, как ничто другое, стал решающим фактором в противостоянии двух партий. Цезарь казался всему миру, даже своим самым большим врагам, вундеркиндом, обладающим активностью и прозорливостью. Что касается Помпея, то было ясно, что он совершает одни лишь проступки, и объяснить его поведение тогда было не легче, чем сейчас. Война не застала его врасплох; он сказал Цицерону, что давно предвидел ее.^[210] Предвидеть ее не составляло большого труда, он, казалось, желал ее; предложения Цезаря были отвергнуты по его совету, и большинство сената ничего не предпринимало, не посоветовавшись с ним. Значит, он видел приближение кризиса издали, и в течение всей этой долгой дипломатической войны, предшествовавшей реальным боевым действиям, у него было время, необходимое для подготовки. Поэтому все считали, что он готов, хотя ничто не свидетельствовало об этом. Когда он со свойственной ему хвастливостью говорил, что ему достаточно лишь топнуть ногой, чтобы поднять легионы, предполагалось, что он говорит о тайных сборах, или о

союзах, о которых не было известно, которые в последний момент приведут ему войска. Его уверенность возвращала мужество самым испуганным. По правде говоря, такая странная уверенность в себе посреди такой реальной опасности у человека, который завоевывал царства и вел великие дела, недоступна нашему пониманию.

Откуда же взялась эта уверенность у Помпея? Не имел ли он точных сведений о силах своего врага? Действительно ли он верил, как он говорил, что его войска недовольны, его генералы неверны и что никто не пойдет за ним в войне, которую он собирался вести против своей страны? Или он полагался на удачу своих прежних лет, на престиж своего имени, на счастливые случайности, которые дали ему так много побед? Несомненно, что в тот момент, когда ветераны Алезии и Герговии собирались в Равенне и подходили к Рубикону, Помпей неосмотрительно выказал большое презрение к полководцу и его войскам, *vehementer contemnebat hunc hominem!*^[211] Но это глупое хвастовство продолжалось недолго; при известии, что Цезарь решительно идет на Рим, оно сразу же прекратилось, и тот самый человек, которого Цицерон только что показал нам презирающим своего соперника и предсказывающим ему поражение, он показывает нам через несколько дней, испуганным и бегущим в глубь Апулии, не смея нигде остановиться или встать на ноги. У нас есть письмо, которое Помпей написал консулам и Домицию, пытавшемуся хотя бы продержаться в Корфиниуме: "Знайте, говорит он им, что я в большом беспокойстве (*scitote me esse in summa sollicitudine*)".^[212] Какой контраст с самоуверенными словами, сказанными только что! Это просто тон человека, который, проснувшись от преувеличенных надежд, внезапно переходит из одной крайности в другую. Он ничего не подготовил, потому что был слишком уверен в успехе; он не осмелился ничего предпринять, потому что был слишком уверен в неудаче. Он ни на кого не верит и ни на кого не надеется; всякое сопротивление кажется ему бесполезным; он даже не рассчитывает на пробуждение патриотического духа, и ему не приходит в голову обратиться с призывом к республиканской молодежи итальянских муниципалитетов. На каждый шаг, который делает его враг, он отступает еще дальше. Сам Брундизий с его крепкими стенами не вселяет в него уверенности; он подумывает о том, чтобы покинуть Италию, и не верит, что будет в безопасности, пока не поставит море между собой и Цезарем.

Каэлий не ждал так долго, чтобы принять чью-то сторону. Еще до начала борьбы ему было ясно, где находится перевес сил и на чьей стороне будет победа. Тогда он смело выступил и поставил себя в первые ряды друзей Цезаря. Он открыто встал на его сторону, когда со свойственной ему энергией поддержал предложение Калидия, требовавшего, чтобы Помпея отправили обратно в его провинцию Испанию. Когда надежда на мир была окончательно потеряна, он покинул Рим вместе со своими друзьями Курионом и Долабеллой и отправился к Цезарю в Равенну. Он следовал за ним во время его триумфального шествия по Италии; он видел, как тот помиловал Домиция, взятого в Корфиниуме, преследовал Помпея и крепко запер его в Брундизиуме. В опьянении от этих стремительных успехов он писал Цицерону: "Видел ли ты когда-нибудь человека глупее твоего Помпея, который вверг нас в такие большие беды и чье поведение так ребячливо? С другой стороны, читал ли ты когда-нибудь или слышал о чем-нибудь, что превосходило бы пылкость Цезаря в действиях и его умеренность в победах? Что вы думаете о наших солдатах, которые в разгар зимы, несмотря на трудности дикой и замерзшей страны, закончили войну в беспрепятственном походе?"

Когда Каэлий принял решение, его единственной мыслью было увлечь Цицерона за собой. Он знал, что не сможет сделать ничего более приятного для Цезаря. Цезарь, который не заблуждался относительно тех, кто ему служил, чувствовал, что ему нужно несколько честных людей, чтобы придать своей партии лучший вид. Великое имя Цицерона должно

было исправить то плохое впечатление, которое производил его характер. К сожалению, добиться от Цицерона решения было очень трудно. Со дня перехода Рубикона и до взятия Брундизия он колебался и менял свое мнение каждый день. Обе стороны одинаково стремились заполучить его, и оба вождя сами подходили к этому вопросу, но совершенно по-разному. Помпей, всегда неуклюжий, писал ему короткие и властные письма: "Как можно скорее отправляйся по Аппиевой дороге, приезжай ко мне в Луцерию, в Брундизий, там ты будешь в безопасности". Станный язык у побежденного, который упорно продолжает говорить как начальник! Цезарь был гораздо более благоразумен: "Приди, говорит он ему, приди и помоги мне своим советом, своим именем и своей славой!" Это соображение, эти авансы от победоносного полководца, который смиренно просил, когда имел право командовать, не могли не повлиять на Цицерона. В то же время, чтобы быть более уверенным в его победе, Цезарь заставил своих самых дорогих друзей написать ему, Оппия, Бальбуса, Требация и особенно Казелия, который так хорошо знал, как к нему подступиться. Они нападали на него сразу со всех его слабых сторон; они возрождали его старые обиды на Помпея; они трогали его картинами несчастий, угрожавших его семье; они возбуждали его тщеславие, указывая ему на честь примирить партии и умиротворить республику.

Столько нападков должны были закончиться тем, что поколебали столь нерешительный ум. В последний момент он решил остаться Италии, в каком-нибудь уединенном загородном доме или в нейтральном городе, жить в стороне от государственных дел, не вступая ни с кем в союз, но проповедуя всем умеренность и мир. Он уже начал писать красноречивый трактат о мире между гражданами; он хотел закончить его на досуге, и, поскольку он был хорошего мнения о своем красноречии, он надеялся, что это заставит самых упрямых сложить оружие. Несомненно, это была пустая фантазия; но не стоит забывать, что Катон, который вне подозрений, сожалел, что Цицерон так скоро отказался от своего плана. Он упрекал его за то, что тот отправился в Фарсалию, где его присутствие не слишком помогло бы сражающимся, в то время как, оставаясь нейтральным, он мог бы сохранить свое влияние на двух соперников и служить посредником между ними. Но один-единственный день перечеркнул все эти прекрасные проекты. Когда Помпей покинул Брундизий, где, по его мнению, он не был в безопасности, и отплыл в Грецию, Цезарь, рассчитывавший этой новостью удержать Цицерона, поспешил передать ее ему. Именно это заставило его изменить свое решение. Он не принадлежал к тем людям, которые, подобно Каллию, поворачивают вместе с фортуной и решают, что им удастся. Напротив, он почувствовал влечение к Помпею, как только увидел его несчастным. "Я никогда не желал разделить его благополучие, говорил он; я мог бы пожелать разделить его несчастье!" Когда он узнал, что республиканская армия ушла, а с ней почти все его старые политические друзья; когда он почувствовал, что на итальянской земле больше нет ни магистратов, ни консулов, ни сената, его охватила глубокая скорбь; казалось, что вокруг него пустота и что само солнце, по его выражению, исчезло из мира. Многие приходили поздравить его с благоразумием, но он упрекал себя в том, что это преступление. Он горько обвинял свою слабость, свой возраст, свою любовь к отдыху и покою. У него была только одна мысль - как можно скорее уехать. "Я не могу поддержать свое сожаление, - говорил он, - мои книги, мои занятия, моя философия мне ни к чему. Я как птица, которая хочет улететь, и всегда смотрю в сторону моря".

С этого времени его решение было принято. Целий тщетно пытался удержать его в последний момент трогательным письмом, в котором говорил ему о возможной потере состояния и об опасности поставить под угрозу будущее сына. Цицерон, хотя и был очень тронут, ответил с несвойственной ему твердостью: "Я рад, что ты так беспокоишься о моем сыне; но если республика сохранится, он всегда будет достаточно богат благодаря имени своего отца; если же она погибнет, его постигнет общая участь всех граждан". И вскоре после

этого он пересек море, чтобы отправиться в лагерь Помпея. Не то чтобы он рассчитывал на успех; присоединяясь к партии, слабости которой были ему хорошо известны, он прекрасно понимал, что добровольно идет на свою долю в катастрофе. "Я иду, - говорил он, - как Амфиарай, чтобы живым броситься в пропасть" Это была жертва, которую он считал нужным принести ради своей страны, и следует отдать ему должное тем больше, что он сделал это без иллюзий и без надежды.

В то время как Цицерон отправился к Помпею, Целий сопровождал Цезаря в Испанию. Отныне все отношения между ними стали невозможными, поэтому их переписка, которая до этого была очень активной, с этого момента прекращается. Осталось, однако, одно письмо, последнее, которое было между ними, и которое составляет странный контраст с предыдущими. Целий обратился с ним к Цицерону через несколько месяцев после событий, о которых я только что говорил, но при совершенно других обстоятельствах. Хотя до нас она дошла в сильно изуродованном виде, и восстановить смысл всех фраз нелегко, мы ясно видим, что автор был жертвой сильного раздражения. Этот ревностный приверженец Цезаря, стремившийся обратить других в свою веру, внезапно превратился в яростного врага; дело, которое он недавно защищал с такой горячностью, он теперь называет лишь отвратительным и считает, что "лучше умереть, чем остаться на этой стороне" Что же произошло за это время? Какие мотивы побудили Целия к этой последней перемене и каков ее результат? Хорошо бы рассказать об этом, ибо повествование может пролить свет на политику диктатора, а главное - познакомить нас с теми, кто был рядом с ним.

III.

В своем трактате "De Amicitia" Цицерон утверждает, что у тирана не может быть друзей.^[221] Говоря так, он имел в виду Цезаря, и надо признать, что этот пример, похоже, оправдывает его. В придворных нет недостатка, когда человек - хозяин, и у Цезаря, который хорошо им платил, их было больше, чем у кого-либо другого, но мы почти не знаем искренних и преданных друзей. Возможно, у него были некоторые из тех безвестных слуг, память о которых история не сохранила,^[222] но никто из тех, кого он поставил в первый ряд и кого он пригласил разделить с ним удачу, не остался ему верен. Его либеральность принесла ему лишь неблагодарность, его милость никого не обезоружила, и его предали те, кому он оказал наибольшую благосклонность. Только его солдаты могут называться его друзьями, те ветераны, которые остались после великих галльских войн; его центурионы, которых он знал по именам и которые храбро убивали себя за него на его глазах: тот Скаэва, который при Диррахии пронзил свой щит двумястами тридцатью стрелами;^[223] тот Крастин, который сказал ему утром в Фарсалии: "Сегодня вечером ты будешь благодарить меня живым или мертвым". Эти люди служили ему верой и правдой, он знал их и полагался на них; но он хорошо знал, что не может доверять своим генералам. Хотя он осыпал их деньгами и почестями после своих побед, они были недовольны. Некоторые из них, причем самые почетные, с горечью думали о том, что разрушили республику и пролили свою кровь ради установления абсолютной власти. Большее число не испытывало подобных угрызений совести, но все считали свои заслуги плохо вознагражденными. Либеральность Цезаря, как бы велика она ни была, не удовлетворила их. Им была передана республика, они были преторами и консулами, управляли самыми богатыми провинциями, и все же они не переставали жаловаться. Все служило им поводом для ропота. Антоний получил дом Помпея по низкой цене; когда пришли за деньгами, он пришел в ярость и расплатился только оскорблениями. Несомненно, в тот день он подумал, что они не уважают его, и назвал Цезаря неблагодарным. Нередко воины, столь храбрые перед врагом и достойные восхищения в день битвы, в частной жизни вновь становились вульгарно честолюбивыми,

полными неизменной зависти и ненасытной жадности. Они начали с ропота и жалоб; почти все они закончили предательством. Среди тех, кто убил Цезаря, были, возможно, его лучшие генералы: Сульпиций Гальба, покоритель Нантуатов, Базилий, один из самых блестящих его кавалерийских офицеров, Децим Брут и Требоний, герои осады Марселя. Те, кто не участвовал в заговоре, вели себя в тот день ничуть не лучше. Когда мы читаем у Плутарха рассказ о смерти Цезаря, сердце кровью обливается при виде того, что никто не попытался его защитить. Заговорщиков было всего около шестидесяти человек, а сенаторов - более восьмисот. Большинство из них служили в его армии; все были обязаны ему честью заседать в курии, которой они не были достойны, и эти несчастные, которые держали от него свое состояние и свое достоинство, которые молили его о защите и жили на его милости, видели, как его убивают, не говоря ни слова. Все время, пока длилась эта ужасная борьба, пока, "как зверь, на которого напали охотники, он боролся с занесенными против него мечами", они неподвижно сидели на своих местах, и все их мужество заключалось в том, что они разбежались, когда Брут, лежавший рядом с истекающим кровью трупом, попытался заговорить. Цицерон вспомнил эту сцену, свидетелем которой он был, сказав позже: "Именно в тот день, когда падают угнетатели своей страны, мы ясно видим, что у них нет друзей".

Когда генералы Цезаря, у которых было столько мотивов хранить ему верность, предали его, мог ли он рассчитывать еще на тех сомнительных союзников, которых он набрал на Форуме и которые, прежде чем служить ему, служили всем партиям? Для осуществления своих замыслов он нуждался в политиках; чтобы новое правительство не выглядело полностью военным, ему требовалось как можно большее их число. Поэтому он не брезговал ничем, брал их без отбора. К нему приходили по преимуществу бесчестные люди из всех партий. Он принимал их хорошо, хотя и мало ценил, и повсюду возил их с собой в своем обозе. Цицерон очень боялся их, когда Цезарь приехал с ними к нему в Формию: "Во всей Италии нет ни одного негодяя, - говорил он, - который не бы с ним", а Атик, обычно столь сдержанный, не мог не назвать эту свиту адским отрядом.^[227] Как бы мы ни привыкли к тому, что инициативу в подобных революциях берут на себя люди, которым нечего терять, есть основания удивляться, что Цезарь не нашел несколько более почетных союзников. Даже те, кто настроен против него, вынуждены признать, что многое из того, что он хотел уничтожить, не заслуживало сохранения. Задуманная им революция имела глубокие причины, и вполне естественно, что у нее должны были быть и искренние сторонники. Как же случилось, что среди тех, кто помогал ему сменить правительство, на которое многие жаловались и от которого все страдали, так мало тех, кто, кажется, действовал по убеждению, и что почти все, напротив, лишь платные заговорщики, работающие без искренности на человека, которого они не любят, и ради цели, которую они считают плохой?

Возможно, мы должны объяснить состав партии Цезаря теми средствами, которые он обычно использовал для ее комплектования. Мы не видим, чтобы, желая привлечь кого-либо на свою сторону, он терял время, доказывая ему недостатки старого правительства и достоинства того, которым он хотел его заменить. Он использовал более простые и надежные аргументы: он платил. Это свидетельствовало о том, что он хорошо знал людей своего времени и не обманывался, думая, что в обществе, полностью отданном роскоши и удовольствиям, ослабленные убеждения оставляют место только для корысти. Тогда он без зазрения совести организовал огромную систему коррупции. Галлия предоставила ему средства. Он грабил ее так же энергично, как и завоевывал, "захватывая, - говорит Суетоний, - все, что находил в храмах богов, и беря города штурмом, не столько для того, чтобы наказать их, сколько для того, чтобы иметь предлог для грабежа". На эти деньги он создал себе сторонников. Те, кто приходил к нему, никогда не уходили с пустыми руками. Он даже не

пренебрегал подарками рабам и вольноотпущенникам, имевшим хоть какое-то влияние на своих хозяев. Пока он отсутствовал в Риме, ловкий испанец Бальбус и банкир Оппий, которые были его агентами, раздавали щедроты от его имени; они незаметно помогали смущенным сенаторам; они становились казначеями молодых людей из высокой семьи, которые исчерпали отцовские ресурсы. Они ссужали деньги без процентов, но услуги, которыми они должны были возвращать займы, были хорошо известны каждому. Так они купили Курио, который назначил себе высокую цену: он задолжал более 60 000 000 сестерций (480 000 фунтов стерлингов). Каэлий и Долабелла, чьи дела были не в лучшем состоянии, вероятно, были приобретены тем же способом. Никогда еще коррупция не осуществлялась в больших масштабах и не проявлялась с большей наглостью. Почти каждый год зимой Цезарь возвращался в Цизальпинскую Галлию с сокровищами галлов. Тогда открывался рынок, и на него одна за другой прибывали великие особы. Однажды в Лукке их собралось сразу столько, что в апартаментах насчитали двести сенаторов, а у дверей - сто двадцать ликторов.

В общем, верность купленных людей длится не дольше, чем получаемые ими деньги; теперь же в их руках деньги долго не живут, и в тот день, когда надоест обеспечивать их расточительность, придется начать им не доверять. Кроме того, в случае всех этих политических друзей Цезаря была особая причина, по которой в тот или иной день они должны были стать недовольными. Они выросли среди бурь республики; они рано включились в эту активную и суетливую жизнь и приобрели к ней вкус. Никто так, как они, не пользовался свободой слова и не злоупотреблял ею; ей они были обязаны своим влиянием, властью и славой. По странному стечению обстоятельств, эти люди, всеми силами стремившиеся к установлению абсолютного правительства, были теми, кто меньше всего мог обойтись без борьбы в общественной жизни, суматохи в бизнесе и волнения на трибуне, то есть без всего того, что существует только при свободных правительствах. Не было людей, которым деспотическая власть показалась бы более обременительной, чем тем, кто не смог выдержать даже легкого и справедливого ига закона. Поэтому они не сразу поняли, какую ошибку совершили. Вскоре они поняли, что, помогая господину уничтожить свободу других, они тем самым лишали себя свободы. В то же время им было легко понять, что новое правительство, которое они создали своими руками, не могло дать им того, что давало старое. Что, в сущности, значили те достоинства и те почести, которыми их якобы награждали, когда реальной властью обладал один человек? Несомненно, преторы и консулы еще существовали; но какое сравнение может быть между этими магистратами, зависящими от одного человека, подчиненными его капризам, подчиненными его власти, заслоненными и, как бы, уничтоженными его славой, и магистратами старой республики? Так неизбежно возникают ошибки, сожаления, а зачастую и предательства. Вот почему те союзники, которых Цезарь набрал в различных политических партиях, оказавшись очень полезными для него, в конце концов доставили ему большие неприятности. Ни один из этих беспокойных и неподатливых умов, недисциплинированных по природе и привычке, не согласился подчиниться дисциплине и не смирился с покорностью. Как только они переставали находиться под присмотром хозяина и сдерживаться его властной рукой, старые инстинкты брали верх; при первой же возможности они снова принимались бунтовать, как прежде, и, хотя Рим был умиротворен абсолютной властью, беспорядки возобновлялись каждый раз, когда Цезарь отсутствовал. Таким образом, Каллий, Долабелла и Антоний нарушили общественное спокойствие, которое им было поручено поддерживать. Курий, глава той молодежи, которая сплотилась вокруг нового правительства, умер слишком рано, чтобы успеть проявить недовольство; но мы можем предположить, исходя из легкой и легкомысленной манеры, в которой он уже говорил о Цезаре в своих частных беседах, из

небольшой степени иллюзии, которую он, казалось, имел в себе, что он действовал бы, как и остальные.^[229]

Теперь легко понять, какие причины были у Целия для жалоб и как то честолюбие, которое не удовлетворялось достоинствами старой республики, наконец-то оказалось не в своей тарелке при новом правительстве. Странное письмо, которое он написал Цицерону, и объявление войны, которое он сделал Цезарю и его партии, теперь объяснимы. Он рано стал недовольным. С самого начала гражданской войны, когда его поздравляли с успехом его партии, он мрачно отвечал: "Что мне до той славы, которая никогда не дойдет до меня?" На самом деле он начинал понимать, что в новом правительстве есть место только для одного человека и что только он один в будущем будет обладать не только славой, но и властью. Цезарь взял его с собой в экспедицию в Испанию, не дав ему, судя по всему, возможности отличиться. По возвращении в Рим он был назначен претором, но не получил городского преторства, которое было самым почетным, и ему предпочли Требония. Это предпочтение, которое он расценил как оскорбление, вызвало у него сильное раздражение. Он решил отомстить и только ждал удобного случая. Он решил, что он настал, когда увидел, что Цезарь отправился со всеми своими войсками в Фессалию, преследуя Помпея. Он думал, что в отсутствие диктатора и его солдат, в разгар волнения в Италии, где циркулировала тысяча противоречивых слухов о результатах борьбы, он сможет нанести решающий удар. Момент был выбран удачно; но еще лучше был выбран вопрос, по которому Целий решил начать борьбу. Ничто не делает большего чести его политическим способностям, чем то, что он так ясно различил слабые стороны победившей партии и с первого взгляда определил наилучшую позицию, которую можно занять для успешного нападения на нее.

Хотя Цезарь был хозяином Рима и Италии, и было видно, что республиканская армия его не остановит, ему еще предстояло преодолеть большие трудности. Целий хорошо знал это; он хорошо знал, что в политической борьбе успех часто является испытанием, полным опасностей. После победы над врагом нужно позаботиться о собственных друзьях, и эта задача часто бывает нелегкой. Необходимо противостоять той жадности, которую до сих пор терпели или даже поощряли, когда время для ее удовлетворения казалось далеким; необходимо, прежде всего, защищаться от преувеличенных надежд, которые победа порождает в тех, кто ее одержал, и которые пока не могут быть реализованы. Обычно, когда принадлежишь к слабой партии и хочешь приобрести приверженцев, не жалеют обещаний; но когда достигаешь власти, очень трудно выполнить все взятые на себя обязательства, и те прекрасные программы, которые были приняты и разбросаны по всему миру, становятся потом источником больших неудобств. Цезарь был признанным вождем демократической партии; отсюда и его сила. Мы помним, что, вступая в Италию, он говорил, что пришел восстановить свободу республики, поработанной горсткой аристократов. Демократическая партия, представителем которой он себя провозгласил, уже имела готовую программу. Она была не совсем такой, как у Гракхов. После столетия зачастую кровавой борьбы ненависть стала ядовитой, а бессмысленное сопротивление аристократии сделало народ более требовательным. Каждый из вождей, которые, начиная с Кая Гракха, становились во главе народа, формулировал для него какое-то новое требование, которое непременно должно было увлечь его за собой. Клодий стремился установить неограниченное право на объединение и управление республикой тайными обществами. Катилин обещал конфискации и грабежи, поэтому память о нем осталась очень популярной. Цицерон рассказывает о погребальных банкетах, которые устраивались в его честь, и о цветах,

которыми была усыпана его могила.^[231] Цезарь, представившийся их преемником, не мог полностью отречься от их наследия; он должен был пообещать, что завершит их дело и удовлетворит желания демократии. В данный момент демократию, похоже, мало волновали политические реформы; ей нужна была социальная революция. Кормиться в праздности за счет государства путем безвозмездных раздач, очень часто повторяющихся; присвоить лучшие земли союзников, направив колонии в самые богатые итальянские города; прийти к своего рода разделу имущества под предлогом возвращения аристократии присвоенного ею общественного достояния - такова была обычная идея плебеев; Но самым настоятельным требованием, ставшим лозунгом всей этой партии, была отмена долгов, или, как они говорили, уничтожение реестров кредиторов (*tabulae novae*), то есть санкционированное нарушение общественной веры и всеобщее банкротство, установленное законом. Эту программу, как бы жестока она ни была, Цезарь готов был принять, провозгласив себя главой демократии. Пока борьба была сомнительной, он старался не делать никаких оговорок, боясь ослабить свою партию расколом. Поэтому считалось, что как только одержит победу, он приступит к ее осуществлению.

Но Цезарь пришел не только разрушить правительство, он хотел основать другое, а он хорошо знал, что на разграблении и банкротстве не может быть основано ничего прочного. После того как он без зазрения совести использовал программу демократии для свержения республики, он понял, что ему придется взять на себя новую роль. В тот день, когда он стал хозяином Рима, инстинкт государственного деятеля и интересы государя сделали его консерватором. Хотя он протягивал руку умеренным людям из старых партий, он не стеснялся часто возвращаться к традициям старого правительства.

Несомненно, что деятельность Цезаря, если брать ее в целом, далека от революционной; некоторые из его законов Цицерон восхвалял после мартовских ид, что равносильно тому, чтобы сказать, что они не соответствовали желаниям и надеждам демократии. Он отправил восемьдесят тысяч бедных граждан в колонии, но за море, в Африку и Грецию. Ему не пришло в голову полностью отменить пожертвования, которые государство делало гражданам Рима, но он уменьшил их. Вместо трехсот двадцати тысяч граждан, которые участвовали в них при республике, он допустил только сто пятьдесят тысяч; он приказал, чтобы это число не превышалось и чтобы каждый год претор заполнял место тех лиц, которые в течение года умерли, получив привилегию бедности. Не изменив ничего в запретительных правилах, действовавших при республике, он установил пошлины на ввоз иностранных товаров. Он издал закон о роскоши, гораздо более суровый, чем предыдущие, который подробно регламентировал, как люди должны одеваться и жить, и привел его в исполнение с тиранической строгостью. Рынки охранялись солдатами, чтобы не продать ничего, что запрещено законом, а солдаты имели право входить в дома и изымать запрещенные продукты даже на столах. Цезарь принял эти меры, которые препятствовали торговле и промышленности, а значит, вредили интересам народа, исходя из традиций аристократических правительств. Поэтому они не могли быть популярными; но ограничение, которое он наложил на право собраний, было еще менее популярным. Это право, за которое демократия цеплялась больше, чем за любое другое, соблюдалось до последних дней республики, и трибун Клодий умело использовал его для устрашения сената и террора на Форуме. Под предлогом почитания божеств-покровителей каждого перекрестка были созданы ассоциации районов (*collegia compitalicia*), в которые входили бедные граждане и рабы. Начав с религиозных, эти общества вскоре стали политическими. Во времена Хлодия они составили своего рода регулярную армию демократии и сыграли ту же роль в беспорядках в Риме, что и "секции" в 93 году у нас. Наряду с этими постоянными объединениями и по тому же образцу создавались временные объединения, возникавшие

каждый раз, когда проходили большие выборы. Народ записывался по округам, делился на декурии и столетия; назначались вожди, которые вели его голосовать в военном порядке; а так как в целом народ не отдавал свои голоса просто так, то заранее назначался важный человек по имени *секвестр*, в руки которого вкладывалась обещанная кандидатом сумма, а распределителям (*divisores*) поручалось после голосования разделить ее между каждым племенем. Именно так осуществлялось всеобщее избирательное право в Риме к концу республики, и таким образом эта раса, от природы склонная к дисциплине, сумела придать беспорядку организованность. Цезарь, который часто пользовался этими тайными ассоциациями, который с их помощью управлял выборами и доминировал в обсуждениях на Форуме, не стал больше терпеть их, когда в них отпала необходимость. Он считал, что регулярное правительство не продержится долго, если он позволит этому подпольному правительству работать рядом с ним. Тогда он не отказался от суровых мер, чтобы избавиться от этого организованного беспорядка. К большому огорчению своих друзей, он одним махом подавил все политические общества, позволив продолжать существование лишь самым древним, не представлявшим никакой опасности.

Это были решительные меры, которые должны были оскорбить многих людей; поэтому он решился на них только после Мунды и Фапса, когда его авторитет уже не оспаривался и он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы противостоять демократии, своему древнему союзнику. Отправляясь в Фарсалию, он должен был соблюдать большую осторожность; благоразумие подсказывало ему, что не стоит расстраивать друзей, в то время как врагов осталось так много. Кроме того, существовали некоторые вопросы, которые нельзя было откладывать, настолько они были важны в глазах демократии, что требовали немедленного решения. Одним из главных среди них была отмена долгов. Цезарь обратил на него внимание сразу же по возвращении из Испании; но и здесь, несмотря на трудности своего положения, он не был столь радикален, как от него ожидали. Оказавшись между своими консервативными инстинктами и требованиями друзей, он выбрал средний путь: вместо того чтобы полностью отменить долги, он довольствовался их сокращением. Во-первых, он приказал вычесть из капитальных сумм все суммы, выплаченные до этого времени в качестве процентов; затем, чтобы облегчить выплату уменьшенной суммы, он постановил, что имущество должников должно быть оценено арбитрами; они должны оценить его не по нынешней стоимости, а по той, которую оно имело до гражданской войны, и что кредиторы должны быть обязаны взять его по этой ставке. Суетоний говорит, что таким образом долги были сокращены более чем на одну четвертую часть. Эти меры, конечно, все еще кажутся нам достаточно революционными. Мы не можем одобрить такое вмешательство власти, чтобы без причины лишить частных лиц части их богатства, и ничто не может показаться нам более несправедливым, чем то, что сам закон должен аннулировать договоры, которые были поставлены под его защиту; но в то время эффект, произведенный на умы людей, был совсем другим. Кредиторы, опасавшиеся, что им ничего не достанется, считали, что им очень повезло, что они не потеряли все, а должники, рассчитывавшие на полное освобождение, горько сетовали на то, что от них все еще требовали частичной оплаты. Отсюда разочарование и ропот. "В данный момент, - писал Целий, - за исключением нескольких ростовщиков, все стадо - помпеянцы"

Это была хорошая возможность для такого тайного врага, как Каэлий. Он поспешил воспользоваться им и воспользоваться недовольством, которое он явно ощущал. Его тактика была смелой. План, который он разработал, состоял в том, чтобы взять на себя этот характер передового демократа, или, как бы мы сказали сейчас, социалиста, который Цезарь отверг,

сформировать более радикальную партию из всех этих недовольных и объявить себя ее главой. В то время как арбитры, назначенные для оценки имущества должников, выполняли свои деликатные функции наилучшим образом, а претор города Требоний разрешал споры, возникавшие по их решениям, Целий поставил свое курульное кресло рядом с трибуналом Требония и, поставив себя собственным авторитетом в качестве судьи приговоров своего коллеги, заявил, что поддержит требования тех, кто имеет какие-либо жалобы; Но то ли потому, что Требоний всех удовлетворил, то ли потому, что они боялись Цезаря, никто не осмелился выступить. Эта первая проверка не обескуражила Целия: напротив, он решил, что чем труднее становится его положение, тем больше нужно смелее действовать, и поэтому, несмотря на сопротивление консула Сервилия и всех остальных магистратов, издал два очень смелых закона: один - о выплате годовой ренты всем арендаторам, другой - о полной отмене всех долгов. На этот раз народ, казалось, был настроен прийти на помощь тому, кто так решительно принял его сторону; произошли беспорядки, пролилась кровь, как в прежние времена на Форуме; Требоний, атакованный разъяренной толпой, был сброшен со своего трибунала и спасся только чудом. Каэлий торжествовал и, несомненно, думал, что вот-вот начнется новая революция; но, по удивительному стечению обстоятельств, он вскоре стал жертвой той же ошибки, которая впоследствии погубила Брута. Эти два столь непохожих друг на друга человека обманулись по совершенно противоположным причинам: оба слишком рассчитывали на народ Рима. Один возвращал им свободу и считал их способными желать и защищать ее, другой призывал их к оружию, обещая разделить между ними богатства богачей; но народ не слушал ни одного, ни другого, ибо злые страсти возбуждали его не сильнее, чем благородные чувства; он играл свою роль и признавал это. В тот день, когда они отдали себя в руки абсолютной власти, они, кажется, полностью потеряли память о прошлом. С этого времени мы видим, что они отказались от всякой политической деятельности, и ничто не может пробудить их от апатии. Те права, которых они так страстно желали, которые завоевали с таким трудом, жадность, которую так тщательно поощряли народные вожди, даже трибуналы и аграрные законы - все это стало для них безразличным. Они уже являются тем населением империи, которое так восхитительно изображено Тацитом, самым никчемным из всех народов, презирающим успешных, жестоким к побежденным, встречающим всех торжествующих одинаковыми аплодисментами, чья единственная роль во всех революциях состоит в том, чтобы присоединиться к поезду завоевателя, когда борьба окончена.

Такой народ не может быть ни для кого настоящей опорой, и Каэлий зря на него рассчитывал. Если в силу привычки им и показалось однажды, что они движимы теми великими обещаниями, которые так часто будоражили их, когда они были свободны, то это чувство было лишь мимолетным, и небольшого отряда конницы, случайно проходившего через Рим, было достаточно, чтобы привести их в порядок. Консул Сервилий был вооружен сенатом знаменитой формулой, которая приостанавливала все законные полномочия и сосредотачивала власть в одних руках. С помощью этих переходящих войск он запретил Целию исполнять свои обязанности, а когда Целий воспротивился, ему сломали курульное кресло,^[233] и стащили с трибуны, с которой он не хотел спускаться. На этот раз народ молчал, ни один голос не отозвался на его попытку пробудить старые страсти в этих мертвых душах. Каэлий отправился домой с яростью в сердце. После такого публичного позора оставаться в Риме было невозможно. Поэтому он поспешил покинуть его, говоря всем, что собирается объясниться с Цезарем; но у него были совсем другие планы. Поскольку Рим его покинул, Целий собирался попытаться пробудить Италию и возобновить социальную войну. Это было смелое предприятие, и все же с помощью бесстрашного человека, чью поддержку он заручился, он не отчаивался в успехе. В это время в Италии находился старый заговорщик Милон, который навел на себя ужас своей жестокостью во время анархии, последовавшей за

консульством Цицерона, и, будучи осужденным за убийство, укрылся в Марселе. Цезарь, отозвав всех изгнанников, исключил этого человека, чьей неисправимой дерзости он опасался; но по приглашению Каэлия он тайно вернулся и стал ждать поворота событий. Каэлий отправился к нему, и оба написали настоятельные письма в свободные города Италии, давая им большие обещания и побуждая взяться за оружие. Свободные города хранили молчание. Каэлий и Мило были вынуждены прибегнуть к последнему оставшемуся у них средству. Покинутые свободными гражданами Рима и всей Италии, они обратились к подневольному населению, открыв тюрьмы для рабов, призвав пастухов Апулии и гладиаторов на публичные игры. Собрав таким образом несколько сторонников, они разошлись искушать судьбу по отдельности, но ни один из них не преуспел. Мило, осмелившийся напасть на важный город, который защищал претор с легионом, был убит камнем. Каэлий, после тщетных попыток склонить Неаполь и Кампанию в свою пользу, был вынужден отступить в Турий. Там он встретил испанскую и галльскую конницу, присланную из Рима, и когда он выступил вперед, чтобы поговорить с ними и пообещать им деньги, если они последуют за ним, они убили его.

Так погиб в возрасте тридцати четырех лет этот бесстрашный молодой человек, надеявшийся сравняться с Цезарем. Никогда еще столь грандиозные замыслы не имели столь жалкого конца. Проявив невероятную дерзость и разработав проекты, которые становились все более смелыми по мере того, как первые попытки терпели неудачу; за несколько месяцев последовательно попытавшись поднять народ Рима, Италии и рабов, он неизвестно погиб от руки каких-то варваров, которых он хотел склонить к предательству своего долга; и его смерть, случившаяся в тот момент, когда все взоры были прикованы к Фарсалии, прошла почти незамеченной. Однако кто осмелится сказать, что такой конец, как бы печален он ни был, не был заслуженным? Разве не справедливо, в конце концов, что человек, живший приключениями, должен погибнуть как авантюрист? Он не был искусным политиком, что бы ни утверждал Цицерон; он не смог им стать, потому что ему не хватало убежденности и подлинной преданности. Непостоянство его чувств, непоследовательность поведения, скептицизм, с которым он относился ко всем убеждениям, не менее пагубно отразились на его талантах, чем на характере. Если бы он знал, как внести в свою жизнь больше единства, если бы он рано примкнул к какой-нибудь благородной партии, его способности, найдя достойное их занятие, достигли бы своего совершенства. Без сомнения, он мог потерпеть неудачу, но умереть в Фарсалии или Филиппах до сих пор считается честью для потомков. Напротив, поскольку он менял свои мнения так же часто, как свои интересы или капризы, служил поочередно самым противоположным партиям, не веря в справедливость ни одной из них, он так и остался незрелым оратором и бессистемным политиком, а умер на большой дороге, как обычный злоумышленник. Однако, несмотря на все его недостатки, история с трудом выносит ему суровый приговор. Древние писатели никогда не говорят о нем без тайной симпатии. Блеск, окружавший его молодость, обаяние ума, элегантность, которую он умел сохранять в самых тяжелых случаях, дерзкая откровенность, не позволявшая ему искать благородных предлогов для бесчестных поступков, ясное понимание политических ситуаций, знание людей, богатство средств, сила решимости, смелость, с которой он решался на все и постоянно рисковал жизнью; эти многие блестящие качества, хотя и смешанные с большим количеством недостатков, обезоруживали самых суровых судей. Сам мудрец Квинтилиан, мало приспособленный к тому, чтобы понять эту страстную натуру, не осмелился быть суровым к нему. Восхвалив достоинства его ума и язвительное красноречие, он ограничился нравоучительной фразой: "Он был человеком, заслуживающим справедливого поведения и долгой жизни, *dignus vir cui mens melior et vita longior contigisset!*"

К моменту смерти Каэлия та элегантная молодость, образцом которой он был и которую помогли нам узнать стихи Катулла и письма Цицерона, уже частично исчезла. Почти не осталось тех молодых людей, которые блистали на *праздниках* в Байях и которым рукоплескали на Форуме. Катулл умер первым, в тот самый момент, когда его таланты созревали с возрастом, становились все серьезнее и возвышеннее. Его друг Кальвус вскоре последовал за ним, унесенный в тридцать пять лет, несомненно, от усталости общественной жизни. Курио был убит солдатами Помпея, как Целий - солдатами Цезаря. Долабелла выжил, но ненадолго, и ему тоже суждено было погибнуть трагическим образом. Это было революционное поколение, которое революция уничтожила, ибо, как гласит известная поговорка, во все времена и во всех странах революция пожирает своих собственных детей.

ЦЕЗАРЬ И ЦИЦЕРОН

I

ЦИЦЕРОН И ЛАГЕРЬ ЦЕЗАРЯ В ГАЛЛИИ

Цицерон не ошибся, когда однажды сказал Цезарю: "После нашего времени о тебе будут вестись большие споры, как и между нами". Несомненно, он является той исторической личностью, которую люди до сих пор обсуждают с наибольшим жаром. Никто не вызывал больше симпатий и не вызывал больше вражды, и надо признать, что в нем, кажется, есть что-то, что оправдывает и одно, и другое. Им нельзя восхищаться или порицать без некоторых оговорок, и он всегда привлекает с одной стороны тех, кого отталкивает с другой. Люди, которые больше всего ненавидят его и не могут простить ему совершенную им политическую революцию, вынуждены втайне восхищаться им, вспоминая о его победах или читая его труды.

Чем сложнее и спорнее его характер, тем более необходимо, чтобы составить о нем справедливое представление, опросить тех, кто был в состоянии его знать. Хотя Цицерона почти всю жизнь разделяли с Цезарем серьезные разногласия, дважды ему довелось поддерживать с ним тесную связь: во время Галльской войны он был его политическим союзником и усердным корреспондентом; после Фарсалии он снова стал его другом и выступал посредником между завоевателем и теми, кого он приговорил к изгнанию. Давайте поинтересуемся, что он говорит о нем в эти два периода своей жизни, когда он видел его наиболее близко, и соберем из его переписки, благодаря которой мы так хорошо познакомились с выдающимися людьми того времени, те сведения, которые она содержит о том, кто был величайшим из всех.

I.

Прежде всего я должен напомнить о событиях, которые заставили Цицерона покинуть аристократическую партию, к которой он был привержен со времени своего консульства, чтобы служить триумвирам, и о том, как мужественный друг Гортензия и Катона стал столь раболепным по отношению к Помпею и Цезарю. Это не самый почетный период в его жизни, и его самые убежденные поклонники говорят о нем как можно меньше. Однако есть определенный интерес, возможно, даже польза в том, чтобы остановиться на нем на мгновение.

Возвращение Цицерона из изгнания, на которое он был обречен после консульства усилиями Хлодия, стало настоящим триумфом. Брундизий, где он высадился, отпраздновал его прибытие всеобщим ликованием. Все граждане свободных городов, граничащих с Аппиевым путем, ждали его на дороге, а главы семейств с женами и детьми пришли со всех окрестных ферм, чтобы увидеть его проезд. В Риме его встречала огромная толпа, толпившаяся на площадях или стоявшая на ступенях храмов. "Казалось, - говорил он, - весь город поднялся со своих мест, чтобы прийти и приветствовать своего освободителя". В доме своего брата, где он собирался жить, его ждали самые именитые члены сената и одновременно поздравительные адреса от всех народных обществ города. Вероятно, некоторые из тех, кто подписал эти адреса, с таким же рвением голосовали в предыдущем году за закон, по которому его сослали, и многие хлопали в ладоши по его возвращении, аплодируя его отъезду; но людям иногда свойственны эти странные и великодушные порывы. Иногда случается, что они внезапно отрываются от злобы, недоверия и узости партийного духа, и в тот самый момент, когда страсти кажутся наиболее разгоревшимися, а разногласия наиболее четко обозначенными, они объединяются все разом, чтобы воздать должное какому-то великому гению или великому характеру, который, неизвестно как, заставил их признать. Обычно эта благодарность и восхищение длятся недолго; но если они продолжаются всего один день, они оказывают вечную честь тому, кто был их объектом, и слава, которую они оставляют после себя, достаточна, чтобы осветить всю жизнь. Поэтому мы должны простить Цицерона за то, что он так часто и с таким восторгом говорил об этом славном дне. Небольшая гордость была здесь законной и естественной. Разве могла душа, столь чувствительная к народным аплодисментам, устоять перед опьянением триумфального возвращения? "Я не чувствую себя так, словно просто возвращаюсь из изгнания, - говорил он, - мне кажется, что я возношусь на небеса"

Но он не сразу спустился на землю. Что бы он ни думал поначалу, вскоре он убедился, что город, который встретил его с таким ликованием, не изменился и что он нашел его таким же, каким покинул. В течение трех лет здесь царила анархия, такая анархия, которую нам трудно представить, несмотря на все примеры, которые дают нам наши собственные революции. С тех пор как триумвиры выпустили на волю сброд, чтобы захватить власть в республике, он стал полным хозяином. Дерзкий трибун, дезертир из аристократии, носивший самое прославленное имя в Риме, Клодий, взял на себя обязанность руководить им и, насколько возможно, дисциплинировать его. В этом нелегком деле он проявил немало талантов и дерзости и преуспел достаточно, чтобы заслужить право стать ужасом для честных людей. Говоря о римской толпе, нельзя забывать, что она была гораздо страшнее нашей и набиралась из более грозных элементов. Какой бы справедливый ужас ни вызывала у нас толпа, выходящая в день беспорядков из самых низких кварталов наших промышленных городов, давайте помнить, что в Риме этот низший социальный слой спускался еще ниже. Ниже бродячих странников и голодающих рабочих, обычных орудий революций, находилась вся эта толпа вольноотпущенников, деморализованных рабством, которым свобода давала лишь еще одно средство для злодеяний; были гладиаторы, обученные сражаться со зверем или человеком, которые с легкостью принимали смерть других или себя; Еще ниже были беглые рабы, которые были действительно худшим из всех классов, которые, ограбив или убив дома и поживившись грабежом на дороге, приходили со всей Италии, чтобы укрыться и исчезнуть в безвестности трущоб Рима, - нечистая и ужасная толпа людей без семьи, без страны, которых, объявленных вне закона общим настроением общества, нечего было уважать, так как им нечего было терять. Именно среди них Клодий набирал свои отряды. Запись в отряды проводилась в открытый день, в одном из самых посещаемых мест Рима, возле Аврелиевых ступеней. Затем новые солдаты были организованы в декурии и столетия, под руководством энергичных лидеров. Они собирались по округам в тайные общества, куда

ходили для получения пароля, и имели свой центр и арсенал в храме Кастора. Когда наступал день и требовалась народная манифестация, трибуны приказывали закрыть лавки; затем ремесленники высыпали на общественные улицы, и вся армия тайных обществ вместе шла к Форуму. Там они встретили не честных людей, которые, чувствуя себя слабой стороной, оставались дома, а гладиаторов и пастухов, которых сенат пригнал для защиты из диких мест Пиценума или Галлии, и тогда началась битва. "Представьте себе Лондон, - говорит М. Моммзен, - с рабским населением Нового Орлеана, полицией Константинополя и промышленным состоянием современного Рима, и подумайте о политическом состоянии Парижа в 1848 году: вы получите некоторое представление о республиканском Риме в его последние дни".

Ни один закон больше не соблюдался, ни один гражданин, ни один магистрат не был защищен от насилия. В один день были сломаны фасции консула, в другой - трибуна оставили умирать. Сам сенат, увлекшись этими примерами, окончательно утратил то качество, которое римляне теряли в последнюю очередь, - достоинство. В этом собрании царей, как назвал его один грек, дебаты велись с отвратительной грубостью. Цицерон никого не удивил, когда назвал своих противников свиньями, грязью, гнилой плотью. Иногда дискуссии становились настолько жаркими, что шум доходил до возбужденной толпы, заполнявшей портики возле курии, и тогда она принимала в них участие с такой жестокостью, что перепуганные сенаторы спешили убежать.^[238] Мы легко можем понять, что на Форуме все было гораздо хуже. Цицерон рассказывает, что, когда им надоедали оскорбления, они плевали друг другу в лицо.^[239] Когда человек хотел обратиться к народу, ему приходилось брать трибуну штурмом, и он рисковал жизнью, пытаясь сохранить свое место на ней. Трибуны нашли новый способ добиться единодушия в голосовании за предлагаемые ими законы: избивать и прогонять всех, кто вбил себе в голову не соглашаться с ними. Но нигде не было таких жестоких состязаний, как на Campus Martius в дни выборов. Люди сожалели о том времени, когда они публично торговали голосами избирателей. Теперь они не даже покупать государственные должности; они находили более удобным захватить их силой. Каждая партия еще до рассвета отправилась к Campus Martius. На дорогах, ведущих к нему, происходили столкновения. Каждая партия спешила прибыть раньше своих противников или, если те уже обосновались там, нападала на них, чтобы вытеснить: естественно, что назначения принадлежали тем, кто оставался хозяином места. В окружении всех этих вооруженных отрядов никто не был в безопасности. Люди были вынуждены укрепляться в своих домах, боясь быть застигнутыми врасплох. Выйти на улицу можно было только с вереницей гладиаторов и рабов. Чтобы попасть из одного квартала города в другой, они принимали столько же мер предосторожности, как если бы им пришлось пересекать пустынную местность, и встречались на повороте улицы с тем же страхом, что и на углу леса. В центре Рима происходили настоящие сражения и регулярные осады. Поджигать дома своих врагов, рискуя сжечь целый квартал, было обычным маневром, а под конец ни одни выборы или народное собрание не проходили без кровопролития. "Тибр, - говорит Цицерон, рассказывая об одной из таких битв, - был полон трупов граждан, общественные канализации захлебнулись ими, и они были вынуждены вытирать губками кровь, которая струилась с Форума".

Таковы были неясные конвульсии, в которых погибла Римская республика, и позорные беспорядки, истощившие ее оставшиеся силы. Цицерон хорошо знал об этой кровавой анархии и об опасностях, которые ему предстояло пережить, и поэтому, прежде чем снова въехать в Рим, решил проявить благоразумие, чтобы не рисковать и не покидать его снова. Он не принадлежал к тем умам, которые несчастье укрепляет и которые испытывают своеобразное удовольствие от борьбы с несчастьем. Изгнание обескуражило его. Во время

долгого изнурительного пребывания в Фессалии он с грустью вспоминал прошлое. Он упрекал себя за то, что иногда проявлял мужество и независимость, за смелость в борьбе с сильными мира сего, за ошибку, которую совершил, слишком тесно примкнув к партии, которую считал лучшей, но которая, очевидно, была слабейшей, как будто поступать так было преступлением. Он вернулся с твердой решимостью как можно меньше связывать себя с кем бы то ни было, обезоруживать своих врагов уступками и поддерживать со всеми хорошие отношения. Именно этого курса он придерживался по прибытии, и его первые речи - шедевры политики. Очевидно, что он все еще склоняется к аристократии, которая принимала активное участие в его реставрации, и для ее восхваления у него есть благородные выражения патриотизма и благодарности; но уже сейчас он начинает льстить Цезарю и называет Помпея "самым добродетельным, самым мудрым, самым великим из людей его века или любого другого века". В то же время, как он сам рассказывает, он тщательно следил за тем, чтобы не появляться в сенате, когда обсуждались раздражающие вопросы, и был очень осторожен, чтобы сбежать с Форума, как только дебаты становились слишком жаркими. "Никаких бурных средств, - отвечал он тем, кто пытался побудить его к какому-нибудь блестящему поступку, - я должен сесть на диету"

Однако вскоре он понял, что этой ловкой сдержанности недостаточно, чтобы отгородиться от всех опасностей. Когда он отстраивал свой дом на Палатине, разрушенный после его отъезда, отряды Клодия набросились на рабочих, разогнали их и, ободренные успехом, подожгли дом его брата Квинта, который находился неподалеку. Через несколько дней, когда он шел по Виа Сакра, он услышал сильный шум и, обернувшись, увидел поднятые палки и обнаженные мечи. Это были те же самые люди, которые напали на него. С большим трудом ему удалось скрыться в притворе дружеского дома, пока его рабы храбро сражались перед дверью, чтобы дать ему время убежать. Катона не тронуло бы такое насилие; Цицерон, должно быть, был очень напуган; прежде всего, это показало ему, что его система благоразумной осторожности не обеспечивала достаточной безопасности. В самом деле, можно было предположить, что ни одна партия не станет защищать его до тех пор, пока у него будут только комплименты, а так как он не мог стоять один и без поддержки среди всех этих вооруженных группировок, то, чтобы найти необходимую поддержку, он должен был согласиться на более тесную связь с одной из них.

Но какую из них он должен выбрать? Это был серьезный вопрос, в котором его интересы расходились с его симпатиями. Все его склонности явно были на стороне аристократии. Он тесно сблизился с ней еще во время своего консульства, с тех пор исповедовал служение ей, и именно ради нее он только что навлек на себя гнев народа и подверг себя изгнанию. Но именно эта ссылка научила его тому, что самый почетный путь является одновременно и наименее безопасным. В последний момент сенат не нашел лучшего способа спасти его, чем принять бесполезные декреты, надеть траур и пойти броситься в ноги консулам. Цицерон решил, что этого недостаточно. Видя, что он так плохо защищен, он подозревал, что люди, не взявшие его интересы в свои руки более решительно, не очень-то сожалеют о его несчастьях; и, возможно, он не ошибся. Римская аристократия, что бы он для нее ни сделал, не могла забыть, что он "новый" человек. Клавдии, Корнелии, Манлии всегда с некоторым неудовольствием смотрели на этого ничтожного горожанина из Арпинума, которого народное голосование сделало равным им. Они могли бы простить его удачу, если бы он переносил ее более скромно; но мы знаем его тщеславие; хотя оно было просто смешным, аристократия, которую оно оскорбляло, считала его преступным. Они не могли смириться с законной гордостью, с которой он постоянно напоминал, что он всего лишь *парвеню*. Им казалось странным, что на дерзость он осмеливается отвечать грубостью, а совсем недавно они были возмущены тем, что он настолько забыл о себе, что купил виллу

Катула в Тускулуме и поселился на Палатине в доме Красса. Цицерон, со свойственной ему проницательностью, очень четко уловил все эти настроения аристократии и даже преувеличил их. После возвращения из изгнания у него были и другие претензии к ним. Они приложили немало усилий, чтобы добиться его отзыва, но не предвидели пышности его возвращения и, похоже, не были очень довольны им. "Те, кто подрезал мне крылья, - говорил Цицерон, - жалеют, что они снова выросли". С этого момента его добрые друзья в сенате больше ничего для него не делали. Его финансы были сильно подорваны, дом на Палатине сожжен, виллы в Тускулуме и Формиях разграблены и разрушены, и они с неохотой решили возместить ему эти убытки. Еще больше его раздражало то, что он ясно видел, что они не разделяют его гнева против Клодия. Они проявляли хладнокровие или молчали во время приступов гнева. Некоторые даже, самые ловкие, отзывались об этом вздорном трибуне только с почтением и не стеснялись подавать ему руку на людях. Откуда такое уважение к человеку, который так мало для них сделал? Дело в том, что они надеялись использовать его в своих целях и втайне питали мысль призвать толпу на помощь находящейся под угрозой аристократии. Этот союз, хотя и менее обычный, чем союз толпы с деспотией, не был невозможен: и отряды Клодия, если бы их удалось привлечь, позволили бы сенату сдерживать триумвиров. Цицерон, поняв эту политику, боялся стать ее жертвой; он горько сожалел о тех услугах, которые пытался оказать сенату и которые обошлись ему так дорого. Вспоминая опасности, которым он подвергал себя, защищая его, упорную и безуспешную борьбу, которую он вел в течение четырех лет, крушение своего политического положения и бедствия личного состояния, он с горечью сказал: "Теперь я ясно вижу, что был только дураком (*scio me asinum germanum fuisse*)".^[244]

Тогда ему оставалось только обратиться к триумвирам. Так советовали ему его друг, благоразумный Атик, и его брат Квинт, которого сожжение его дома сделало осторожным вопреки его привычке; так он и сам был склонен поступать всякий раз, когда сталкивался с новой опасностью. Тем не менее ему было нелегко решиться. Триумвиры до сих пор были его самыми жестокими врагами. Не говоря уже о Крассе, в котором он видел сообщника Катилина, он прекрасно знал, что именно Цезарь отпустил против него Клодия, и не мог забыть, что Помпей, поклявшийся защищать его, недавно бросил его на растерзание двум своим друзьям; но у него не было выбора между союзами, и поскольку он не смел больше доверять аристократической партии, он был вынужден поставить себя под защиту других. Тогда ему пришлось смириться со своей участью. Он уполномочил своего брата отдать его в залог Цезарю и Помпею и приготовился служить их честолюбию. Первым его действием после возвращения было требование для Помпея одной из тех чрезвычайных полномочий, которых он так жаждал: благодаря его усилиям Помпею на шесть лет было поручено снабжение Рима продовольствием, и по этому случаю он был наделен почти неограниченной властью. Вскоре после этого, хотя государственная казна была истощена, он получил от Цезаря денежную сумму на оплату своих легионов и разрешение иметь десять лейтенантов под своим началом. Когда аристократия, понимавшая, с каким умыслом Цезарь ведет завоевание Галлии, захотела помешать ему продолжить его, Цицерон снова потребовал и добился для него разрешения закончить дело. Так старый враг триумвиров стал их обычным защитником перед сенатом. Поддержка, которую он согласился оказать, не была для них бесполезной. Его великое имя и красноречие привлекли к нему умеренных людей всех партий, тех, чье мнение колебалось, а убеждения не были определены; тех, кто, устав от слишком бурной свободы, искал везде твердой руки, которая могла бы дать им покой; И вот они, вместе с личными друзьями Цезаря и Помпея, с орудиями, которые богатый Красс сделал подкупом, и с честолюбцами всех мастей, предвидевшими наступление монархии и желавшими первыми приветствовать ее, образовали в сенате большинство,

главой и оратором которого был Цицерон и которое оказало триумвирам важную услугу, дав законную санкцию той власти, которую они завоевали насилием и осуществляли незаконно.

Цицерон наконец-то обрел покой. Враги боялись его, Клодий больше не рисковал нападать на него, его знакомству с новыми хозяевами завидовали, и все же это умелое поведение, снискавшее ему благодарность триумвиров и поздравления Аттика, не переставало временами беспокоить его. Напрасно он говорил себе, что "его жизнь вновь обрела блеск", он не испытывал меньших угрызений совести, служа людям, чьи амбиции были ему известны и которые, как он знал, были опасны для свободы его страны. В разгар усилий, которые он прилагал, чтобы удовлетворить их, в нем внезапно пробуждался патриотизм, заставлявший его краснеть. В его частной переписке повсюду видны следы смены настроений, через которые он проходил. Однажды он написал Аттикусу легким и решительным тоном: "Давайте откажемся от чести, справедливости и прекрасных чувств..... Раз уж те, кто ничего не может сделать, не полюбят меня, постараемся, чтобы нас полюбили те, кто может сделать все" Но на следующий день его охватил стыд, и он не мог не сказать своему другу: "Разве может быть что-то печальнее нашей жизни, прежде всего моей? Если я говорю в соответствии со своими убеждениями, меня выдают за сумасшедшего; если я прислушиваюсь к своим интересам, меня обвиняют в рабстве; если я молчу, говорят, что я боюсь" Даже в его публичных выступлениях, несмотря на сдержанность, которую он на себя накладывает, мы можем почувствовать его тайную неудовлетворенность. Мне кажется, что мы обнаруживаем его прежде всего в том необычайном тоне горечи и жестокости, который был ему тогда привычен. Никогда, пожалуй, он не произносил более страстных ругательств. Такая чрезмерная жестокость по отношению к другим часто исходит от беспокойного ума. То, что делало его красноречие таким горьким в это время, было тем тревожным чувством, которое испытывает человек, идущий по ложному пути и не имеющий мужества сойти с него. Он не прощал своим старым друзьям их насмешек, а новым - их требований; он втайне упрекал себя за свои низкие уступки; он был зол на других и на себя, а Ватиний или Пизон страдал за все остальное. В таком состоянии духа он не мог быть надежным другом ни для кого. Иногда случалось, что он внезапно ополчался на своих новых друзей и наносил удары, тем более неприятные, что их не ожидали. Иногда он развлекался тем, что нападал на их лучших друзей, чтобы показать другим и доказать себе, что он не совсем потерял свободу. Люди были очень удивлены, услышав, как он в речи, в которой защищал интересы Цезаря, восхвалял избыток Бибула, которого Цезарь ненавидел. В один прекрасный день даже он, казалось, был готов вернуться к тем, кого он называл честными людьми, прежде чем покинуть их. Ему представилась хорошая возможность официально порвать со своей новой партией. Дружба триумвиров стала очень прохладной. Помпей был недоволен успехами галльской войны, которая грозила предать забвению его собственные победы. Цицерон, слышавший, как он без удержу говорит против своего соперника, подумал, что может без опаски дать некоторое удовлетворение своей раздраженной совести, и пожелал блестящим ударом заслужить помилование своих старых друзей. Воспользовавшись некоторым затруднением, возникшим в связи с проведением в жизнь аграрного закона Цезаря, он официально объявил, что в майские иды выступит с речью о продаже кампанских земель, которые по этому закону были распределены между народом. Эффект от его заявления был очень велик. Союзники триумвиров были не менее оскорблены, чем удивлены, аристократическая партия поспешила с ликованием приветствовать возвращение красноречивого дезертира, но через несколько дней все обернулось против него. В тот самый момент, когда он решился на этот блестящий удар, союз между триумвирами, который считался разорванным, был возобновлен в Лукке, и, среди толпы своих льстецов, они снова поделили между собой мир. Цицерону предстояло вновь оказаться в одиночестве и без поддержки в присутствии разгневанного и всемогущего врага, грозившего вновь отдать

его на растерзание Хлодию. Атик бранился; Квинт, поклявшийся за брата, грубо жаловался, что его обещания нарушаются. Помпей, хотя втайне и поощрял отступничество, был разгневан больше всех. Несчастный Цицерон, атакуемый со всех сторон и дрожащий от поднятых им страстей, поспешил покориться и пообещал все, что требовалось. Таким образом, эта попытка обрести независимость лишь усугубила его рабство.

С этого момента он, похоже, решительно смирился со своим новым положением, чувствуя, что не в силах его изменить. Он смирился с тем, что будет возносить все более и более преувеличенные хвалы тщеславному Помпею, которому никогда не хватало их. Он согласился стать агентом Цезаря вместе с Оппием и Бальбом и руководить строительством общественных зданий, которые тот возводил. Он пошел дальше и по просьбе своих могущественных покровителей готов был отдать свою руку людям, которых считал своими главными врагами. Это была немалая жертва для человека, питавшего столь сильные неприязненные чувства; но с того момента, как он так решительно примкнул к их партии, он был вынужден принимать их дружбу, защищая их планы. Они начали предпринимать шаги, чтобы примирить его с Крассом. Это было большое дело, которое не делалось за один день, потому что, когда казалось, что их старая вражда утихла, она сразу же вспыхнула в сенате, и Цицерон обрушился на своего нового союзника с жестокостью, которая удивила его самого. "Я думал, что моя ненависть исчерпана, - наивно говорил он, - и не предполагал, что в моем сердце еще что-то осталось". Затем его попросили взять на себя защиту Ватиния; он согласился с довольно хорошей грацией, хотя за год до этого произнес против него яростную инвективу. Адвокаты в Риме привыкли к таким внезапным переменам, и Цицерон уже не раз поступал подобным образом. Когда Габиний вернулся из Египта, восстановив царя Птолемея вопреки формальному повелению сената, Цицерон, который терпеть его не мог и считал, что это хороший случай погубить его, приготовился напасть на него; но пришел Помпей и стал настоятельно умолять его защищать его. Он не посмел отказаться, изменил свою роль и согласился выступить в пользу человека, которого он ненавидел, и дела, которое он считал дурным. Его утешило хотя бы то, что он проиграл дело, и хотя он всегда стремился к успеху, вероятно, эта неудача не причинила ему особой боли.

Но он прекрасно понимал, что столько почтения и покорности, все эти пресловутые самооговоры, к которым его принуждали, закончатся тем, что возбудят против него общественное мнение. Поэтому примерно в это время он решил написать своему другу Лентулу, одному из вождей аристократии, важное письмо, которое, вероятно, предполагал распространить и в котором он объясняет свое поведение.^[248] В этом письме, изложив факты по-своему и достаточно оскорбив тех, кого он бросил, - удобный и распространенный способ предвосхитить их жалобы и сделать их ответственными за беду, которую он собирался им причинить, - он решается с необыкновенной откровенностью представить своего рода извинение за свою политическую нестабильность. Причины, которые он приводит в свое оправдание, не всегда очень хороши; но мы должны верить, что лучшего не найти, поскольку они не перестали использоваться. Под предлогом того, что Платон где-то сказал, что "нельзя делать насилия над своей страной больше, чем над своим отцом", Цицерон излагает принцип, согласно которому политик не должен упорствовать в желании того, чего не желают его сограждане, и не должен тратить свои силы на бесполезные попытки противостояния. Обстоятельства меняются, нужно меняться вместе с ними, подстраиваться под дующий ветер, чтобы не разбиться вдребезги о скалы. Кроме того, разве это действительно изменение? Разве нельзя, в сущности, желать одного и того же, а служить своей стране под разными знаменами? Человек не капризничает, отстаивая в зависимости от обстоятельств мнения, которые кажутся противоречивыми, если он противоположными путями идет к одной и той же цели, и разве мы не знаем, "что мы должны часто менять

паруса, когда хотим прибыть в порт"? Это лишь общие максимы, которые изобретательный политик может придумать, чтобы скрыть свои слабости, и нет необходимости обсуждать их. Лучший способ защитить Цицерона - вспомнить, в какое время он жил и как мало он был приспособлен к этому времени. Этот элегантный литератор, этот искусный художник, этот друг мирных искусств по капризу судьбы попал в один из самых бурных и беспокойных периодов истории. Что мог делать человек досужий и ученый среди этих смертельных схваток, где сила была хозяином, человек, у которого не было оружия, кроме слов, и который всегда мечтал об удовольствиях мирных времен и мирных лаврах красноречия? Более мужественная душа, чем его, была бы необходима, чтобы противостоять этим нападкам. События, более сильные, чем он сам, ежеминутно путали его планы и играли с его колеблющейся волей. Вступая в общественную жизнь, он взял своим девизом досуг и честь, *otium cum dignitate*; но эти две вещи нелегко объединить в революционные времена, и почти всегда одна из них теряется, когда мы слишком стремимся сохранить другую. Решительные характеры, которые хорошо это знают, сразу делают выбор между ними, и, в зависимости от того, кто является Катонам или Аттиком, с первого же дня решают либо в пользу досуга, либо в пользу чести. Нерешительные, как Цицерон, переходят от одного к другому, в зависимости от обстоятельств, и тем самым подвергают опасности и то, и другое. Мы подошли к одному из тех мучительных моментов его жизни, когда он жертвует честью ради досуга; не будем слишком строги к нему и вспомним, что позже он пожертвовал не только досугом, но даже жизнью, чтобы спасти свою честь.

II.

Одним из результатов новой политики Цицерона стало его знакомство с Цезарем. Не то чтобы они до сих пор были чужими друг другу. Вкус обоих к письму и схожий характер их занятий объединяли их в юности, и от этих ранних отношений, которые люди никогда не забывают, осталась некоторая естественная симпатия и доброжелательность. Но поскольку в более поздней жизни они примыкали к противоположным партиям, обстоятельства разлучили их. На Форуме и в сенате они приобрели привычку всегда придерживаться противоположных мнений, и, естественно, их дружба пострадала от живости их разногласий. Однако Цицерон говорит, что, даже когда они были настроены друг против друга с наибольшей силой, Цезарь никогда не мог его ненавидеть.^[249]

Политика их разлучила, политика их и воссоединила. Когда Цицерон перешел в партию триумвиров, их близкие отношения возобновились; но на этот раз их положение было иным, и их связь уже не могла иметь прежнего характера. Старый школьный товарищ Цицерона стал его защитником. Теперь их объединяли не взаимная склонность или общие занятия, а интерес и необходимость, и их новые связи были образованы своего рода взаимным соглашением, в котором один из них отдавал свои таланты и немного своей чести, чтобы другой мог гарантировать ему покой. Надо признать, что это не слишком благоприятные обстоятельства для возникновения искренней дружбы. Однако, читая частную переписку Цицерона, в которой он говорит об этом со всей искренностью, мы не можем не сомневаться, что он находил много прелестей в этих отношениях с Цезарем, которые поначалу казались ему такими трудными. Вероятно, это происходило потому, что он сравнивал их с теми, которые ему приходилось поддерживать с Помпеем. Цезарь, по крайней мере, был приветлив и вежлив. Несмотря на то что на его плечах лежали самые серьезные дела, он находил время думать о своих друзьях и шутить с ними. Победоносный, он позволял им писать ему "фамильярно и без подобострастия". Он отвечал приветливыми письмами, "полными вежливости, любезности и очарования", что приводило Цицерона в восторг. Помпей, напротив, казалось, получал удовольствие от того, что ранил его своими

высокопарными речами. Этот напыщенный и тщеславный человек, которого испортило обожание восточных людей и который не мог не принимать позу завоевателя, лишь отправляясь из своего дома в Альбе в Рим, говорил властным и надменным тоном, который отталкивал всех. Его неискренность была еще более неприятна, чем его дерзость. Он не любил сообщать о своих проектах другим; он скрывал их даже от самых преданных друзей, которые хотели знать о них, чтобы поддержать их. Цицерон не раз жаловался, что никогда не мог узнать, чего он хочет; случалось даже, что его совершенно обманывали относительно его истинных намерений и злили, думая, что оказывают ему услугу. Эта упрямая диссимуляция, несомненно, выдавалась за глубокую политику в глазах толпы; но более искушенным было нетрудно разгадать ее мотив. Если он никому не высказывал своего мнения, то лишь потому, что чаще всего у него его не было, и, как это часто бывает, молчание при нем служило лишь для того, чтобы скрыть этот факт. Он действовал наугад, без твердых принципов и устоявшейся системы, и никогда не смотрел дальше текущих обстоятельств. События всегда заставляли его врасплох, и он ясно показал, что способен не только направлять их, но и предвидеть. Само честолюбие, которое было его доминирующей страстью, не имело ни точных взглядов, ни определенных целей. Какие бы достоинства ни предлагались для его удовлетворения, было ясно видно, что он всегда желает чего-то другого; это было заметно и без его слов, потому что он очень неуклюже старался это скрыть. Его обычной уловкой было притвориться равнодушным, и он хотел, чтобы его заставили принять то, чего он так страстно желал. Мы прекрасно понимаем, что это притворство, когда оно повторялось слишком часто, никого не обманывало. В целом, поскольку он последовательно нападал и защищал все партии, и после того, как он часто казался желающим почти царской власти, не попытался уничтожить республику, когда у него была возможность сделать это, для нас сейчас невозможно выяснить, какой план он задумал, и даже если он вообще задумал какой-либо четкий план.

С Цезарем дело обстоит иначе. Он знал предмет своих амбиций и ясно видел, что хочет сделать. Его планы были определены еще до вступления в государственную жизнь;^[252] еще в юности он задумал стать повелителем. Зрелище революций, на которые он смотрел, породило эту мысль; уверенность в своих силах и в неспособности своих врагов придала ему силы для ее осуществления, а суеверная вера в свою судьбу, нередкая у людей, пускающихся на такие великие авантюры, заранее заверила его в успехе. Поэтому он решительно шел к своей цели, не проявляя излишней поспешности в ее достижении, но и не теряя ее из виду. Точно знать, чего хочешь, - не самое распространенное качество, особенно в те беспокойные времена, когда добро и зло смешались, и все же успех приходит только к тем, кто им обладает. Прежде всего, превосходство Цезаря заключалось в том, что среди этих непостоянных политиков, у которых были лишь неопределенные проекты, колеблющиеся убеждения и случайные амбиции, только у него одного были осознанные амбиции и твердый план. К нему нельзя было подойти, не попав под влияние той спокойной и мощной воли, которая имела ясное представление о своих проектах, сознание собственной силы и уверенность в победе. Цицерон чувствовал это, как и все остальные, несмотря на свои предрассудки. В присутствии такой последовательности и твердости он не мог избежать неблагоприятных сравнений со взбалмошностью и непоследовательностью своего старого друга. "Я твоего мнения о Помпее, - намекнул он брату, - вернее, ты моего, ибо я уже давно пою дифирамбы Цезарю" В самом деле, достаточно было подойти к человеку с настоящим гением, чтобы понять пустоту этого подобия великого человека, чьи легкие успехи и надутое величие так долго навязывали восхищение глупцам.

Однако не стоит думать, что Цезарь был одним из тех упрямцев, которые не поддаются обстоятельствам и никогда не соглашаются что-либо изменить в задуманных ими планах.

Напротив, никто лучше него не умел прогибаться под необходимость. Его цель оставалась неизменной, но он без колебаний использовал самые разнообразные средства для ее достижения, когда это было необходимо. Одна из таких важных модификаций произошла в его политике именно в тот период, которым мы сейчас занимаемся. О том, что отличает Цезаря от тех, с кем его обычно сравнивают, - Александра и Наполеона, - хорошо сказал М. Моммзен, а именно: изначально он был государственным деятелем, а не полководцем. Он не был, как они, выходцем из лагеря, и он еще только проходил через него, когда силой обстоятельств и почти вопреки себе стал завоевателем. Вся его юность прошла в Риме, в суматохе общественной жизни, и в Галлию он отправился только в том возрасте, когда Александр был уже мертв, а Наполеон побежден. Он, очевидно, разработал план, как стать хозяином без применения оружия; он рассчитывал разрушить республику путем медленной и внутренней революции, сохранив, насколько это возможно при столь незаконной попытке, внешнюю форму законности. Он видел, что народная партия больше тяготеет к социальным реформам, чем к политическим свободам, и не без оснований полагал, что демократическая монархия не будет ей противна. Умножая раздоры, становясь тайным сообщником Катилина и Клодия, он утомлял робких республиканцев слишком беспокойной свободой и готовил их к тому, чтобы охотно пожертвовать ею ради покоя. Он надеялся таким образом, что республика, сотрясаемая этими ежедневными нападениями, которые изнуряли и утомляли ее самых неустрашимых защитников, наконец падет без насилия и шума. Но, к нашему большому удивлению, в тот момент, когда казалось, что этот искусно спланированный план вот-вот удастся, Цезарь внезапно отказался от него. После консульства, в котором он управлял единолично, доведя своего коллегу до бездействия, а сенат до молчания, он на десять лет удаляется из Рима и отправляется на завоевание неизвестной страны. Какие причины побудили его к этой неожиданной перемене? Хотелось бы верить, что он испытывал отвращение к той жизни в подлых интригах, которую вел в Риме, и желал вдохнуть силы в более достойные его труды; но гораздо вероятнее, что, ясно увидев, что республика падет сама собой, он понял, что ему потребуется армия и военная слава, чтобы одержать верх над Помпеем. Именно поэтому, без энтузиазма, без страсти, обдуманно и расчетливо, он решил отправиться в Галлию. Когда он принял это важное решение, которое во многом способствовало его величию, ему было сорок четыре года.^[254] Паскаль считает, что начинать было уже поздно и что он был слишком стар, чтобы заинтересоваться завоеванием мира. Напротив, это, как кажется, одно из самых восхитительных усилий той энергичной воли, что в возрасте, когда привычки бесповоротно закрепляются и когда человек определенно вступил на путь, по которому он должен идти до конца, Цезарь внезапно начал новую жизнь и, оставив в одно мгновение дело народного агитатора, которым он занимался двадцать пять лет, взялся управлять провинциями и вести армии. Это зрелище, действительно, вызывает большее удивление сейчас, чем тогда. Сейчас уже не принято превращаться в администратора или генерала в пятьдесят лет, и эти дела, как нам кажется, требуют особого призвания и долгого ученичества; история показывает, что в Риме было иначе. Разве они не видели, как сладострастный Лукулл, направлявшийся командовать армией Азии, учился военному искусству во время путешествия и победил Митридата по прибытии? Что касается управления, то богатый римлянин учился этому в собственном доме. Обширные владения, легионы рабов, которыми он владел, управление огромным состоянием, которое часто превосходило богатство нескольких королевств наших дней, рано приобщили его к искусству управления. Таким образом, Цезарь, который до этого имел возможность практиковаться в управлении провинциями и командовании армиями только в течение года своего преторства в Испании, не нуждался в дальнейшем обучении для завоевания Гельвеций и организации завоеванных стран, и с первой же попытки оказался восхитительным полководцем и гениальным администратором.

Именно в эту эпоху возобновились его близкие отношения с Цицероном, которые продолжались до самой Галльской войны. Цицерону часто приходилось писать ему, чтобы он рекомендовал людей, желающих служить под его командованием. В то время юноши стремились попасть в лагерь Цезаря. Помимо желания принять участие в великих делах под началом такого полководца, у них была еще и тайная надежда обогатиться в тех далеких странах. Мы знаем, какими прелестями обычно украшена неизвестность, и как легко придать ей все желаемые черты. Галлия была для воображения того времени тем же, чем была Америка для XVI века. Предполагалось, что в этих странах, которые никто не посещал, лежат огромные сокровища, и все, кому выпадала удача, спешили к Цезарю, чтобы получить свою долю добычи. Такое нетерпение не вызывало у Цезаря недовольства: оно свидетельствовало о том, как увлекательны его завоевания, и помогало его замыслам, поэтому он охотно приглашал людей к себе. Он с радостью писал Цицерону, который просил поручить ему какого-то неизвестного римлянина: "Ты рекомендовал мне М. Оффюса; если хочешь, я сделаю его королем Галлии, если только он не предпочтет быть лейтенантом Лепты. Пришли мне кого хочешь, чтобы я сделал его богатым". В этот момент с Цицероном находились два человека, которых он очень любил и которые очень нуждались в обогащении, - адвокат Требатий Теста и его родной брат Квинт. Это была хорошая возможность, и он послал их обоих к Цезарю.

Требатий был молодым человеком с большими способностями и большим рвением к учебе, который привязался к Цицерону и не отходил от него. Он рано покинул свой бедный городок Улубры, расположенный посреди Понтийских болот, и отправился в Рим, - Улубры пустынные, *vacuae Ulubrae*, жителей которых называли улубранскими лягушками. Он изучал право и, поскольку стал очень сведущ в нем, несомненно, оказал много услуг Цицерону, который, похоже, никогда не знал законов и находил более удобным смеяться над ними, чем изучать их. К сожалению, консультации были безвозмездными, и юристы не зарабатывали в Риме. Поэтому Требатий был беден, несмотря на свои знания. Цицерон, которому он бескорыстно нравился, согласился лишить себя удовольствия и пользы, которые он находил в его обществе, и отправил его к Цезарю с одним из тех очаровательных рекомендательных писем, которые он так хорошо умел писать и в которых проявил столько изящества и остроумия. "Я не прошу у тебя, - говорит он, - ни командования легионом, ни управления им. Я не прошу ничего определенного. Дайте ему свою дружбу, и если после этого вы захотите сделать что-то для его удачи и славы, я не буду недоволен. В сущности, я полностью верю его тебе; я передаю его тебе, как говорится, из рук в руки и надеюсь, что он окажется в этих верных и победоносных руках". Цезарь благодарит Цицерона за подарок, который тот сделал ему и который не мог не оказаться для него очень ценным, "ибо, - остроумно заметил он, - среди множества людей, которые меня окружают, нет ни одного, кто умел бы приготовить костюм".

Требатий покидал Рим неохотно; Цицерон говорил, что ему пришлось выставить его за дверь.^[258] Первый вид Галлии, мало напоминавшей современную Францию, не радовал. Он проезжал дикие страны, среди полупокоренных и угрожающих народов, и посреди этих варварских окрестностей, угнетавших его сердце, он постоянно думал об удовольствиях того культурного города, который только что покинул. Письма, которые он писал, были настолько унылыми, что Цицерон, забыв, что сам испытывал такие же сожаления во время своего изгнания, мягко упрекал его за то, что он называл глупостью. Когда он прибыл в лагерь, его невеселое настроение удвоилось. Требатий не был воином, и вполне вероятно, что Нервии и Атребаты его очень пугали. Он прибыл как раз в тот момент, когда Цезарь отправлялся в экспедицию в Британию, и под неизвестным предлогом отказался сопровождать его: возможно, он, как и Думнорикс, утверждал, что боится моря; но даже в пребывании в Галлии

не было недостатка в опасностях и утомительности. Их зимние помещения не отличались комфортом, они страдали от холода и дождя под этим ненастным небом. Летом им приходилось выходить в поле, и его ужас возобновлялся. Требатий постоянно жаловался. К его недовольству добавлялось еще и то, что он не сразу нашел те преимущества, на которые рассчитывал. Он отправился в путь не по своей воле и хотел вернуться как можно скорее. Цицерон говорил, что рассматривал рекомендательное письмо, которое он дал Цезарю, как вексель на предъявителя.^[259] Он думал, что ему нужно только представиться, чтобы взять деньги и вернуться. Он отправился в Галлию не только за деньгами; он рассчитывал найти там должность, достойную уважения и важности. Он хотел подойти к Цезарю и заявить о себе. Цицерон пишет ему: "Ты предпочел бы, чтобы с тобой советовались, а не осыпали золотом". Цезарь был так занят, что к нему трудно было подойти, и он поначалу не обратил особого внимания на этого ученого юриста, приехавшего к нему из Рима. Он довольствовался тем, что предложил ему титул и вознаграждение военного трибуна, разумеется, без обязанностей. Требатий не считал это достаточной наградой за долгий путь и опасности страны и решил вернуться. Цицерону стоило большого труда предотвратить это необдуманное поведение. Я не думаю, что есть часть его переписки более забавная и более живая, чем письма, которые он писал Требатию, чтобы побудить его остаться. Цицерон чувствует себя непринужденно с этим малоизвестным молодым человеком, к которому он питал такую живую привязанность. Он осмеливается свободно смеяться, чего не делает со всеми, и смеется тем охотнее, что знает, что Требатий был малодушен, и хочет его утешить. Мне кажется, что эти хлопоты, которые он берет на себя, чтобы подбодрить несчастного друга, делают его любезности почти трогательными, и что его доброе сердце здесь придает еще одно очарование его остроумию. Он добродушно расспрашивает его, чтобы рассмешить, и шутит о вещах, которые, как он знает, не помешают доброму Требатию. Например, однажды он просит его прислать ему все подробности кампании: "Описанию битвы, - говорит он, - я доверяю прежде всего самым робким"; , вероятно, потому, что, держась в стороне от сражения, они смогут лучше увидеть все в целом. В другой раз, выразив некоторый страх при виде того, что он подвергается стольким опасностям, он добавляет: "К счастью, я знаю ваше благоразумие; вы гораздо смелее подаете письма, чем преследуете врага, и я помню, что, хотя вы хорошо плаваете, вы не стали бы переправляться в Британию из страха искупаться в океане".

Чтобы успокоить его нетерпение, он угрожает ему кнутом. Не следовало ли опасаться, что, если он вернется, Лабериус поставит его в одном из своих фарсов? Испуганный адвокат, путешествующий в обозе армии и занимающийся своим ремеслом среди варваров, стал бы смешной фигурой в комедии; но, чтобы заставить замолчать колдунов, ему нужно было только сделать свое состояние. Пусть он вернется позже, но обязательно вернется богаче; так говорил Бальбус. Бальбус был банкиром; он говорил не в смысле стоиков, которые утверждают, что человек всегда достаточно богат, когда может наслаждаться зрелищем неба и земли; он говорил как римлянин и имел в виду, что вернется хорошо обставленным, с короной, *more romano bene nummatum*. Требатий остался, и хорошо, что остался. Цезарь не замедлил заметить его и был доволен его дружбой. Он привык к лагерной жизни и со временем стал чуть менее робким, чем был по прибытии. Вероятно, он вернулся богатым, как и предсказывал Бальбус, ведь если они и не нашли в Галлии всех сокровищ, которые отправились искать, то либеральность Цезаря оказалась неисчерпаемой жилой, обогатившей всех его друзей. В более поздний период Требатий пережил тяжелые времена, но сохранил репутацию честного человека; это было актом справедливости, который оказали ему все стороны, хотя они не имели привычки поступать справедливо. Ему выпала редкая удача избежать всех опасностей гражданских войн, и он еще жил во времена Горация, который посвятил ему одну из своих самых приятных сатир. Из нее мы видим, что

тогда он был приветливым и снисходительным стариком, который охотно смеялся и забавлялся с молодыми. Он говорил с ними, несомненно, о той великой эпохе, в которой он был одним из последних выживших, о галльской войне, в которой он принимал участие, о Цезаре и его полководцах, которых он знал. По привилегии своего возраста он мог говорить о Лукреции с Вергилием, о Цицероне с Ливием, о Катутле с Проперцием и был своего рода связующим звеном между двумя самыми прославленными периодами латинской литературы.

Другим человеком, которого Цицерон отправил к Цезарю, был его брат Квинт. Поскольку он занимает большое место в жизни Цицерона и сыграл довольно важную роль в Галльской войне, думаю, будет уместно сказать о нем несколько слов. Хотя он слушал те же лекции и учился у тех же мастеров, что и его брат, у него никогда не было вкуса к красноречию, и он всегда отказывался выступать на публике. "Одного оратора, - говорил он, - достаточно в семье и даже в городе". Он обладал твердым и в то же время переменчивым нравом и без причины поддавался сильным приступам гнева. Несмотря на внешнюю энергичность, он быстро унывал, и хотя он всегда старался быть хозяином, им руководили те, кто был рядом с ним. Эти недостатки, о которых Цицерон сокрушался перед самим собой, хотя и пытался их оправдать, не позволили Квинту добиться успеха в государственной карьере и мешали его личной жизни.

Он был рано женат на Помпони, сестре Аттика. Этот брак, который, как надеялись друзья, сблизит их связь, едва не разрушил ее. Пара обнаружила, что их характеры слишком совпадают: оба были поспешны и вспыльчивы, никогда не могли договориться, а беспредельное превосходство раба Статия над умом своего хозяина довершило разлад в семье. В связи с этим на основании писем Цицерона легко показать, каким влиянием часто пользовался раб в древних семьях; гораздо большим, чем принято считать. Теперь, когда раб свободен, казалось бы, естественно, что он должен занимать более важное место в наших домах, чем раньше. Но произошло обратное; он потерял во влиянии то, что приобрел в достоинстве. Когда он стал независимым, его хозяин перестал иметь какие-либо обязательства по отношению к нему. Теперь они живут вместе, связанные временным договором, который, налагая взаимные обязательства, оказывается неприятным для обеих сторон. Поскольку эта хрупкая связь может быть разорвана в любой момент, а союзники одного дня могут стать равнодушными друг к другу или врагами на следующий, между ними больше нет ни легкости, ни доверия, и все время, в течение которого случай сводит их вместе, они проводят, окружая себя защитой и наблюдая друг за другом. Совсем иначе было в древности, когда процветало рабство. Тогда они были объединены не на короткое время, а на всю жизнь; соответственно, они стремились узнать друг друга и приспособиться один к другому. Завоевать расположение хозяина - вот что было важно для будущего раба, и он прилагал все усилия, чтобы добиться этого. Поскольку у него не было положения, которое нужно было бы защищать, или достоинства, которое нужно было бы сохранять, он полностью отдавался ему. Он беззастенчиво льстил и угождал его худшим страстям и в конце концов стал ему необходим. Утвердившись в этой близости, постоянно подчиняясь, оказывая частные и тайные услуги, которых хозяин не боялся требовать и в которых никогда не отказывал, он стал править семьей, так что, как бы странно это ни казалось на первый взгляд, можно с уверенностью сказать, что раб никогда не был ближе к хозяину, чем когда он был рабом. Так случилось и со Статием. Зная о недостатках Квинта, он так прочно вошел в его доверие, что вся семья уступила ему. Одна лишь Помпония сопротивлялась, и раздражение, которое она испытывала по этой причине, делало ее еще более невыносимой. Она постоянно досаждала мужу недружелюбными замечаниями; отказывалась появляться на обедах, которые он давал, под предлогом, что она всего лишь чужая в доме, а если и

соглашалась присутствовать, то только для того, чтобы сделать гостей свидетелями самых неприятных сцен. Несомненно, именно в тот день, когда она была более раздражительна и вспыльчива, чем обычно, Квинт сочинил эти две эпиграммы, единственные сохранившиеся примеры его поэтического таланта.

"Доверяй свой корабль ветрам, но не отдавай свою душу женщине. В словах женщины меньше безопасности, чем в капризах волн".

"Ни одна женщина не хороша; а если случайно найдешь хорошую, то не знаю, по какой странной судьбе плохая вещь вмиг стала хорошей".

Эти две эпиграммы не слишком галантны, но мы должны извинить их в случае с несчастным мужем строптивой Помпони.

Политическая карьера Квинта не была блестящей, как и его личная жизнь. Должностями, которые он получил, он был обязан скорее прославленному имени своего брата, чем собственным заслугам, и ничего не сделал, чтобы стать их достойным. После того как он побывал эдилом и претором, его назначили правителем Азии. Наделение неограниченной властью стало суровым испытанием для такого характера, как у него. Абсолютная власть вскружила ему голову; его жестокость, которую теперь ничто не сдерживало, не знала границ; подобно восточному деспоту, он говорил только о том, чтобы сжигать и вешать. Прежде всего он желал снискать славу великого ценителя справедливости. Когда ему довелось приказать зашить в мешок двух отцеубийц и бросить их в воду в нижней части своей провинции, он пожелал устроить такое же зрелище и в другой части, чтобы между ними не было ревности. Поэтому он попытался схватить некоего Зевксиса, важную персону, обвиненную в убийстве своей матери и оправданную трибуналом. Прибыв к наместнику, Зевксис, догадавшийся о его намерениях, бежал, а Квинт, раздосадованный потерей отцеубийцы, написал ему самые дружеские письма, чтобы побудить его вернуться. Однако обычно он меньше скрытничал и говорил более открыто. Он послал одному из своих лейтенантов приказ схватить и сжечь живьем некоего Лициния и его сына, которые занимались хищениями. Он написал римскому рыцарю по имени Катиен, "что надеется однажды задушить его в дыму под аплодисменты всей провинции". Правда, когда его упрекали в написании этих яростных писем, он отвечал, что это простые шутки и что ему хотелось посмеяться, но это был странный способ шутить, который показывает его варварскую натуру. Квинт обладал не менее просвещенным умом, он читал Платона и Ксенофонта, прекрасно говорил по-гречески и даже писал трагедии в часы досуга. У него была вся внешность отточенного и цивилизованного человека, но это была только внешность. Даже самых благовоспитанных римлян цивилизация часто была лишь на поверхности, а под их полированной внешностью мы часто находим грубую и дикую душу безжалостной расы солдат.

Квинт вернулся из своей провинции с довольно плохой репутацией, но, что еще более удивительно, он не вернулся богатым. Видимо, он присвоил меньше, чем его коллеги, и не смог привезти достаточно денег, чтобы восстановить свое состояние, которое было сильно подорвано его экстравагантностью; ведь он любил покупать и строить, как и его брат; имел пристрастие к редким книгам и, вероятно, ни в чем не мог отказать своим любимым рабам. Изгнание Цицерона завершило путаницу в его делах, и к моменту возвращения брата Квинт был совершенно разорен. Это не помешало ему в период наибольших финансовых затруднений перестроить свой дом в Риме, купить загородный дом в Арпинуме и еще один в пригороде, построить на своей вилле в Арках бани, портики, рыбные пруды и такую прекрасную дорогу, что она была принята за государственное произведение. Правда,

бедность римлянина того времени сделала бы состояние многих наших вельмож. Однако настал день, когда Квинт оказался полностью в руках своих кредиторов и не мог больше занимать. Тогда он вспомнил о последнем средстве, которым пользуются попавшие в затруднительное положение должники: он отправился к Цезарю.

Не только любовь к славе влекла Квинта в Галлию; он, как и многие другие, отправился туда, чтобы разбогатеть. До этого времени результаты не оправдывали ожиданий людей, и они не находили среди таких народов, как белги и германцы, всех тех сокровищ, которые искали; но они не унывали; вместо того чтобы отказаться от своих блестящих фантазий, после каждого разочарования они все дальше отдаляли ту заколдованную страну, где, как они думали, они должны были найти богатство. Поскольку в этот момент собирались напасть на Британию, то и поместили его именно в Британии. Каждый рассчитывал нажить там состояние, а сам Цезарь, по словам Суетония, надеялся привезти много жемчуга.^[265] Эти ожидания были обмануты еще раз; в Британии не оказалось ни жемчуга, ни золотых рудников. Им стоило большого труда взять несколько рабов, которые не представляли особой ценности, ибо бесполезно было думать о том, чтобы сделать из них знатоков и музыкантов. При всем богатстве эти люди обладали лишь тяжелыми колесницами, на которых они отважно сражались. Поэтому Цицерон с юмором написал Требацию, который прислал ему известие об этом несчастье в армии: "Поскольку ты не нашел там ни золота, ни серебра, я считаю, что тебе следует захватить одну из этих британских колесниц и, не останавливаясь, прибыть к нам в Рим". Квинт был того же мнения. Хотя он был хорошо принят Цезарем, который назначил его своим лейтенантом, когда он увидел, что богатство не пришло так быстро, как он ожидал, он потерял мужество и, подобно Требацию, на мгновение задумал вернуться; но Цицерон, который на этот раз не шутил, помешал ему.

Он оказал ему очень большую услугу, ведь именно зимой, последовавшей за войной в Британии, Квинт получил возможность совершить героический поступок, который прославил его имя в глазах военных людей. Хотя он с увлечением читал Софокла и писал трагедии, в основе своей он был всего лишь солдатом. В присутствии врага он снова стал самим собой и проявил энергию, которую в нем и не подозревали. Посреди восставшего населения, в спешно возведенных за одну ночь укреплениях и с одним-единственным легионом он смог защитить вверенный ему Цезарем лагерь и выступить против бесчисленных врагов, которые только что уничтожили римскую армию. Он отвечал твердым языком на их наглые хвастовства. Хотя он был болен, он проявлял невероятную активность, и только после того, как среди его солдат начались волнения, его удалось побудить позаботиться о себе. Мне нет нужды пересказывать подробности этого дела, о котором так хорошо рассказал Цезарь в своих *"Комментариях"* и которое является одним из самых славных происшествий Галльской войны. Этот великий подвиг возвышает Квинта в нашем уважении; он стирает подлости его характера и помогает ему с большей пользой играть неблагодарную и трудную роль младшего брата великого человека.

III.

Цицерон ясно предвидел, что, хотя Цезарь при написании своих *"Комментариев"* исповедовал лишь подготовку материалов для истории, совершенство его работы не позволит здравомыслящим людям пытаться переписать ее. Поэтому Плутарх и Дион позаботились о том, чтобы не переписывать его; они довольствовались его эпитомией, и теперь мы знаем о Галльской войне только по рассказам того, кто был ее героем. Каким бы совершенным ни было это повествование, или, скорее, из-за самого его совершенства, нам очень трудно довольствоваться им. Характерная черта этих великих произведений, которые, как мы могли бы подумать, должны были бы истощить любопытство публики, напротив,

делает его более активным. Заинтересовывая нас фактами, о которых они рассказывают, они возбуждают в нас желание узнать их лучше, и одним из самых верных признаков их успеха является то, что они не исчерпывают себя для читателей и заставляют их желать знать больше, чем они рассказывают. Именно это желание получить свежие подробности о важнейших событиях истории делает письма Цицерона к Требацию и его брату столь ценными для нас. Хотя они меньше по количеству и короче, чем хотелось бы, их достоинство в том, что они добавляют некоторую информацию к той, которую Цезарь дает о своих походах. Поскольку они более привычны, чем повествование, составленное для публики, они вводят нас дальше в частную жизнь завоевателя Галлии и позволяют увидеть его в палатке, в те моменты досуга и отдыха, о которых он не думал говорить с нами сам. Это, безусловно, интересное зрелище, оно является истинным дополнением "*Комментариев*", и мы не можем сделать ничего лучше, чем тщательно собрать разрозненные детали, которые они содержат, чтобы хорошо узнать Цезаря и его окружение.

Я представляю, что армия Цезаря не была похожа на те древнеримские войска, которые предстают перед нами в таком серьезном и сдержанном обличье, всегда трепещущие под жезлом ликторов и подчиняющиеся в любое время непреклонной дисциплине. Несомненно, ее жестко контролировали во время опасности, и она никогда не жаловалась на это. Ни одна другая армия не подвергалась большему изнурению и не совершала больших подвигов; но когда опасность миновала, дисциплина ослабла. Цезарь позволял своим солдатам отдохнуть, а иногда и развлечься. Он позволял им украшать себя великолепным оружием, и даже украшать себя с изысканной элегантностью. "Какая разница, пользуются ли они духами?" - говорил он, - "они будут хорошо знать, как сражаться". И на самом деле эти солдаты, которых помпеянцы называли женоподобными, - те самые, которые, умирая от голода при Диррахии, заявили, что скорее будут есть кору деревьев, чем позволят Помпею бежать. Они были набраны по большей части из тех цизальпийских галлов, у которых римская цивилизация не отняла добрых качеств их расы, - это приятный и яркий народ, который любил войну и вел ее с удовольствием. Вожди очень походили на простых солдат; они были живыми и пылкими, полными сил в критические моменты и больше доверяли вдохновению, чем рутине. Следует отметить, что ни один из них не завоевал свою репутацию в предыдущих войнах. Похоже, Цезарь желал, чтобы их военная слава исходила только от него. Некоторые, и среди них Лабиен, пожалуй, самый великий, были его политическими друзьями, старыми заговорщиками, как и он сам, которые по его примеру и без всякой подготовки из народных агитаторов стали отличными полководцами. Другие, напротив, как Фабий Максим и Сервий Гальба, носили прославленные имена; они были партизанами, которых он заручился поддержкой аристократии, или заложниками, которых он взял у нее. Большинство из них, Красс, Планкус, Волькаций Тулл, Децим Брут, а затем и Поллион, были молодыми людьми, к которым он относился с заметным предпочтением и которым охотно доверял опасные предприятия. Молодые нравились ему не только по личным предпочтениям, но и по соображениям политики: поскольку они еще не принадлежали ни к какой партии и не успели привязаться к республике, служа ей, он надеялся, что им будет не так трудно привыкнуть к новому режиму, который он хотел установить.

Эти лейтенанты, число которых варьировалось, составляли не только обычную свиту проконсула. Не следует забывать и о толпе молодых римлян, сыновей из знатных домов, предназначенных по рождению к государственным должностям, которые пришли, чтобы пройти под его началом военное ученичество. Их называли его товарищами по палатке, *contubernales*. Будучи такими же солдатами, как и остальные, и подвергая себя опасности в день битвы, они становились после боя друзьями, спутниками вождя, за которым они следовали во всех его походах, как клиенты сопровождают своего покровителя в городе. Они

присутствовали на его приемах, принимали участие во всех его развлечениях, сидели за его столом, окружали его, когда он сидел на судейском месте; в общем, они составляли то, что называлось когортой, можно даже сказать двором, претора (*praetoria cohors*). Сципион Африканский, как говорят, изобрел это средство для придания блеска публичной демонстрации верховной власти в глазах завоеванных народов, и после него правители очень заботились о сохранении всей этой пышности, которая добавляла им престижа. Это были не все; рядом с этими военными людьми находилось место для людей самых разных способностей и положений. Способные финансисты, умные секретари и даже ученые юристы могли понадобиться для управления огромными странами, которыми управлял проконсул. Так, миролюбивый Требатий не был лишним в обозе армии, и у него были возможности заниматься своей профессией даже среди Нервиев и Белгов. Если добавить к этим людям, которым их высокие должности придавали определенную важность, толпу низших офицеров или подчиненных слуг, таких как ликторы, ростовщики, писцы, переводчики, аппаратеры, врачи, слуги и даже прорицатели, мы получим некоторое представление о той поистине царской свите, которую проконсул всегда возил с собой.

Поезд Цезаря, должно быть, был еще более величественным, чем у других. Десять легионов, которыми он командовал, огромная территория, которую ему предстояло завоевать и управлять, объясняют огромное количество офицеров и людей разного рода, которыми он был окружен. Кроме того, он от природы любил великолепие. Он охотно принимал всех, кто приходил к нему, и всегда находил, чем оказать им услугу, чтобы удержать их. Даже в тех диких странах ему доставляло удовольствие поражать их своим приемом. Суэтоний рассказывает, что он везде брал с собой маркетри или мозаичные полы, и что у него всегда было два накрытых стола, за которыми занимали свои места богатые римляне, посещавшие его, и знатные провинциалы.^[268] Его лейтенанты подражали ему, а Пинарий писал Цицерону, что он в восторге от обедов, которые давал ему брат.^[269] Цезарь не слишком заботился об этих роскошных трапезах и богатых жилищах, по его собственному мнению. Мы знаем, что он был умерен, что в случае необходимости мог спать под открытым небом и есть прогорклое масло, не моргая; но у него был вкус к показухе и роскоши. Хотя республика еще существовала, он был почти королем; даже в своих лагерях в Британии и Германии у него были усердные последователи и придворные. К нему можно было подойти только с трудом; Требатий предпринял такую попытку, и мы знаем, что прошло немало времени, прежде чем он смог добраться до него. Несомненно, Цезарь не принимал людей с той чопорной и торжественной величавостью, которая отталкивала их в Помпее; но, каким бы любезным он ни хотел быть, в нем всегда было что-то, внушавшее уважение, и чувствовалось, что та непринужденность, с которой он общался со всеми, проистекала из превосходства, уверенного в себе. Этот защитник демократии был в то же время аристократом, который никогда не забывал о своем происхождении и охотно говорил о своих предках. Разве не слышали они, как в начале своей политической жизни, в то самое время, когда он с особой живостью нападал на учреждения Суллы и пытался вернуть трибунам их древние полномочия, не слышали, как он произносил над своей теткой похоронную речь, полную генеалогических вымыслов, в которой самодовольно рассказывал, что его семья происходит одновременно от царей и богов? Но в этом он лишь следовал традициям Гракхов, своих знаменитых предшественников. Они также горячо защищали государственные интересы, но надменным изяществом своих манер напоминали об аристократии, из которой произошли. Мы знаем, что при их возвышении был суд клиентов, и что они первыми додумались провести между ними различия, напоминающие публичные и частные приемы при дворе Людовика XIV.

Самым примечательным в окружавших Цезаря людях была их любовь к письмам. Очевидно, они уже не принадлежали к тем временам, когда римские полководцы сжигали шедевры искусства или гордились своим невежеством. Со времен Муммия и Мария письмам удалось проникнуть даже в лагерь, которые, как мы знаем, не были их обычным пристанищем. Тем не менее, я не думаю, что в какой-либо другой армии можно было увидеть столько просвещенных литераторов, столько культурных и модных людей. Почти все лейтенанты Цезаря были личными друзьями Цицерона и с удовольствием поддерживали постоянные контакты с ним, который считался официальным покровителем литературы в Риме. Красс и Планк учились красноречию, выступая на его стороне, и по тому, что сохранилось от писем Планка, мы можем судить по некоторой ораторской пылкости, что он извлек пользу из своих уроков. Требоний, завоеватель Марсея, признавался, что очень любит его остроты, и даже издал их сборник. Однако Цицерон, которому это восхищение было не по душе, считал, что его редактор слишком много вложил в предисловие под предлогом того, чтобы подготовить эффект шуток и сделать их более понятными. "Они исчерпали свой смех, - сказал он, - когда добрались до меня". Гиртий был выдающимся историком, который впоследствии взялся закончить "*Комментарии*" своего шефа. Матий, преданный друг Цезаря, который показал себя достойным этой дружбы, сохранив ему верность, перевел "*Илиаду*" на латинский язык. Квинт тоже был поэтом, но поэтом трагическим. В ту зиму, когда ему пришлось воевать с Нервиями, его охватил такой пыл к поэзии, что за шестнадцать дней он сочинил четыре произведения: но это была трагедия на несколько военный лад. Лучшую из них, "*Эригону*", он послал своему брату, но она потерялась в дороге. "С тех пор как Цезарь командует в Галлии, - говорит Цицерон, - одному *Эригону* не удавалось путешествовать в безопасности". Удивительно, конечно, встретить в одно время столько полководцев, которые к тому же были литераторами; но еще удивительнее то, что все эти римские рыцари, которые следовали за армией и которых Цезарь сделал своими комиссарами и поставщиками, сборщиками запасов и фермерами налогов, похоже, любили литературу больше, чем обычно допускают их привычки и занятия. Мы видим, как один из тех, кого он нанимал на подобные должности, Лепта, благодарит Цицерона за присланный ему трактат по риторике, как будто он был человеком, способным оценить настоящее. Испанец Бальбус, этот умный банкир, этот искусный администратор, сумевший привести в такой порядок финансы Рима и, что было еще сложнее, финансы Цезаря, любил философию с большим энтузиазмом, чем можно было бы ожидать от банкира. Он поспешил переписать труды Цицерона, прежде чем они стали известны публике, и хотя по характеру он был самым сдержанным человеком, он пошел даже на неосторожность, чтобы первым прочитать их.

Но среди всех этих людей с буквами именно Цезарь имел самый явный вкус к письмам: они соответствовали его культурной натуре; они казались ему, без сомнения, самым приятным упражнением и отдыхом для опытного ума. Однако я не рискну утверждать, что его любовь к ним была полностью бескорыстной, когда вижу, что этот вкус так замечательно помогал его политике. Он был вынужден добиваться расположения общества любыми средствами; ничто так не привлекает общее мнение, как превосходство интеллекта в сочетании с силой. Его главные произведения были написаны с этим намерением, и с этой точки зрения можно сказать, что его сочинения были частью его действий. Не только для того, чтобы угодить нескольким праздным литераторам, во время своего пребывания в Галлии он писал свои "*Комментарии*" с такой быстротой, что удивлял своих друзей. Он хотел, чтобы римляне не забывали о его победах; он хотел своей восхитительной манерой изложения возобновить, а

если возможно, и усилить эффект, который они произвели. Когда он писал две книги "Аналогии", он рассчитывал, что люди будут поражены, увидев полководца армии, который, по выражению Фронто, "занимался составлением слов, пока стрелы рассекали воздух, и искал законы языка среди грохота кларионов и труб". Он прекрасно понимал, какую пользу его репутации принесут эти разнообразные выступления и как велико будет удивление и восхищение в Риме, когда в один и тот же момент они получат трактат по грамматике и весть о новой победе с такого расстояния. Эта же мысль заставляла его жаждать дружбы Цицерона. Если его утонченная и выдающаяся натура находила огромное удовольствие в общении с человеком столь высокого уровня, то он не мог не знать, какую власть этот человек имеет над общественным мнением, и как далеко будут звучать его похвалы, когда они будут исходить из этих красноречивых уст. Мы потеряли письма, которые он писал Цицерону; но поскольку Цицерон был в восторге от них, а угодить ему было нелегко, мы должны полагать, что они были полны лести и ласки. Ответы Цицерона также были полны самых живых признаний в дружбе. Он заявил тогда, что Цезарь занимает в его привязанности место сразу после его детей и даже почти в том же ряду; он горько сожалел обо всех предрассудках, которые до сих пор держали его в стороне от него, и решил заставить его забыть, что он был одним из последних, кто вступил в его дружбу. "Я буду подражать, - сказал он, - путешественникам, которые встают позже, чем хотели; они удваивают скорость и так спешат, что прибывают к месту назначения раньше тех, кто проехал часть ночи" Они соперничали друг с другом, так сказать, в комплиментах; они осыпали друг друга лестью и подражали друг другу в произведениях в стихах и прозе. Прочитав первые отчеты об экспедиции в Британию, Цицерон в порыве энтузиазма воскликнул: "Какие потрясающие события! Какая страна! Какие люди! Какие сражения, а главное, какой полководец!". Он тут же отписал брату: "Дай мне Британию, чтобы я рисовал; снабди меня красками, а я буду пользоваться кистью". И он всерьез взялся за эпическую поэму об этом завоевании, которую его занятия не позволили ему закончить так быстро, как он хотел. Цезарь, в свою очередь, посвятил Цицерону свой трактат *De Analogia* и по этому случаю сказал ему в великолепных выражениях: "Ты открыл все возможности красноречия и первым начал их использовать. Благодаря этому ты заслужил имя римлянина и сделал честь нашей стране. Ты получил самую прославленную из всех почестей и триумф, превосходящий победы величайших полководцев, ибо лучше расширить границы разума, чем пределы империи!" Это, исходящее от такого победоносного полководца, как Цезарь, было самой изысканной лестью для литератора.

Таковы были отношения, которые Цицерон поддерживал с Цезарем и его офицерами во время Галльской войны. Его переписка, сохранившая память о них, позволяет нам лучше узнать вкусы и предпочтения всех этих культурных людей, показывает их нам очень живо и приближает нас к ним. Это, несомненно, одна из величайших услуг, которую она могла бы нам оказать. Прочитав ее, мы, кажется, можем понять, какого рода были встречи этих людей, и представить себя присутствующими при их беседах. Мы вправе предположить, что Рим занимал очень много их мыслей. Из глубины Галлии они смотрели на него, и именно для того, чтобы устроить там небольшой переполох, им потребовалось столько усилий. Совершая поход по стольким неизвестным странам от Рейна до океана, все эти молодые люди надеялись, что о них будут говорить на тех пирах и собраниях, где люди мира обсуждают государственные дела. Сам Цезарь, переходя Рейн по деревянному мосту, рассчитывал поразить воображение всех бездельников, собравшихся на Форуме у трибуны, чтобы узнать новости. После высадки войск в Британии мы видим, как он спешит написать своим друзьям, и особенно Цицерону;^[274] не говорит о том, что у него было много свободного времени в тот момент, но он, несомненно, считал за честь отправить письмо из страны, где еще не ступала нога римлянина. Если ему не терпелось отправить славные новости в Рим, то и они были

очень рады получить их из Рима. Все приходящие письма читались с жадностью; казалось, что они несут даже в Германию и Британию аромат той модной жизни, которую те, кто ею наслаждался, никогда не могут забыть или перестать сожалеть. Цезарю недостаточно было читать дневники римского народа, в которых сухо излагались основные политические события и в сжатой форме сообщалось о заседаниях народных собраний. Его гонцы постоянно ездили по Галлии, привозя ему письма, точные и полные самых мельчайших подробностей. "Ему сообщают обо всем, - говорил Цицерон, - как о малом, так и о великом". Эти новости, которых он с нетерпением ждал и которые с удовольствием комментировал, должны были стать обычной темой его бесед с друзьями. Я предполагаю, что за тем роскошным столом, о котором я говорил, после обсуждения литературы и грамматики и прослушивания стихов Матия или Квинта, разговор шел в первую очередь о Риме, о котором эти элегантные молодые люди, сожалеющие о его удовольствиях, не уставали говорить. Конечно, если бы мы услышали, как они болтают о последних новостях, политических беспорядках или, что интересовало их больше, частных скандалах города, рассказывают последние слухи на плаву и цитируют самые свежие шутки, нам было бы трудно поверить, что мы находимся в самом сердце страны белгов, или рядом с Рейном или океаном, или накануне битвы. Мне кажется, мы скорее должны были вообразить, что присутствуем на вечеринке умных людей в каком-нибудь аристократическом доме на Палатине или в богатом квартале Каринэ.

Письма Цицерона оказывают нам еще одну услугу. Они показывают нам, какой огромный эффект произвели победы Цезаря в Риме. Они вызывали не только удивление, но и восхищение, поскольку были не только завоеваниями, но и открытиями. Что было известно до него о тех далеких странах? Несколько нелепых басен, которые торговцы рассказывали по возвращении, чтобы придать себе значимости. Именно благодаря Цезарю о них впервые узнали по-настоящему. Он впервые осмелился напасть и победил тех германцев, которых изображали гигантами, один вид которых наводил ужас; он впервые дошел до Британии, где, как говорили, ночь длилась целых три месяца, и все чудеса, о которых рассказывали, придавали как бы оттенок чудесного его победам. Тем не менее не все охотно поддавались этому очарованию. Наиболее дальновидные представители аристократической партии, чувствовавшие, хотя и неясно, что на берегах Рейна решается судьба республики, желали отозвать Цезаря и назначить на его место другого полководца, который, возможно, не завершил бы завоевание Галлии, но не поддавался бы искушению осуществить завоевание собственной страны. Катон, доводивший все до крайности, когда сенату предложили проголосовать за благодарственный молебен богам за поражение Ариовиста, осмелился предложить, напротив, отдать завоевателя германцам. Но эти возражения не изменили общественного мнения, которое заявило о своей благосклонности к тому, кто только что с такой быстротой завоевал столько неизвестных стран. Рыцари, ставшие финансистами и купцами Рима, поздравляли себя с тем, что для их деятельности открылись огромные страны. Цезарь, желая привязать их к себе, пригласил их следовать за ним, и первой его заботой было открыть им дорогу через Альпы. Простой народ, любящий военную славу и легко поддающийся энтузиазму, не уставал восхищаться тем, кто расширял пределы римского мира. При известии о каждой победе в Риме устраивали народные ликования и возносили благодарственные молитвы богам. После разгрома белгов сенат под давлением общественного мнения был вынужден назначить пятнадцать дней торжественных благодарений, чего никогда и ни для кого не делалось. Двадцать дней было назначено, когда сообщили об успехе экспедиции против Германии, и еще двадцать - после взятия Алезии. Цицерон обычно требовал таких почестей для Цезаря, и он стал глашатаем всеобщего восхищения, сказав на своем благородном языке: "Мы впервые осмелились напасть на галлов, до сих пор мы довольствовались тем, что отбивались от них". Другие полководцы

римского народа считали достаточным для своей славы не допустить их вторжения к нам; Цезарь отправился искать их в их собственных домах. Наш полководец, наши легионы, наше оружие одолели те страны, о которых никогда не рассказывала история, о которых не знал весь мир. В Галлии у нас была лишь тропинка; теперь границы этих народов стали границами нашей собственной империи. Не без благосклонности Провидения природа дала Альпы в качестве вала для Италии. Если бы вход был свободен для этой толпы варваров, Рим никогда не стал бы центром и резиденцией мировой империи. Теперь же пусть непреодолимые горы покорятся. От Альп до океана Италии теперь нечего бояться".

Эти великолепные хвалебные речи, за которые так порицают Цицерона, легко понять, однако, и, что бы ни говорили политики, легко объяснить тот энтузиазм, который испытывали к Цезарю многие честные и здравомыслящие люди. То, что оправдывало безоговорочное восхищение, которое вызывали его завоевания, было не столько их величием, сколько необходимостью. Они могли угрожать будущему, в тот момент они были необходимы. Позже они поставили под угрозу свободу Рима, но тогда они обеспечивали ее существование.^[277] Патриотический инстинкт народа позволял ему понять то, что предрассудки и страх, хотя и вполне законные, скрывали от аристократии. Они смущенно понимали все опасности, которые могли вскоре прийти из Галлии, если бы не поспешили ее покорить. На самом деле бояться следовало не галлов - их упадок уже начался, и они больше не думали о завоеваниях, - а германцев. Дио совершенно неправ, утверждая, что Цезарь разжигал войны ради своей славы. Какую бы выгоду он ни извлекал из них, можно с уверенностью сказать, что он скорее подчинялся им, чем провоцировал их. В то время не Рим отправился на поиски германцев, а германцы смело вышли навстречу. Когда Цезарь был назначен проконсулом, Ариовист занял часть страны секванов и хотел захватить остальную. Его соотечественники, привлеченные плодородием этой прекрасной страны, каждый день переправлялись через Рейн, чтобы присоединиться к нему, и за один раз их набралось двадцать пять тысяч. Что было бы с Италией, если бы в то время, когда Рим терял силы в междоусобной борьбе, суэвы и сикамбры утвердились на Роне и в Альпах? Вторжение, предотвращенное Марием за столетие до этого, возобновилось; оно могло бы привести к падению Рима, как это случилось четыре столетия спустя, если бы Цезарь не остановил его. Его слава в том, что он отбросил германцев за Рейн, так же как честь империи в том, что он удерживал их там более трехсот лет.

Но это был не единственный и даже не самый значительный эффект от побед Цезаря. Завоевав Галлию, он сделал ее полностью и навсегда римской. Ту удивительную быстроту, с которой Рим ассимилировал галлов, можно понять, только зная, в каком состоянии они находились. Они не были такими же варварами, как германцы; следует отметить, что их завоеватель, который хорошо их знал, не называет их так в своих *комментариях*. У них были большие города, регулярная система налогообложения, свод религиозных верований, амбициозная и могущественная аристократия и своего рода национальное образование, которым руководили жрецы. Эта культура, хотя и несовершенная, если и не просветила полностью их умы, то, по крайней мере, пробудила их. Они были откровенны и любознательны, достаточно умны, чтобы понять, в чем они испытывают недостаток, и достаточно свободны от предрассудков, чтобы отказаться от своих обычаев, когда они нашли лучшие. С самого начала войны они преуспели в подражании римской тактике, в строительстве осадных машин и в их эксплуатации с мастерством, о котором справедливо говорит Цезарь. Они были еще грубыми и неотшлифованными, но уже были вполне готовы к высшей цивилизации, к которой у них было желание и инстинкт. Это объясняет, почему они

так легко приняли ее. Они боролись десять лет против господства чужеземца; они ни дня не колебались, чтобы перенять его язык и обычаи. Можно сказать, что Галлия напоминала те иссушенные палящим солнцем земли, которые с такой жадностью впитывают первые капли дождя; так полно она впитала римскую цивилизацию, по которой тосковала, еще не зная ее, что спустя столько веков и несмотря на множество революций, она до сих пор не утратила ее следов; и это единственное, что сохранилось до наших дней в этой стране, где все меняется. Цезарь не просто добавил несколько новых территорий к владениям Рима; подарок, который он ей сделал, был более значительным и полезным; Он подарил ей целый народ, умный и цивилизованный почти сразу после завоевания, который, став римлянином как по сердцу, так и по языку, погрузив свои интересы в интересы своей новой национальности, записавшись в легионы для ее защиты и с необычайной пылкостью и талантом бросившись изучать искусства и буквы, пролил на нее новый блеск и надолго вернул молодость и бодрость угасающей империи.

Пока в Галлии происходили эти великие события, Рим продолжал оставаться театром самых позорных беспорядков. Там больше не было никакого правительства; едва ли удавалось избрать магистратов, и каждый раз, когда народ собирался на Форуме или в Campus Martius, происходили драки. Эти беспорядки, которых стыдились честные люди, еще больше усиливали эффект, который производили победы Цезаря. Какой контраст был между сражениями с Ариовистом или Верцингеториксом и боями гладиаторов, заливавшими кровью улицы Рима! А каким славным казалось взятие Агендикума или Алезии людям, которых занимала только осада дома Милона Хлодием или убийство Хлодия Милоном! Все государственные деятели, оставшиеся в Риме, Помпей и Цицерон, потеряли часть своего достоинства, впутавшись в эти интриги. Цезарь, вовремя отстранившийся от дел, был единственным человеком, возвысившимся на фоне всеобщей деградации. Поэтому все, чье сердце было уязвлено этими печальными зрелищами и кто хоть немного заботился о римской чести, не сводили глаз с него и его армии. Как и в некоторые моменты нашей революции, военная слава утешала честных людей в скандалах и бедах дома. В то же время избыток зла заставлял людей искать эффективное средство повсюду. Стала распространяться мысль, что для обретения покоя необходимо создать сильную и прочную власть. После изгнания Цицерона аруспики предсказали, что монархия вот-вот возобновится,^[278] и не нужно было быть пророком, чтобы предвидеть это. Через несколько лет, когда зло еще более усилилось, республиканская партия, несмотря на свое отвращение, была вынуждена прибегнуть к насильственному средству - временной диктатуре. Помпей был назначен единственным консулом, но Помпей уже не раз показывал, что у него нет ни силы, ни решимости, необходимых для полного преодоления анархии. Более сильную руку и более решительную волю нужно было искать в другом месте, и все взоры, естественно, обратились к завоевателю Галлии. Его слава указывала ему на эту роль; надежды одних и страхи других призывали его к ее исполнению; умы людей с каждым днем привыкали к мысли, что он станет наследником республики, и революция, отдавшая ему Рим, была более чем наполовину завершена, когда он перешел Рубикон.

II ПОБЕДИТЕЛЬ И ПОБЕЖДЕННЫЙ

ПОСЛЕ ФАРСАЛИИ

Гражданская война прервала те отношения, которые Цицерон поддерживал с Цезарем во время Галльской войны. Он долго колебался, принимать ли ему в ней участие, и только после

долгих колебаний укоры совести, страх перед общественным мнением и, прежде всего, пример друзей решили, что он все-таки отправится в лагерь Помпея. "Как вол следует за стадом, - сказал он, - я иду, чтобы присоединиться к добрым гражданам"; , но он шел вполсилы и без надежды. После Фарсалии он не считал возможным продолжать борьбу: он открыто заявил об этом на совете республиканских вождей, состоявшемся в Диррахии, и поспешил вернуться в Брундиций, чтобы предоставить себя в распоряжение завоевателя.

Какое сожаление он не испытывал, если, вернувшись на несколько лет назад, вспоминал свое триумфальное возвращение из изгнания! В том самом городе, где его встречали с таким ликованием, он был вынужден высаживаться скрытно, прятать своих ликторов, избегать толпы и выходить на улицу только по ночам. Там он провел одиннадцать месяцев, самых печальных в своей жизни, в изоляции и тревоге. Он был огорчен со всех сторон, и домашние дела причиняли ему не меньше горя, чем общественные события. Его отсутствие довершило расстройство его денежных дел. Когда они были в самом затруднительном положении, он поступил так неосмотрительно, что одолжил Помпею все имевшиеся у него свободные деньги; в то же время поникарда египетского царя унесла должника и положила конец его платежеспособности. Пытаясь выручить хоть какие-то средства за счет продажи мебели и тарелок, он обнаружил, что его жена действует в согласии с его вольноотпущенниками, чтобы лишить его всего, что осталось; он узнал, что его брат и племянник, перешедшие на сторону Цезаря, стремятся оправдаться за его счет и стараются погубить его, чтобы спасти себя; он снова увидел Туллию, свою любимую дочь, но нашел ее печальной и больной, оплакивающей одновременно и несчастья отца, и неверность мужа. К этим вполне реальным несчастьям добавились еще и мнимые беды, причинявшие ему не меньше страданий; прежде всего его мучила привычная нерешительность. Едва ступив в Италию, он раскаивался в том, что приехал. По своей привычке его беспокойное воображение всегда представляет все в худшем свете, и он изобретательно находит повод для недовольства во всем, что с ним происходит. Он сетует, когда Антоний хочет заставить его покинуть Италию; когда ему разрешают остаться, он все равно сетует, потому что это исключение, сделанное в его пользу, может повредить его репутации. Если Цезарь не пишет ему, он встревожен; если он получает от него письмо, каким бы дружелюбным оно ни было, он так тщательно взвешивает все его выражения, что в конце концов обнаруживает некий мотив для страха; даже самая широкая и полная амнистия не устраняет полностью его опасений. "Когда человек так легко прощает, - говорит он, - это потому, что он откладывает свою месть".

Наконец, после почти годичного пребывания в этом шумном и наполненном язвами городе, ему разрешили покинуть Брундиций. Он вернулся в свои прекрасные загородные дома, которые ему так нравились и где он был так счастлив; он снова нашел свои книги, возобновил прерванные занятия, снова смог оценить те драгоценные вещи, которыми мы наслаждаемся, не думая о них, пока они наши, и начинаем ценить только тогда, когда на мгновение их лишаемся, а именно: безопасность и досуг. Он думал, что ничто не может сравниться с очарованием тех первых дней, спокойно проведенных в Тускулуме после стольких бурь, и с тем возвращением к тихим удовольствиям ума, для которых, как он тогда почувствовал, он и в самом деле был создан. "Знай, - писал он своему другу Варро, - что после моего возвращения я примирился со своими старыми друзьями: Я имею в виду мои книги. По правде говоря, если я и бежал от них, то не потому, что сердился на них, просто я не мог видеть их без некоторого замешательства. Мне казалось, что, ввязываясь в столь бурные дела, с сомнительными союзниками, я недостаточно верно следовал их наставлениям. Они простили меня, они вернули меня в свою компанию; они сказали мне, что вы были мудрее меня, не покидая их. Теперь, когда я вновь обрел их расположение, я очень надеюсь, что легче перенесу зло, которое нас угнетает и которое нам угрожает".

Отныне его поведение было четко определено. Он обязан был держаться в стороне от нового правительства, в долгу перед великой партией, которой он служил и которую защищал. Он должен был искать в философии и литературе полезное занятие для своей деятельности и создать себе почетное убежище вдали от государственных дел, в которых он уже не мог принимать почетного участия. Он прекрасно понимал это, когда сказал: "Давайте сохраним хотя бы частичную свободу, умея скрываться и молчать". Молчать и скрываться - вот программа, которая больше всего подходила ему, как и всем тем, кто покорился после Фарсалии. Мы увидим, насколько он был ей верен.

I.

Очень трудно сразу отказаться от политики. Ведение государственных дел и осуществление власти, даже если они не приносят полного удовлетворения уму, отводят второстепенное значение другим вещам, и жизнь кажется бесцельной тому, кто не может больше заниматься ими. Именно это и произошло с Цицероном. Он, конечно, был очень искренен, когда, покидая Брундизий, взял на себя обязательство "полностью скрыть себя в литературе"; но он обещал больше, чем смог выполнить. Вскоре ему надоело отдыхать, и удовольствия учебы стали казаться слишком тихими; он с большим любопытством прислушивался к посторонним слухам и, чтобы лучше их услышать, покинул Тускулум и вернулся в Рим. Там он незаметно вернул себе прежние привычки; он вернулся в сенат; его дом снова был открыт для всех, кто любил и ценил литературу; он снова стал часто бывать в домах друзей, которых имел в партии Цезаря, и с их помощью возобновил общение с самим Цезарем.

Они легко примирились, несмотря на все свои недоброжелательные мотивы. Вкус к интеллектуальным удовольствиям, объединявший их, был сильнее всех политических антипатий. Устранив первое раздражение, они подошли друг к другу с той легкостью, которую дают привычка и опыт общества, забыв или казалось, что забыли все разногласия, которые их разделяли. Тем не менее эти отношения стали для Цицерона сложнее, чем когда-либо. В своем старом сокурснике он нашел не только защитника, но и хозяина. Между ними уже не было, как прежде, соглашения или понимания, порождавшего взаимные обязательства; был победитель, которому законы войны позволяли все, и побежденный, обязанный жизнью его милосердию. Сложность положения была выше, потому что чем больше прав было у завоевателя на требование, тем больше общественное мнение требовало от побежденных сдержанности. Можно предположить, что во время Галльской войны Цицерон защищал проекты Цезаря по дружбе или по убеждению; но поскольку он показал, что не одобряет его дело, смело высказывая свое мнение во время гражданской войны, почтение, которое он мог бы проявить к его желаниям, было не более чем своего рода низменной лестию и дискредитирующим способом заслужить его помилование. Уже сейчас его внезапное возвращение из Фарсалии вызывало множество нареканий. "Мне не простили, что я жил", - говорил он. Еще меньше его прощали за близкие отношения с друзьями Цезаря. Добрые граждане роптали, видя, что он так усердно посещает дом Бальбуса, ходит обедать к сладострастному Евтрапелу в компании с Пансой или Антонием, к актрисе Цитерис, принимает участие в роскошных пирах, которые Долабелла устраивала на деньги побежденных; со всех сторон злопыхатели открывали глаза на его слабости. Тогда ему приходилось одновременно удовлетворять все стороны, держаться с завоевателями и побежденными ради своей репутации или безопасности, жить рядом с господином, не будучи слишком самоуверенным и никогда не обижая его, и в этих опасных отношениях согласовывать то, что он был обязан своей чести, с тем, что было необходимо для его покоя. Это была щекотливая ситуация, из которой обычному человеку, возможно, пришлось бы с

трудом выпутаться, но которая была не под силу Цицерону. Выйти из нее ему помогло одно чудесное качество, которое не позволяло ему казаться слишком скромным и подлым, даже когда он был вынужден льстить. Мадам де Севинье где-то сказала: "Остроумие - это достоинство". Это высказывание верно во всех смыслах; ничто так не помогает пережить трудные времена, как подлость. Когда человек сохраняет остроумие перед абсолютным господином, когда он осмеливается шутить и улыбаться посреди молчания и ужаса других, он показывает этим, что величие того, с кем он говорит, не пугает его и что он чувствует себя достаточно сильным, чтобы поддержать его. Оставаться хозяином самому себе в его присутствии - это все же способ отвадить его, и мне кажется, что требовательный и подозрительный деспот должен быть почти так же недоволен теми, кто осмеливается быть остроумным перед ним, как и теми, кого он может заподозрить в смелости. Итак, ниже мужества души, вдохновляющего на энергичные решения, но рядом с ним - мужество разума, которое не следует презирать, ибо зачастую это единственное возможное мужество. После поражения решительных людей наступает черед людей остроумных, и они еще оказывают некоторую услугу, когда остальные уже ничего не могут сделать. Поскольку они хитры и податливы, поскольку они могут быстро поднять голову после того, как необходимость заставила их склонить ее, они с некоторой долей чести сохраняют себя при разорении своей партии. Их насмешка, какой бы сдержанной она ни была, является своего рода протестом против навязанного всем молчания, и она, по крайней мере, предотвращает потерю свободы слова после потери свободы действия. Остроумие - не такая уж пустяковая вещь, как принято считать; у него есть и свое величие, и, возможно, после великой катастрофы, когда все молчат, подавлены и удручены, только оно поддерживает человеческое достоинство, которому грозит гибель.

Примерно такую роль играл Цицерон в это время, и мы должны признать, что она не была лишеной важности. В этом великом городе, покорном и немом, он один осмелился говорить. Он начал это делать рано, еще в Брундизии, не зная, получит ли он помилование, когда напугал Аттика свободой своих высказываний. Безнаказанность, естественно, сделала его смелее, и после возвращения в Рим он почти не принимал других мер предосторожности, кроме как сделать свои шутки как можно более приятными и остроумными. Цезарю нравилось остроумие, даже если оно проявлялось за его счет. Вместо того чтобы сердиться на шутки Цицерона, он собирал их и в разгар войны в Испании приказал своим корреспондентам присылать их ему. Цицерон, который знал об этом, говорил без ограничений. Эта свобода, столь редкая в то время, притягивала к нему все взгляды. Никогда еще вокруг него не было столько общества. Друзья Цезаря охотно посещали его общество, чтобы по примеру своего вождя придать себе вид либеральности и терпимости. Поскольку он был самым известным представителем республиканской партии, уцелевшим после смерти Помпея и Катона, вокруг него толпились оставшиеся сторонники республики. Люди приходили к нему со всех сторон, и все партии встречались по утрам в его притворе. "В одно и то же время, - говорил он, - я получаю визиты от многих добрых граждан, которые удручены, и от наших радостных завоевателей"

В этом внимании, несомненно, было что-то лестное, и ничто, должно быть, не доставляло ему большего удовольствия, чем вновь обрести свою значимость. Заметим, однако, что, вернув себе положение выдающегося человека, чьей дружбы добивались и чей дом часто посещали, он уже не выполнил первую часть программы, которую наметил для себя; доля, которую он принял в то же время в возвращении изгнанников, вскоре заставила его забыть о второй. Он перестал прятаться, чтобы ответить на ухаживания Цезаря. Мы увидим, как он перестал молчать, чтобы поблагодарить его за милосердие.

Милосердие Цезаря не зря вызывает восхищение, и оно заслуживает тех похвал, которые ему воздают. Впервые среди безжалостных войн древнего мира забрезжил луч человечности.

До сих пор завоевателю не приходило в голову сомневаться в объеме своих прав; он считал, что они не имеют границ, и пользовался ими без всяких колебаний. Кто до Цезаря додумался провозгласить и применить на практике уважение к побежденным? Он был первым, кто заявил, что его месть не превзойдет победу и что он не будет наносить удары по обезоруженному врагу. Восхищение вызывает и то, что он подал этот прекрасный пример мягкости и умеренности в период насилия, между проскрипциями Суллы и Октавия; что он помиловал своих врагов в тот самый момент, когда они расправлялись с его солдатами, которые были в плену, и сжигали заживо его моряков на своих кораблях. Однако мы не должны преувеличивать, а история не должна быть панегириком. Не пытаюсь умалить славу Цезаря, мы можем позволить себе спросить, какими мотивами он руководствовался, помиловывая побежденных, и вправе поинтересоваться, как и в каких пределах он проявлял свое милосердие.

Курио, один из его ближайших друзей, сказал однажды Цицерону в частной беседе, что Цезарь жесток от природы и что он щадил своих врагов только для того, чтобы сохранить расположение народа;^[285] но скептик Курио был очень склонен, как и Каллий, смотреть на людей всегда с их плохой стороны: он, конечно, оклеветал своего начальника. Правда в том, что Цезарь был благоразумен и по природе, и по политике: *pro natura et pro instituto*; так говорит^[286] продолжатель его *Комментариев*, хорошо его знавший. Если сердце не меняется, то политика часто меняется в зависимости от обстоятельств. Когда человек добр исключительно по своей природе, он добр всегда; но когда к природному инстинкту, склоняющему к милосердию, добавляется размышление, подсчитывающее, какое благотворное влияние окажет милосердие и какую выгоду можно из него извлечь, может случиться, что человек станет менее милосердным, как только у него уменьшится интерес быть таковым. Тот, кто становится мягким и гуманным в силу политики, чтобы привлечь к себе людей, станет жестоким также в силу политики, если ему понадобится их запугивать. Так случилось с Цезарем, и при внимательном изучении его жизни мы обнаруживаем, что его милосердие не раз страдало от затмения. Я не думаю, что он совершал беспричинные жестокости ради их совершения, как это делали многие его современники; но он не воздерживался и тогда, когда находил в них какую-то выгоду. Будучи претором в Испании, он иногда брал штурмом города, которые готовы были сдаться, чтобы получить предлог для их разграбления. В Галлии он не стеснялся устрашать своих врагов страшной местью; мы видим, как он обезглавил весь сенат венетов, расправился с усипетами и тенктерами, продал в рабство сразу сорок тысяч жителей Генабума и отрубил руки всем в Укселлодунуме, кто взялся за оружие против него. И разве не держал он в тюрьме целых пять лет героического вождя арвернов Верцингеторикса, который был столь достойным его противником, чтобы в день своего триумфа спокойно отдать приказ расправиться с ним? Даже во время гражданской войны, когда он сражался со своими согражданами, он устал от помилования. Когда он увидел, что его система милосердия не обезоруживает его врагов, он отказался от нее, и их упрямство, которое удивляло его, в конце концов сделало его жестоким. По мере того как борьба затягивалась, она принимала все более мрачные тона с обеих сторон. Война между республиканцами, измученными поражениями, и завоевателем, взбешенным их сопротивлением, стала беспощадной. После Фапса Цезарь подал пример наказания, а его армия, вдохновленная гневом, на его глазах расправлялась с побежденными. Отправляясь в свой последний поход в Испанию, он объявил, что его милосердие исчерпано и что все, кто не сложит оружие, должны быть преданы смерти.

Поэтому битва при Мунде была ужасной. Дио рассказывает, что обе армии атаковали с молчаливой яростью, и вместо военных песен, которые обычно звучали на , можно было услышать лишь слова, произносимые через определенные промежутки времени: "бей и убивай". Когда бой закончился, началась резня. Старшего сына Помпея, которому удалось бежать, несколько дней выслеживали в лесу и убивали без пощады, как венедских вождей в наших войнах при Бокаже.

Самый яркий момент милосердия Цезаря наступил сразу после битвы при Фарсалии. Вступив в Италию, он заранее объявил, что проскрипции не будут возобновлены. "Я не буду подражать Сулле", - заявил он в знаменитом письме, которое, несомненно, было широко распространено. "Давайте введем новый способ завоевания и будем искать свою безопасность в милосердии и мягкости". Поначалу он не оправдал этих справедливых слов. После победы он приказал солдатам щадить своих сограждан, а на самом поле боя подал руку Бруту и многим другим. Однако ошибочно думать, что в тот момент была объявлена всеобщая амнистия.^[288] Напротив, эдикт Антония, управлявшего Римом в отсутствие Цезаря, строго запрещал любому помпеянцу возвращаться в Италию, не получив разрешения. Исключение составили лишь Цицерон и Лаэлий, которым нечего было опасаться. Многие другие вернулись позже, но их отзывали только по отдельности и по специальному указу. Это был способ Цезаря максимально использовать свое милосердие. Обычно помилования, которые давались по отдельности, не давались безвозмездно, они почти всегда покупались изгнанниками за часть своего имущества. Кроме того, сначала они редко были полными; изгнанникам позволяли вернуться в Сицилию, затем в Италию, прежде чем полностью открыть для них ворота Рима. Эти ловкие шаги, умножающие число милостей, оказанных Цезарем, не давали остыть восхищению публики. Каждый раз хор льстецов возобновлял свои восхваления, не переставая отмечать щедрость победителя.

После Фарсалии в Греции и Азии осталось некоторое количество изгнанников, которые с нетерпением ждали разрешения вернуться домой и не все его получили. Письма Цицерона оказывают нам добрую услугу, знакомя нас с некоторыми из них. Это люди разного положения и достатка, купцы и земледельцы из податных сословий, а также знатные вельможи. Рядом с Марцеллом, Торкватом и Домицием есть совершенно неизвестные люди, такие как Требиан и Тораний, что свидетельствует о том, что месть Цезаря не остановилась на главах партии. Среди них мы находим также трех писателей, и стоит отметить, что они, пожалуй, были самыми малоизученными. Один из них, Т. Ампей, был пламенным республиканцем, который в изгнании не проявил такой твердости, как можно было бы ожидать. Он был занят написанием истории выдающихся людей, и, похоже, ему не очень помогли хорошие примеры, которые он нашел там. Двое других, мало похожих друг на друга, известны нам лучше: это этрусский Цецина, купец и остроумец, и ученый Нигидий Фигул. Нигидий, которого сравнивали с Варро по масштабам его достижений и который, как и тот, был одновременно философом, грамматиком, астрономом, физиком, ритором и юристом, особенно поразил современников масштабами своих теологических изысканий. Поскольку он был замечен в том, что много занимался доктринами халдеев и последователей Орфея, его считали великим магом. Считалось, что он предсказывает будущее, и его подозревали в воскрешении мертвых. Столь разнообразные занятия не мешали ему интересоваться делами своей страны. Не считалось, что ученый освобожден от выполнения обязанностей гражданина. Он добивался и получал государственные должности: был претором в трудные времена и был замечен за свою энергию. Когда Цезарь вошел в Италию, Нигидий, верный максиме своего учителя Пифагора, которая предписывает мудрецу нести помощь закону, когда он находится под угрозой, поспешил оставить свои книги и был одним из главных участников сражения при Фарсалии. Цецина поначалу казался таким же твердым, как

Нигидий, и, как и он, отличался республиканским пылом. Не ограничившись тем, что взял в руки оружие против Цезаря, он, кроме того, оскорбил его в памфлете в начале войны: но он был столь же слаб, сколь и жесток, и не мог вынести изгнания. Этот легкомысленный и мирской человек нуждался в удовольствиях Рима и был удручен тем, что лишился их. Чтобы добиться помилования, он задумал написать новое произведение, призванное опровергнуть старое и уничтожить его дурное влияние. Он назвал его *"Кереле"*, и это название хорошо показывает его характер. В нем он без меры восхвалял Цезаря и при этом постоянно боялся, что сказал недостаточно. "Я дрожу всеми конечностями, - говорил он Цицерону, - когда спрашиваю себя, будет ли он доволен" Столько унижений и подлостей удалось смягчить победителю, и хотя он безжалостно оставил энергичного Нигидия, который не умел льстить, умирать в изгнании, он позволил Цецине приблизиться к Италии и обосноваться в Сицилии.

Цицерон стал утешителем всех этих изгнанников и использовал свое влияние для улучшения их положения. Он служил им всем с одинаковым рвением, хотя среди них были и такие, на кого у него были причины жаловаться; но он уже не вспоминал об их обидах, видя их несчастья. В письмах к ним он проявлял изящный такт, приспособливая свой язык к их положению и чувствам, мало заботясь о том, соответствует ли он самому себе, если мог утешить их и быть им полезным. Он говорил тем, кто сетовал на то, что их держат вдали от Рима, что они ошибаются, желая вернуться, и что лучше просто слышать сообщения о несчастьях республики, чем видеть их своими глазами; он писал в противоположном ключе тем, кто слишком мужественно поддерживал изгнание и не просил об отзыве, к большому отчаянию их семей. Когда он встречал слишком раболепное усердие в ожидании и выпрашивании доброты Цезаря, он без колебаний порицал его и с бесконечным тактом напоминал несчастным о том самоуважении, которое они забыли. Если же, напротив, он видел, что кто-то склонен совершить героическое безрассудство и попытаться сделать бесполезный и опасный шаг, он спешил сдержать этот порыв праздной смелости и проповедовал благоразумие и смирение. В течение всего этого времени он не жалел своих сил. Он ходил к друзьям хозяина, а если требовалось, то и к самому хозяину, хотя было очень трудно подойти к человеку, на плечах которого лежали дела всего мира. Он умолял, обещал, изнурял своими мольбами и почти всегда добивался успеха, потому что Цезарь стремился все больше и больше втягивать его в свою партию, оказывая ему милости. Получив благосклонность, он желал первым сообщить о ней изгнаннику, который с нетерпением ждал ее; он сердечно поздравлял его и добавлял к своим комплиментам несколько советов умеренности и молчания, которые он охотно давал другим, но которым не всегда следовал сам.

Среди этих изгнанников не было более важной персоны, чем бывший консул Марцелл; не было и того, кого Цезарь имел столько причин ненавидеть. В качестве жестокой бравады Марцелл избил прутьями жителя Комо, чтобы показать, какое значение он придает правам, которые Цезарь даровал этому городу. После Фарсалии он удалился в Митилену и не думал возвращаться, когда его родственникам и Цицерону взбрело в голову добиться его помилования. Предпринимая первые шаги, они столкнулись с неожиданным препятствием: они думали, что им нужно только умолять Цезаря, а пришлось начать с умиротворения Марцелла. Это был энергичный человек, которого не сломил неудачный исход его дела, настоящий философ, примирившийся с изгнанием, упрямый республиканец, который не хотел возвращаться в Рим, чтобы увидеть ее рабыней. Потребовались долгие переговоры, прежде чем он согласился позволить им потребовать от завоевателя что-либо для него, и даже тогда он позволил это с очень плохой грацией. Когда мы читаем письма, которые Цицерон написал ему по этому поводу, мы восхищаемся его мастерством, но с трудом понимаем мотивы его настойчивости. Мы с удивлением спрашиваем, почему он проявил

большой интерес к возвращению Марцелла, чем сам Марцелл. Они никогда не были тесно связаны; Цицерон не церемонился, порицая его упрямство, и мы знаем, что такие жесткие и своевольные характеры ему не подходили. Должно быть, у него был какой-то более веский мотив, чем привязанность, чтобы так сильно желать возвращения Марцелла в Рим. Этим мотивом, о котором он не упоминает, но о котором мы можем догадаться, был страх перед общественным мнением. Он прекрасно знал, что его упрекают в том, что он недостаточно сделал для своего дела, и временами обвинял себя в том, что слишком быстро отказался от него. Когда в Риме, где он так весело проводил время за роскошными обедами, которые давали ему Гиртий и Долабелла и на которые он ходил, по его словам, чтобы немного оживить свое рабство, он вспоминал о тех храбрецах, которые были убиты в Африке и Испании или жили в изгнании в каком-нибудь скучном и неизвестном городе в Греции, он сердился на себя за то, что не был с ними, и мысль об их страданиях часто мешала ему наслаждаться. Именно по этой причине он с таким рвением добивался их возвращения. Ему было важно уменьшить число тех, чьи страдания составляли неприятный контраст с тем счастьем, которым он наслаждался, или кто своим надменным поведением, казалось, осуждал его покорность. Каждый раз, когда изгнанник возвращался в Рим, Цицерону казалось, что он избавился от угрызений совести и избежал упреков недоброжелателей. Поэтому, когда он, вопреки своим ожиданиям, добился помилования Марцелла, его радость не знала границ. Она дошла до того, что он забыл о принятом им решении хранить молчание, которому он был верен в течение двух лет. Он выступил в сенате, чтобы поблагодарить Цезаря, и произнес знаменитую речь, которая дошла до нас.^[290]

Репутация этой речи имела самую разную судьбу. Долгое время ею безоговорочно восхищались, а в прошлом веке достойный Роллин считал ее образцом и совершенством красноречия; но этот энтузиазм значительно поубавился с тех пор, как мы стали меньше ценить искусство деликатно восхвалять принцев, а свободную и открытую речь ценить выше, чем самую изощренную лесть. Конечно, иногда нам хотелось бы, чтобы в этой речи было чуть больше достоинства, и мы особенно потрясены тем, как в ней трактуются неловкие воспоминания о гражданской войне. Ему следовало бы ничего не говорить о них или высказаться более смело. Должен ли он, например, скрывать мотивы, побудившие республиканцев взяться за оружие, и сводить всю борьбу к конфликту между двумя выдающимися людьми? Стоило ли после поражения Помпея приносить его в жертву Цезарю и с такой уверенностью утверждать, что тот использовал бы победу менее удачно? Чтобы мы могли менее строго судить об уступках, которые Цицерон считал себя обязанным сделать победившей стороне, мы должны вспомнить обстоятельства, при которых была произнесена эта речь. Впервые после Фарсалии он выступал на публике. В том сенате, очищенном Цезарем и заполненном его креатурами, свободная речь еще не звучала. Говорили только друзья и поклонники мастера, и какие бы излишества мы ни находили в похвалах Цицерона, мы можем быть уверены, что все эти льстивые речи должны были показаться слабыми по сравнению с теми, что мы слышим каждый день. Добавим, что, поскольку никто еще не осмелился испытать терпение Цезаря, его пределы не были точно известны. Естественно, что тот, кто точно не знает, где начинается безрассудство, немного опасается стать безрассудным. Когда человек не знает границ дозволенной свободы, страх переступить их иногда вообще не позволяет их достичь. Кроме того, этот оратор, выступавший от имени изгнанника, сам был одним из побежденных. Он знал весь объем прав, которые давала победа, и не пытался этого скрыть. "Мы побеждены, - сказал он Цезарю, - ты можешь с полным правом предать нас всех смерти". В настоящее время все обстоит совсем иначе. Человечество ослабило эти безжалостные права, и побежденный, который знает это, не уступает так полностью; с того момента, как он не подвергается тому же риску, ему легко иметь больше мужества; но когда он оказался перед господином, имеющим над ним

абсолютную власть, когда он знал, что свобода и жизнь принадлежат ему только по услуге, всегда отменяемой, он не мог говорить с той же смелостью, и было бы несправедливо называть сдержанность, налагаемую таким опасным положением, робостью. Есть еще один способ, более простой и, вероятно, более верный, чем другие, объяснить эти слишком преувеличенные похвалы, в которых упрекали Цицерона, а именно: признать, что они были искренними. Чем больше прав у завоевателя, тем более достойно он от них отказывается, а заслуга еще больше, когда от них отказываются в пользу человека, которого есть законные причины ненавидеть. Соответственно, сенаторы были очень взволнованы, когда увидели, что Цезарь помиловал своего личного врага, и Цицерон разделял это волнение. О том, что все эти излияния радости и благодарности, которыми наполнена его речь, не были простым ораторским приукрашиванием, свидетельствует то, что мы находим их в письме, которое он адресовал Сульпицию и которое не было написано для публики. "Тот день показался мне столь величественным, - говорит он, рассказывая о том памятном заседании сената, - что мне показалось, будто я вижу, как вновь восстает республика" Это было очень далеко, и действительно, ничто так не напоминало возрождение республики, как этот произвол деспота, помиловавшего людей, которые были виновны лишь в том, что служили своей стране. Эта яростная гипербола, тем не менее, свидетельствует о глубоких и искренних чувствах, которые милосердие Цезаря вызвало у Цицерона. Мы знаем, как открыта была эта чувствительная натура к сиюминутным впечатлениям. Обычно он позволяет восхищению или ненависти охватить себя с такой силой, что редко удерживается в рамках при их выражении. Отсюда в речи, посвященной Марцеллу, несколько гиперболических восхвалений и избыток комплиментарных фраз, которые легко объяснить, хотя лучше бы их там не было.

Сделав эти оговорки, остается только восхищаться. Речь Цицерона содержит не только льстецов, как утверждается, и те, кто читает ее внимательно и без предубеждений, найдут в ней кое-что еще. Поблагодарив Цезаря за его милосердие, он берет на себя смелость сказать ему несколько истин и дать несколько советов. Эта вторая часть, которая сейчас несколько скрыта под блеском другой, гораздо более любопытна, хотя и менее поразительна, и, должно быть, произвела больший эффект в свое время. Хотя он пересматривал свою работу перед публикацией, как это было принято у него, он, должно быть, сохранил движение импровизации. Если вначале он не нашел тех великих периодов, самых звучных и напыщенных в латинском языке, то, по крайней мере, вероятно, что он не очень изменил порядок идей и связность речи. Мы чувствуем, что он постепенно возбуждается и разогревается, и по мере того, как он продвигается вперед, он становится более смелым. Успех его красноречия, которого они так долго были лишены, аплодисменты друзей, восхищение и удивление новых сенаторов, которые еще не слышали его, тот вид транспорта, который испытывает человек во время речи, когда чувствует, что его слушают; в общем, само место, где он выступал, те стены сенатского дома, о которых он упоминал в своей речи и которые хранили память о стольких красноречивых и свободных голосах, - все это снова запало ему в душу. Он забыл о робких предосторожностях начала выступления, и смелость пришла вместе с успехом. Не косвенно ли он нападал на абсолютную власть, когда сказал: "Мне горько думать, что судьба республики, которая должна быть бессмертной, целиком зависит от жизни одного человека, который должен когда-то умереть". А что можно сказать о другом высказывании, еще более резком, почти жестоком? "Ты сделал многое, чтобы заслужить восхищение людей; ты сделал недостаточно, чтобы заслужить их похвалу" Что должен сделать Цезарь, чтобы будущее могло восхвалять его так же сильно, как оно восхищается им? Он должен изменить то, что существует: "Республика не может оставаться такой, какая она есть". Он не объясняет, но мы догадываемся, чего он хочет. Он хочет свободы, не той полной свободы, которой они наслаждались до Фарсалии, а умеренной и регулируемой свободы, совместимой с сильным и победоносным правительством,

единственной свободы, которую может поддержать Рим. Очевидно, что в этот момент Цицерон не считал невозможным найти компромисс между Цезарем и свободой. Разве человек, который так демонстративно отказался от одного из наименее оспариваемых прав на победу, не мог поддаться искушению отказаться от других впоследствии? И если он был столь милостив и великодушен по отношению к частным лицам, разве запрещено думать, что однажды он проявит такую же либеральность по отношению к своей стране? Какой бы слабой ни была эта надежда, ведь другой тогда не было, честный человек и добропорядочный гражданин не позволит ей пропасть, и его долг - всеми возможными способами поощрять Цезаря к ее осуществлению. Они не были виноваты в том, что без удержу восхваляли его за то, что он сделал, чтобы побудить его сделать еще больше, и мне кажется, что похвалы, которыми Цицерон осыпает его, если вспомнить о намерении, с которым он их произносил, немного теряют тот вид раболепия, в котором их упрекали.

Цезарь с удовольствием выслушал комплименты и без гнева - советы. Он был слишком доволен тем, что Цицерон наконец-то нарушил молчание, чтобы думать о том, чтобы сердиться на его слова. Ему было важно, чтобы этот государственный деятель, к которому были прикованы все взгляды, так или иначе вернулся к общественной жизни. Пока этот мощный голос продолжал оставаться немым, он, казалось, протестовал против нового правительства. Даже не пытаясь возразить ему, он давал понять, что не имеет на это права, и тем самым утяжелял рабство. Тогда он был настолько доволен тем, что снова слышит голос Цицерона, что позволил ему говорить все, что ему нравится. Цицерон быстро понял это и воспользовался этим. С этого момента, когда он выступает на публике, мы чувствуем, что он более спокоен. Его тон становится более твердым, и он меньше беспокоится о комплиментах и восхвалениях. В речи, посвященной Марцеллу, он испробовал все возможные вольности. Нашупав однажды почву, он стал более уверенным в своих шагах и шел уверенно.

Таково было положение Цицерона во время диктатуры Цезаря; мы ясно видим, что оно не было таким скромным, как утверждается, и что во времена деспотизма он смог оказать некоторые услуги свободе. Эти услуги в целом были плохо оценены, и меня это не удивляет. С людьми все обстоит примерно так же, как с произведениями искусства: когда мы видим их на расстоянии, нас поражают только смелые ситуации и хорошо прорисованные позиции; детали и тонкие оттенки ускользают от нас. Мы можем понять тех, кто полностью отдается завоевателю, как Курио или Антоний, или тех, кто постоянно сопротивляется ему, как Лабийен и Катон. Что же касается тех изобретательных и гибких умов, которые бегут от любых крайностей, ловко живут между покорностью и бунтом, скорее обращаются к трудностям, чем заставляют их преодолевать, не отказываются заплатить несколькими лестями за право сказать несколько истин, то мы всегда испытываем искушение быть суровыми по отношению к ним. Поскольку на расстоянии, с которого мы смотрим на них, мы не можем четко определить их позицию, их малейшее подобострастие кажется нам трусостью, а они, кажется, преклоняют колена, когда они только кланяются. Только приблизившись к ним, то есть изучив факты поближе, нам удастся отдать им должное. Я думаю, что такое подробное изучение не является неблагоприятным для Цицерона и что он не ошибался, когда позднее, говоря об этом периоде своей жизни, сказал, что его рабство не было лишено некоторой чести: *quievi cum aliqua dignitate*.^[295]

II.

Рассказывая об отношениях Цицерона и Цезаря после Фарсалии, я намеренно не стал говорить о вежливом споре, который они вели о Катоне. Это был настолько любопытный инцидент, что он, как мне кажется, заслуживает отдельного изучения, и для того, чтобы лучше понять чувства, которые каждый из них привнес в этот спор, возможно, не будет лишним начать со знакомства с человеком, который был предметом спора.

О Катоне у нас в целом сложилось достаточно верное представление, и те, кто нападает на него, а также те, кто восхищается им, почти единодушны в отношении основных черт его характера. Он не был одной из тех неуловимых и многогранных натур, как Цицерон, которых так трудно уловить. Напротив, никто никогда не был более откровенным, более однообразным, чем он, и нет в истории фигуры, чьи хорошие и плохие качества были бы так четко обозначены. Единственная опасность для тех, кто его изучает, - это соблазн еще больше преувеличить этот смелый рельеф. При небольшом намерении легко сделать из этого упряма упрямую глыбу, из этого откровенного и искреннего человека - хама и грубияна, то есть нарисовать карикатуру, а не портрет Катона. Чтобы не впасть в эту крайность, будет уместно, прежде чем говорить о нем, еще раз прочитать короткое письмо, которое он адресовал Цицерону, будучи проконсулом Киликии.^[296] Эта записка - все, что осталось нам о Катоне, и я был бы удивлен, если бы она не поразила тех, кто имеет о нем предвзятое представление. В ней нет ни грубости, ни жестокости, а, напротив, много утонченности и остроумия. Повод для письма был очень сложным: речь шла отказе Цицерону в услуге, которую он очень хотел получить. В старости у него появилось стремление стать завоевателем, и он просил сенат проголосовать за благодарственный молебен богам за успех только что проведенной кампании. Сенат в целом проявил покорность этому капризу, Катон почти в одиночку воспротивился; но он не хотел ссориться с Цицероном, и письмо, которое он написал, чтобы оправдать свой отказ, - шедевр ловкости. Он показывает ему, что, выступая против его требования, он понимает интересы своей славы лучше, чем он сам. Если он не благодарит богов за успехи, достигнутые Цицероном, то лишь потому, что считает, что Цицерон обязан ими только себе. Не лучше ли воздать ему все почести, чем приписывать их случайности или покровительству небес? Это, конечно, очень любезный способ отказа, который не оставлял Цицерону повода для гнева, хотя он и был недоволен. Итак, Катон был остроумным человеком, хотя на первый взгляд нам трудно это предположить. Его характер стал гибким благодаря изучению греческой литературы; он жил среди элегантного общества и бессознательно что-то перенял от него. Именно это заставляет нас заподозрить остроумное письмо, и мы должны помнить о нем и перечитывать его каждый раз, когда у нас возникает соблазн представить его невоспитанным деревенщиной.

Однако следует признать, что обычно он был жестким и упрямым, строгим к себе и суровым к другим. Такова была особенность его юмора; он дополнял ее своим своеволием. Не только природа виновата в тех своевольных и абсолютных характерах, которые нам встречаются; определенное стремление к причудливой оригинальности и немного самодовольства очень часто заставляют нас помогать природе и выводить ее на более яркий уровень. К этому недостатку Катона привело само имя, которое он носил. Пример его прославленного деда всегда был перед его глазами, и его единственным занятием было походить на него, не принимая во внимание разницу времен и людей. Подражая, мы преувеличиваем. В добродетелях, которые мы пытаемся воспроизвести, всегда есть немного усилий и излишеств. Мы берем только самые яркие черты модели и пренебрегаем другими, которые их оттеняют. Так случилось и с Катоном, и Цицерон справедливо упрекает его в том, что он

подражал лишь грубым и жестким сторонам своего деда. "Если бы ты позволил строгости своего поведения взять несколько оттенков его веселых и легких манер, твои хорошие качества были бы более приятными". Несомненно, что в старом Катоне была доля пикантного оживления, деревенского веселья, шутливости добродушия, которых не было у его внука. Он лишь разделял с ним грубость и упрямство, которые доводил до крайности.

Из всех излишеств самым опасным, пожалуй, является излишество добра; это, по крайней мере, то, в чем труднее всего исправиться, ибо виновный сам себе аплодирует, и никто не смеет его упрекнуть. Великий недостаток Катона заключался в том, что он никогда не знал умеренности. Желая быть твердым в своем мнении, он стал глух к советам друзей и урокам опыта. Практическое ведение жизни, эта властная госпожа, говоря словами Боссюэ, не имела над ним власти. Его энергия нередко доходила до упрямства, а чувство чести порой было виновато в излишней щепетильности. Эта крайняя деликатность не позволила ему добиться успеха, когда он агитировал за государственные должности. Люди были очень требовательны к тем, кто просил их голоса. В остальное время года они позволяли водить себя за нос и плохо использовать, но в день выборов они знали, что они хозяева, и с удовольствием демонстрировали это. Их можно было заполучить, только ластя всем их капризам. Цицерон часто смеялся над этими несчастными и почтительными кандидатами (*natio officiosissima candidatorum*), которые утром стучатся в каждую дверь, тратят время на визиты и комплименты, считают своим долгом сопровождать генералов при въезде в Рим или выезде из него, составляют свиту всех влиятельных ораторов и вынуждены проявлять бесконечное внимание и уважение ко всем. Среди простого народа, от которого в конечном счете зависели выборы, более честные желали, чтобы им льстили, остальные требовали, чтобы их покупали. Катон был не тем человеком, который мог бы сделать ни то, ни другое. Он не хотел ни льстить, ни лгать; еще меньше он был согласен платить. Когда его заставили предложить те пиры и подарки, от которых так долго не смели отказаться кандидаты, он ответил прямо: "Ты торгуешься за удовольствия с развратными молодыми людьми или просишь управления миром римского народа?" И он не переставал повторять эту сентенцию, "что добиваться нужно только достоинств человека". Тяжелое высказывание! сказал Цицерон, и его не привыкли слышать в то время, когда все должности продавались. Это не нравилось людям, которые наживались на этой продажности, и Катон, который упорствовал в том, чтобы добиваться только своих заслуг, почти всегда побеждал тех, кто добивался своего с помощью денег.

Подобные персонажи, честные и откровенные, в разной степени встречаются как в частной, так и в общественной жизни, и по этой причине они относятся как к области комедии, так и к области истории. Если бы я не боялся нарушить уважение к серьезности изучаемой мною личности, я бы сказал, что этот надменный ответ, который я только что процитировал, заставляет меня невольно вспомнить об одном из лучших творений нашего театра. Это Катон, которого Мольер хотел изобразить в "*Мизантропе*". Здесь мы имеем дело только с состоянием частного лица, а не с мировым правительством, мы имеем дело только с судебным процессом; но в своем положении Катон из комедии говорит точно так же, как и другие. Он не желает подчиняться обычаям, которые не одобряет. Даже рискуя проиграть дело, он не станет посещать судей, и когда люди говорят ему: "И кого же ты намерен просить за себя?", он отвечает так же надменно, как Катон: "Кого же я намерен? Разум, мое правое дело и справедливость". Что бы мы ни чувствовали, эти личности всегда вызывают глубокое уважение. У нас нет сердца, чтобы обвинять их, но, тем не менее, мы должны иметь мужество сделать это. Честность, честь, свобода, все благородные цели в целом, не могут быть защищены с такой преувеличенной и натянутой строгостью. У них и так достаточно недостатков в борьбе с коррупцией и развратом, не нужно усугублять их бесполезной

жесткостью и суровостью. Умножать угрызения совести - значит обезоруживать добродетель. Достаточно того, что она вынуждена быть серьезной; зачем же делать ее отталкивающей? Не жертвуя ничем принципиальным, есть моменты, в которых она должна уступать мужчинам, чтобы управлять ими. Что доказывает, что мужчины, которые хвастаются тем, что никогда не уступают, ошибаются, так это то, что они не так непреклонны, как им кажется, и что, несмотря на сопротивление, они всегда в конце концов идут на некоторые уступки. Этот строгий, этот суровый Альцест - все-таки член общества, причем самого лучшего. Он живет при дворе, и мы прекрасно видим, что он из себя представляет. Я говорю не только по его манерам и внешнему виду, хотя я представляю себе *человека с зелеными лентами*, одетого со вкусом и элегантностью, но и по тем оборотам речи, которые он использует, по тем вежливым уловкам, которые также являются ложью и которых он не потерпит в Филинте. Прежде чем выступить против дворянина из сонета, он использует ловкие формулы, в которых мы улавливаем лишь проблеск правды:

"Вы находите в моем сонете что-нибудь неладное?"

"Я этого не говорю".

Что такое это "*я этого не говорю*", которое он так часто повторяет, как не достойная порицания уступчивость и слабость, если оценивать ее со всей строгостью мизантропа? Руссо сурово упрекает за это Альцеста, и я не думаю, что Альцест, если он останется верен своим принципам, сможет найти какой-либо ответ Руссо; не составит труда указать на противоречия того же рода и в Катоне. Этот суровый враг интриг, который поначалу ничего не делает для успеха своей кандидатуры, заканчивает агитацией: он, как и все остальные, отправился на *Campus Martius*, чтобы пожать руки гражданам и попросить их голоса. "Что! - иронически говорит ему Цицерон, которого эти несоответствия приводят в хорошее настроение, - твое дело - приходить и просить у меня голоса? Разве не я должен благодарить человека твоих достоинств, который хочет ради меня преодолевать усталость и опасности?" Этот суровый враг лжи сделал еще больше: у него был один из тех рабов, которых называют *nomenclatores*, знающий имя и профессию каждого гражданина Рима, и он использовал его, как и остальных, чтобы заставить бедных избирателей поверить, что он их знает. "Разве это не мошенничество и не обман общества?" - сказал Цицерон, и он не ошибся. Самое печальное, что эти уступки, подрывающие достоинство и единство характера, бесполезны: они обычно делаются с плохой грацией и слишком поздно; они не стирают воспоминаний о былой грубости и не приносят никому пользы. Несмотря на запоздалые просьбы и помощь своего *номенклатора*, Катон не добился должности консула, и Цицерон сурово обвиняет его в неловкости, из-за которой он потерпел неудачу. Несомненно, он мог бы обойтись и без консулата; но республика нуждалась в том, чтобы он стал консулом, а в глазах многих добропорядочных граждан благоприятствовать утонченной щепетильности и преувеличениям чести триумфу худших людей означало почти отказаться от нее и предать ее.

Легко понять эти излишества и преувеличения в человеке, который намерен *летать по человечеству*, как Альцест; но они непростительны в том, кто хочет жить с людьми, и тем более в том, кто стремится управлять ими. Управление людьми - дело приятное и трудное, требующее, чтобы человек не начинал с отталкивания тех, кем он хочет руководить. Конечно, он должен стремиться сделать их лучше, но для начала необходимо принять их такими, какие они есть. Первый закон политики - стремиться только к возможному. Катон часто пренебрегал этим законом. Он не мог снисходительно относиться к тем проявлениям внимания, без которых нельзя управлять народом; ему не хватало гибкости характера и той склонности к благородным интригам, которые делают человека успешным в делах, за

которые он берется; ему не хватало той уступчивости, которая объединяет противоположные притязания, успокаивает ревнивое соперничество и объединяет людей, разделенных по нравам, мнениям и интересам, вокруг одного человека. Он мог быть лишь ярким протестом против нравов своего времени; он не был главой партии. Осмелимся сказать, несмотря на уважение, которое мы к нему испытываем, что его дух был упрям, потому что его ум был узок. Поначалу он не различал, в каких вопросах человеку следует уступить, а в каких - отстаивать до последнего. Ученик стоиков, утверждавших, что все недостатки равны, то есть, по шутке Цицерона, что убить без нужды птицу так же неправильно, как задушить отца, он применил эту жесткую и странную теорию к политике. Его ум был ограничен самой простой законностью, и он с утомительным упорством защищал самые незначительные вещи. Его восхищение прошлым не знало дискриминации. Он подражал древним костюмам, следуя старым заповедям, и не носил тунику под тогой, потому что ее не носил Камилл. Его недостаточная широта взглядов, узкое и упрямое рвение не раз вредило республике. Плутарх упрекает его в том, что он бросил Помпея в объятия Цезаря, отказавшись от некоторых неважных удовлетворений своего тщеславия. Цицерон обвиняет его в том, что он вызвал недовольство рыцарей, которых он с таким трудом примирил с сенатом. Несомненно, рыцари выдвигали необоснованные требования, но ему следовало бы уступить во всем, а не позволять им поддерживать Цезаря своим огромным богатством. Именно по этому поводу Цицерон сказал о нем: "Он думает, что находится в республике Платона, а не в грязи Ромула", и это высказывание до сих пор лучше всего характеризует ту неуклюжую политику, которая, требуя от людей слишком многого, в итоге не получает ничего.

Природный характер Катона был оппозиционным. Он не понимал, как дисциплинировать и руководить партией, но был восхитителен, когда речь шла о борьбе с противником. Чтобы победить его, он применял тактику, в которой часто преуспевал: когда он видел, что решение, которое казалось ему роковым, вот-вот будет принято и что нужно любой ценой предотвратить голосование народа, он начинал говорить и не останавливался. Плутарх говорит, что он мог говорить целый день без устали. Его ничто не останавливало: ни ропот, ни крики, ни угрозы. Иногда ликтор стаскивал его с трибуны, но как только он освобождался, то снова поднимался. Однажды трибун Требоний настолько вышел из терпения от этого сопротивления, что велел отвести его в тюрьму: Катон, не смущаясь, продолжал свою речь на ходу, и толпа следовала за ним, чтобы послушать. Следует отметить, что он никогда не был по-настоящему непопулярен: простой народ, любящий мужество, был в конце концов покорен этим непоколебимым хладнокровием и этой непобедимой энергией. Иногда случалось, что они объявляли себя в его пользу, вопреки своим интересам и предпочтениям, и Цезарь, всемогущий среди населения, боялся, тем не менее, капризов Катона.

Тем не менее, как я уже говорил, Катон не мог быть главой партии, и еще более прискорбно то, что партия, за которую он боролся, не имела главы. Это было собрание способных и достойных людей, ни один из которых не обладал необходимыми качествами, чтобы возглавить остальных. Не говоря уже о Помпее, который был лишь сомнительным и недоверчивым союзником, среди остальных Сципион отталкивал всех своей надменностью и жестокостью; Аппий Клавдий был лишь доверчивым авгуром, верившим в священных кур; Марцелл был лишен уступчивости и урбанизма и сам сознавал, что почти никому не нравится; Сервий Сульпиций имел все слабости пунктуального юриста; и, наконец, Цицерон и Катон ошибались в противоположных направлениях, и для того, чтобы получить полноценного политика, необходимо было бы объединить их обоих или изменить их одного другим. Таким образом, в республиканской партии до Фарсалии были только яркие личности, но не было главы, и мы можем даже сказать, что, поскольку этот ревнивый эгоизм и эти соперничающие тщеславия плохо сочетались, партии почти не было.

Гражданская война, ставшая камнем преткновения для многих других, обнажившая столько малодушия и трусости, выявила, напротив, всю доброту и величие Катона. Тогда в его характере произошел своего рода кризис. Как при некоторых болезнях приближение последних мгновений придает уму большую возвышенность и ясность, так, по-видимому, при угрозе великой катастрофы, которая вот-вот должна была поглотить свободные институты Рима, честная душа Катона еще более очистилась, и его разум стал более справедливо смотреть на ситуацию, чувствуя общественную опасность. В то время как страх заставляет других впадать в крайности, он сдерживает обычную жестокость своего поведения, и, думая об опасностях, которым подвергается республика, становится одновременно сдержанным и умеренным. Тот, кто всегда был готов к бесполезному сопротивлению, советует уступить Цезарю; он желает, чтобы они удовлетворили все его требования; он соглашается на любые уступки, лишь бы избежать гражданской войны. Когда же она начинается, он с горечью подчиняется ей и старается всеми средствами уменьшить ее ужасы. Каждый раз, когда с ним советуются, он выступает на стороне умеренности и мягкости. Среди этих молодых людей, героев изысканного римского общества, среди этих начитанных и элегантных умников, именно суровый Катон защищает дело человечности. Несмотря на вспышки пламенных помпеянцев, он принял решение: ни один город не должен быть разграблен, ни один гражданин не должен быть убит на поле боя. Похоже, что приближение бедствий, которые он предвидел, смягчило это энергичное сердце. Вечером после битвы при Диррахии, когда в лагере Помпея все ликовали, один только Катон, увидев лежащие на земле трупы многих римлян, заплакал: благородные слезы, достойные сравнения с теми, что Сципион пролил над развалинами Карфагена, память о котором так часто вспоминала античность! В лагере при Фарсалии он сурово порицал тех, кто говорил только о резне и проскрипциях и заранее делил между собой дома и земли побежденных. Правда, после поражения, когда большая часть этих диких интриганов оказалась на коленях у Цезаря, Катон отправился повсюду, чтобы разжечь его врагов и возродить гражданские войны во всех концах земли. Как он хотел, чтобы они уступили перед битвой, так он был полон решимости не покоряться, когда уже не было надежды на свободу. Мы знаем о его героическом сопротивлении в Африке, не только против Цезаря, но и против неистовых людей республиканской партии, которые всегда были готовы совершить какой-нибудь эксцесс. Мы знаем, как он не принял помилование победителя после Фапса, когда увидел, что все потеряно, и покончил с собой в Утике.

Его смерть произвела огромное впечатление на весь римский мир. Она заставила покраснеть тех, кто начал привыкать к рабству; она дала как бы новый импульс удрученным республиканцам и возродила оппозицию. При жизни Катон не всегда оказывал услугу своей партии, но после смерти он был ей очень полезен. Запрещенное дело отныне имело свой идеал и своего мученика. Оставшиеся партизаны объединились и укрылись под этим великим именем. Особенно в Риме, в этом великом, беспокойном, беспокойном городе, где так много людей склонили голову, не покорившись, его прославление стало обычной темой для недовольных. "Битва бушевала вокруг тела Катона, - говорит М. Моммзен, - как в Трое она бушевала вокруг тела Патрокла". Фабий Галл, Брут, Цицерон и многие другие, без сомнения, неизвестные нам, написали его панегирик. Цицерон начал свою по просьбе Брута. Сначала его оттолкнула сложность темы: "Это работа для Архимеда", - сказал он;^[301] , но по мере продвижения вперед он полюбил свою работу и закончил ее с неким энтузиазмом. Эта книга до нас не дошла: мы знаем только, что Цицерон принес Катону полную и безоговорочную апологию. "Он возносит его до небес", говорит Тацит. Однако они не раз расходились во мнениях, и во многих местах своей переписки он говорит о нем без особого внимания; но, как это часто бывает, смерть все примирила. Кроме того, Цицерон, упрекавший себя в том, что недостаточно сделал для своей партии, был счастлив найти возможность отдать свой долг.

Его книга, в которой имя автора и имя героя сразу же стали рекомендовать, имела такой большой успех, что Цезарь был обеспокоен и недоволен этим. Однако он постарался не показать своего недовольства, а, напротив, поспешил написать Цицерону лестное письмо, чтобы поздравить его с талантом, который тот проявил в своем произведении. "Читая его, - говорил он ему, - я чувствую, что становлюсь более красноречивым". Вместо того чтобы применить какие-либо строгие меры, чего следовало опасаться, он решил, что только перо, по выражению Тацита, должно отомстить за те нападки, которые нанесло перо. По его приказу его лейтенант и друг Гиртий обратился к Цицерону с длинным письмом, которое было опубликовано и в котором он опровергал его книгу. Позже, поскольку этот ответ не был признан достаточным, Цезарь сам включился в списки и в разгар войны в Испании написал *"Анти-Катона"*.

Эта сдержанность Цезаря была справедливо оценена: она не свойственна людям, обладающим неограниченной властью, и римляне справедливо говорили, что редко кто довольствуется тем, что пишет, когда может запретить. К достоинствам его великодушного поведения добавляется и то, что он ненавидел Катона. В своих *"Комментариях"* он всегда говорит о нем с горечью, и хотя он привык поступать справедливо по отношению к своим врагам, он никогда не упускает случая порицать его. Не осмелился ли он утверждать, что, взявшись за оружие против него, Катон поддался личной злобе и желанию отомстить за поражения на выборах,^[304] когда хорошо знал, что никто не забывал о себе более великодушно, чтобы думать только о своей стране! Это произошло потому, что между ними было не только политическое разногласие, но и антипатия по характеру. Пороки Катона должны были быть особенно неприятны Цезарю, а его достоинства были теми, которые Цезарь не только не стремился приобрести, но даже не мог понять. Как мог он относиться к строгому соблюдению законов, к почти рабской привязанности к старым обычаям, к тому, кто находил живое удовольствие в том, чтобы смеяться над древними обычаями. Как мог блудник, вошедший в привычку растрачивать без счета государственные и свои собственные деньги, как мог он отдать справедливость тем строгим придиркам, которые Катон проявлял в обращении с государственными средствами, тому вниманию, которое он уделял своим частным делам, и тому странному для того времени стремлению не иметь больше долгов, чем имущества? Это были, повторяю, качества, которые Цезарь не мог постичь. Поэтому, нападая на них, он был искренен и убежден. Человек остроумный и приятный, равнодушный к принципам, скептически настроенный, привыкший жить в легкомысленном и полированном обществе, Катон вряд ли мог показаться ему кем-то иным, кроме как фанатиком и жестоким. Поскольку он ничего не ставил выше изысканности и вежливости манер, эlegantный порок подходил ему больше, чем дикая добродетель. Катон, напротив, хотя и не чуждался литературной культуры и духа общества, все же оставался в глубине души старомодным римлянином. Несмотря на всю свою силу, общество и литература не могли полностью преодолеть ту прямооту или, если хотите, грубость манер, которой он был обязан своему телосложению и своей расе и которую мы находим даже в его лучших поступках. Приведем лишь один пример: Плутарх в своем замечательном повествовании о последних минутах жизни Катона рассказывает, что, когда раб отказался из-за любви к Катону отдать ему свой меч, он сбил его с ног яростным ударом, от которого его рука покрылась кровью. В глазах такого привередливого человека, как Цезарь, этот удар показал вульгарную натуру и, боюсь, помешал ему понять величие этой смерти. Тот же контраст, или, скорее, та же антипатия, прослеживается во всем их личном поведении. В то время как максимой Цезаря было прощать друзьям все, и поэтому он доходил до благодушия, закрывая глаза на их измены, Катон был слишком требователен и конкретен по отношению к своим. На Кипре он без колебаний рассорился с Мунатием, своим спутником на всю жизнь, проявив к нему оскорбительное недоверие. В семье он, несомненно, был

образцом чести и верности; однако он не всегда сохранял то уважение и почтение к своей жене, которого она заслуживала. Мы знаем, как он без церемоний отдал ее Гортензию, который просил его о ней, чтобы после смерти Гортензия снова взять ее без колебаний. Как же по-другому вел себя Цезарь по отношению к своей, хотя у него были причины жаловаться на нее! Ночью в его доме застали врасплох человека, дело дошло до суда, он мог бы отомстить за оскорбление, но предпочел забыть о нем. Вызванный в качестве свидетеля к судьям, он заявил, что ничего об этом не знал, и таким образом спас своего соперника, чтобы сохранить репутацию жены. Он развелся с ней только позже, когда весть об интриге разлетелась по свету. Это был поступок воспитанного человека. Здесь же, между Катонем и ним, наименее щепетильный и в основном наименее благородный из двух, непостоянный и распутный муж, в силу некоторой природной деликатности, предстает в более выгодном свете.

Этот контраст в поведении, эта противоположность характеров, как мне кажется, объясняют то, как Цезарь пишет о Катоне в своей книге, даже лучше, чем все их политические разногласия. Сохранившиеся фрагменты этой книги и свидетельство Плутарха показывают, что он нападал на него с крайней жестокостью и пытался сделать его одновременно смешным и одиозным. Но это было бесполезно, это был напрасный труд. Люди продолжали, несмотря на все его усилия, читать и восхищаться книгой Цицерона. Репутация Катона не только пережила оскорбления Цезаря, но и еще больше возросла при империи. Во времена Нерона, когда деспотизм был наиболее тяжелым, Фрасея снова написала его историю, Сенека цитировал его на каждой странице своих книг, и до конца он был гордостью и образцом для честных людей, сохранивших хоть какое-то чувство чести и достоинства при общем унижении характера. Они изучали его смерть даже больше, чем его жизнь, потому что тогда им нужно было, прежде всего, научиться умирать, и когда возникала эта печальная необходимость, они ставили его пример перед глазами, и его имя было у них на устах. Поддерживать и утешать столько благородных сердец в этих жестоких испытаниях - несомненно, великая слава, и я думаю, что Катон не желал бы иного.

III.

Из поведения Цезаря после Фарсалии и из его отношений с Цицероном можно сделать вывод, что в это время он хотел приблизиться к республиканской партии. Ему было трудно действовать иначе. Пока речь шла о свержении республики, он принимал поддержку всех, и самые худшие люди приходили к нему по преимуществу. "Когда человек был обременен долгами и во всем нуждался, - говорил Цицерон, - и если, кроме того, он оказывался негодяем, способным на любую дерзость, Цезарь делал его своим другом", но все эти беспринципные и бессовестные люди, отлично подходящие для расстройств устоявшейся власти, ничего не стоили для установления новой. Невозможно было, чтобы правительство Цезаря внушало доверие до тех пор, пока некоторые почтенные люди, которых люди привыкли уважать, не были замечены вместе с хозяином и рядом с этими авантюристами, которых они научились бояться. А почетные люди находились в основном среди побежденных. Следует добавить, что Цезарь не думал о том, чтобы его победа была выгодна только одной стороне. Он не стремился, подобно Мариусу или Сулле, к триумфу какой-либо фракции: он хотел основать новое правительство и пригласил людей разных взглядов помочь ему в этом предприятии. Утверждалось, что он стремился примирить партии, и за это ему воздавались большие похвалы. Похвала не совсем справедлива: он не примирил их, а уничтожил. В монархической системе, которую он хотел установить,^[306] старым партиям республики не было места. Он ловко использовал разногласия в народе и сенате, чтобы господствовать над обоими; первым результатом его победы стало отстранение их обоих, и

можно сказать, что после Фарсалии на одной стороне был только Цезарь, а на другой - побежденные. Этим объясняется тот факт, что, одержав победу, он безразлично использовал приверженцев сената и демократов. Это равенство, которое он установил между ними, было естественным, поскольку все они в равной степени и без различия стали его подданными. Только он прекрасно понимал, что, принимая на службу старых республиканцев, он не должен был иметь всегда сговорчивых орудий и что ему придется предоставить им некоторую независимость действий и высказываний, чтобы сохранить хотя бы внешне некую видимость республики; но это само по себе не доставляло ему особого беспокойства. Он не испытывал того непобедимого отвращения к свободе, которое испытывают принцы, рожденные для абсолютного трона и знающие только ее название, чтобы бояться и ненавидеть ее. Он прожил с ней двадцать три года, он привык к ней, он знал ее важность. Поэтому он не стремился уничтожить ее полностью. Он не заглушил, как мог бы, красноречивые голоса, сожалеющие о прошлом; он даже не заставил замолчать ту изнурительную оппозицию, которая пыталась ответить на его победы насмешками. Он позволил критиковать некоторые действия своей администрации и разрешил людям давать ему советы. Этот великий ум прекрасно понимал, что страна становится истощенной, когда граждане становятся равнодушными к государственным делам и теряют вкус к их рассмотрению. Он не считал, что на пассивном и молчаливом повиновении может быть основано что-то прочное, и в основанном им правительстве хотел сохранить что-то от общественной жизни. Цицерон рассказывает об этом в любопытном отрывке из своей переписки: "Мы наслаждаемся здесь глубоким спокойствием, - пишет он одному из своих друзей, - однако я предпочел бы немного честного и полезного волнения"; и добавляет: "Я вижу, что Цезарь придерживается моего мнения".

Все эти причины побудили его сделать еще один шаг по пути великодушия и милосердия, на который он вступил после Фарсалии. Он помиловал большее число тех, кто носил оружие против него; он пригласил некоторых из них разделить его власть. В то самое время, когда он отзывал большую часть изгнанников, он назначил Кассия своим лейтенантом; Бруту он передал управление Цизальпийской Галлией, а Сульпицию - Грецией. О первых двух мы еще поговорим; важно, чтобы лучше оценить политику Цезаря, поскорее рассказать о третьем и поинтересоваться, как он стал достоин благосклонности завоевателя и каким образом он ею воспользовался.

Сервий Сульпиций принадлежал к знатному римскому роду и был самым знаменитым юристом своего времени. Цицерон воздает ему великую хвалу за то, что он первым ввел философию в право, то есть связал все те мельчайшие правила и точные формулы, из которых состоит эта наука, общими принципами и всеобъемлющими взглядами.^[308] Соответственно, он без колебаний ставит его намного выше своих предшественников, и особенно над тем великим родом Скаэволов, в котором, как казалось, до того времени воплощалась римская юриспруденция. Однако между ними и Сульпицием было различие, которое важно заметить: Скаэволы дали Риму юристов, авгуров, понтификов, то есть преуспели в искусствах, дружественных спокойствию и миру; но они были также очень активными гражданами, решительными политиками, доблестными солдатами, которые мужественно защищали свою страну от заговорщиков и от иноземцев. В своей насыщенной жизни они показали себя компетентными во всех делах и равными в любых ситуациях. Авгур Скаэвола, когда Цицерон знал его, был еще, несмотря на возраст, бодрым стариком, который вставал на рассвете, чтобы встретить своих клиентов. Он первым приходил в курию и всегда имел при себе какую-нибудь книгу, которую читал, чтобы не сидеть без дела в ожидании своих коллег; но в тот день, когда Сатурнин угрожал общественному спокойствию, этот ученый человек, так любивший учиться, этот немощный старик, который с трудом

держался на ногах и мог пользоваться только одной рукой, схватил этой рукой копье и во главе народа пошел на штурм Капитолия.^[309] Понтифик Скаэвола был не только способным юристом, но и честным администратором, память о котором Азия никогда не забывала. Когда крестьяне-налогоплательщики напали на его квестора Рутилия, виновного в том, что он хотел помешать им разорить провинцию, он защищал его с восхитительным красноречием и энергией, которую не могли поколебать никакие угрозы. Он отказался покинуть Рим во время первых проскрипций и оставить своих клиентов и их дела, хотя знал, какая участь его ожидает. Раненный на похоронах Мария, он был отправлен в путь через несколько дней возле храма Весты.^[310] Однако такие люди не были исключительными в Риме. В лучшие времена республики полноценный гражданин должен был быть одновременно земледельцем, солдатом, администратором, финансистом, адвокатом и даже юристом. Тогда не было специалистов, и в наши дни мы были бы вынуждены делать из одного древнего римлянина четыре или пять разных людей; но в период, о котором мы сейчас говорим, эти разнообразные способности, которые тогда требовались в одном человеке, были разделены: каждый человек отдавал себя специальной науке, и мы можем начать разделять людей изучения и людей действия. Трудно сказать, было ли это вызвано тем, что люди утратили энергию своего характера; или, может быть, следует думать, что, поскольку шедевры Греции стали известны, а каждая наука усложнилась, один человек уже не мог нести бремя всех объединенных? Как бы то ни было, если Сульпиций и был выше Скейволов как юрист, он далеко не обладал их твердостью как гражданин. Претор или консул, он никогда не был кем-то большим, чем человеком образованным и практичным. В обстоятельствах, требующих решительности, всякий раз, когда нужно было решать и действовать, он был не в своей тарелке. Мы чувствуем, что эта честная и нежная душа не была создана для того, чтобы быть первым магистратом республики в период революции. Его любовь всегда играть роль примирителя и третейского судьи в то время насилия заканчивалась тем, что вызывала смех. Сам Цицерон, хотя и был его другом, немного сомневается в нем, когда показывает нам этого великого миротворца, начинающего со своим маленьким секретарем, изучив все правила своих юристов, вмешиваться между сторонами в то время, когда эти стороны желали только уничтожить друг друга.

Цезарь всегда считал, что Сульпиций не из тех, кто может оказать ему решительное сопротивление, и с самого начала стремился привязать его к себе. Для начала он обзавелся союзником в его доме, причем союзником влиятельным. В Риме поговаривали, что достойный Сульпиций позволил себе помыкать своей женой Постумией; Цицерон, который любит повторять скандалы, несколько раз рассказывает нам об этом. Репутация Постумии не была безупречной, и Суетоний помещает ее имя в список женщин, которых любил Цезарь. Она одна из очень многочисленной компании; но этот непостоянный мужчина, который так быстро переходил от одной любовницы к другой, обладал такой необычной привилегией, что все женщины, которых он бросал, оставались его преданными подругами. Они прощали ему неверность, продолжали интересоваться всеми его успехами, ставили на службу его политике те огромные ресурсы изобретательности и настойчивости, которые присущи только влюбленной женщине. Несомненно, именно Постумия решила, что Сульпиций будет работать на Цезаря все время, пока тот был консулом, и противостоять ярости своего коллеги Марцелла, желавшего назначить другого наместника Галлии. Однако, несмотря на все свои слабости, Сульпиций был не менее искренним республиканцем, и когда началась война, он выступил против Цезаря и покинул Италию. После поражения он, как и остальные, покорился и вернулся к своим обычным занятиям, когда Цезарь разыскал его в своем отступлении, чтобы назначить наместником Греции. Конечно, невозможно было найти более подходящего для него правления. Проживание в Афинах, всегда устраивавшее богатых римлян, должно было быть особенно выгодным в то время, когда этот город был

пристанищем стольких знаменитых изгнанников. Сульпиций мог в то же время с удовольствием слушать самых знаменитых риториков и философов мира, говорить о Риме и республике с такими выдающимися личностями, как Марцелл и Торкват, и таким образом удовлетворять все свои вкусы одновременно. Ничто не могло быть более приятным, думали мы, для этого ученого и литератора, которого случай сделал государственным деятелем, чем осуществление широкой власти без опасности, в сочетании с самыми изысканными интеллектуальными удовольствиями в одной из величайших и красивейших стран мира. Поэтому мы должны были подумать, что Цезарь поступил для него самым приятным образом, отправив его на службу в тот город, куда римляне обычно ездили за удовольствиями. Однако не похоже, чтобы Сульпиций оценил эти преимущества. Едва он прибыл в Грецию, как почувствовал недовольство и желание уехать. Очевидно, не страна была ему неприятна, он не считал себя лучше в любом другом месте; но он сожалел о республике. Так робко защищая ее, он не мог утешиться ее падением и винил себя в том, что служил тому, кто ее низверг. Эти чувства ярко выражены в письме, которое он написал Цицерону из Греции. "Фортуна, - пишет он ему, - отняла у нас самое дорогое, что у нас есть; мы потеряли честь, достоинство и страну. В те времена, в которые мы живем, наиболее счастливы те, кто мертв".

Когда такой робкий и умеренный человек, как Сульпиций, осмелился так говорить, что же должны были сказать и подумать другие! Мы можем догадаться об этом, когда увидим, как Цицерон обращается к большему числу из них. Хотя он обращается к чиновникам нового правительства, он не пытается скрыть свое мнение; он свободно выражает свои сожаления, потому что хорошо знает, что их разделяют те, кому он пишет. Он обращается к Сервилию Исаврику, проконсулу Азии, как к человеку, которого не удовлетворяет абсолютная власть одного и который желает, чтобы на нее были наложены некоторые ограничения.^[312] Он сообщает Корнифицию, наместнику Африки, что дела в Риме идут плохо и что там происходит много вещей, которые причиняли бы ему боль.^[313] "Я знаю, что ты думаешь о судьбе честных людей и о несчастьях республики", - пишет он Фурфанию, проконсулу Сицилии, рекомендуя ему изгнание.^[314] Эти люди, однако, приняли важные должности от Цезаря: они разделяли его власть, они были его друзьями; но все милости, которые они получили от него, не привязали их к его делу. Они делали оговорки, служа ему, и лишь наполовину отдавались ему. Откуда же взялась эта оппозиция, с которой новое правительство столкнулось среди людей, вначале согласившихся принять в нем участие? Она проистекала из различных мотивов, которые легко указать. Первый, возможно, самый важный, заключался в том, что это правительство, даже осыпая их почестями, не могло дать им того, что дала бы старая республика. С установлением монархии произошла важная перемена во всех государственных должностях: магистраты стали подчиненными чиновниками. Прежде избранные всенародным голосованием магистраты имели право действовать по своему усмотрению в пределах своих полномочий. Плодотворная сила инициативы вдохновляла все звенья этой иерархии республиканских сановников. От эдила до консула все они были верховными в своих пределах. Они не могли быть таковыми при абсолютном правительстве. Вместо того чтобы править самостоятельно, они были, так сказать, лишь каналами, по которым воля одного человека распространялась на все концы земли. Конечно, государственная безопасность много выиграла от прекращения конфликтов властей, которые постоянно ее беспокоили, и для провинций было большим преимуществом то, что абсолютная власть была отнята у их алчных губернаторов. Тем не менее, если управляемые выиграли от этих реформ, то вполне естественно, что губернаторы были ими недовольны. С того момента, как на них возлагалось лишь исполнение приказов другого человека, важность их функций уменьшалась, и эта суверенная и абсолютная власть, вес которой они всегда ощущали, в конце концов раздражала даже самых покорных. Если честолюбцы жаловались на уменьшение своей власти, то честные люди не так легко

привыкали к потере свободы, как можно было бы ожидать. По мере того как они оставляли позади Фарсалию, их сожаления становились все более живыми. Они начали преодолевать удивление от поражения и постепенно оправлялись от страха, который оно у них вызвало. В моменты, которые следуют за великими катастрофами, в которых люди ожидали гибели, они полностью отдаются удовольствию жить, но это удовольствие относится к тем, к которым люди так быстро привыкают и которые воспринимают как нечто само собой разумеющееся, что вскоре перестают его ощущать. Все те перепуганные люди, которые на следующий день после Фарсалии желали только спокойствия, получив его, стали желать чего-то другого. Пока люди не уверены в своей жизни, они не беспокоятся о том, будут ли они жить свободно, но когда жизнь становится уверенной, желание свободы возвращается во все сердца, и те, кто служил Цезарю, почувствовали это, как и все остальные. Цезарь, как мы знаем, отчасти удовлетворил это желание, но это удовлетворение длилось недолго. На пути к свободе так же трудно остановиться, как и на пути к абсолютизму. Одна оказанная милость заставляет людей желать другой, и они не столько наслаждаются тем, что получили, сколько сетуют на то, чего им не хватает. Так и Цицерон, с радостью встретивший милосердие Цезаря и приветствовавший возвращение Марцелла как своего рода восстановление республики, вскоре изменил свое мнение и язык. По мере того как мы продвигаемся дальше в его переписке, он становится все более горьким и все более революционным. Тот, кто так сурово осуждал тех, кто, "разоружив руки, не разоружил сердца", в своем собственном сердце преисполнился самого горького негодования. При каждом удобном случае он говорил, что все потеряно, что ему стыдно быть рабом, что ему стыдно жить. С безжалостной яростью он нападал на самые полезные меры и самые справедливые поступки. Он смеялся над реформой календаря и притворялся, что скандалит из-за расширения Рима. Он пошел дальше. В тот день, когда сенат постановил поставить статую Цезаря рядом со статуями древних царей, он не смог избежать жестокого намека на то, как погиб первый из этих царей. "Я очень рад, - сказал он, - видеть Цезаря так близко к Ромулу!" А ведь не прошло и года с тех пор, как в своей речи к Марцеллу он от имени страны умолял его беречь свою жизнь и с большим чувством говорил: "Твоя безопасность - наша!"

Цезаря окружали только недовольные. Умеренные республиканцы, на помощь которых он рассчитывал в своем деле, не могли смириться с потерей республики. Изгнанники, которых он вернул в Рим, были скорее унижены его милосердием, чем благодарны за него, и не оставляли своего недовольства. Его собственные генералы, которых он наградил богатством и почестями, не имея возможности удовлетворить свою щедрость, упрекали его в неблагодарности и даже замыслили его смерть. Наконец, простые люди, для которых он был кумиром и которые так охотно выполняли все его требования, сами стали отходить от него; они уже не встречали его победы такими же овациями, как раньше, и, казалось, боялись, что сделали его слишком великим. Когда его статую поставили рядом с царскими статуями, народ, видевший ее прохождение, замолчал, и мы знаем, что весть об этом необычном молчании была распространена посланцами союзных царей и народов во всех странах мира, и повсюду стали считать, что близится революция".^[317] В провинциях Востока, где скрывались последние солдаты Помпея, огонь гражданской войны, который скорее тлел, чем угасал, постоянно возрождался, и эти постоянные тревоги, не приводя к серьезной опасности, не давали установиться общественному спокойствию. В Риме с энтузиазмом читали произведения Цицерона, в которых он воспевал славу республики; с нетерпением ждали анонимных памфлетов, которые никогда не были столь бурными и многочисленными. Как бывает накануне великих кризисов, каждый был недоволен настоящим, неспокоен за будущее и готовился к непредвиденному. Мы знаем, чем трагически закончилась эта напряженная ситуация. Укол кинжала Брута не был, как уже говорилось, случайностью и непредусмотренным происшествием; именно общее беспокойство в умах людей привело и

объясняет столь ужасную катастрофу. Заговорщиков было немногим более шестидесяти человек, но все они имели в сообщниках Рим.^[318] Вся эта неустроенность и злость, эти горькие сожаления о прошлом, эти разочарованные амбиции, это ущемленное корыстолюбие, эта открытая или тайная ненависть, эти дурные или великодушные страсти, которыми были полны сердца людей, вооружили их руки, и мартовские иды были лишь смертельным взрывом столь долго копившегося гнева. Так события расстроили все проекты Цезаря. Он не нашел безопасности в своем милосердии, как он думал; он потерпел неудачу в том деле примирения, которое он пытался осуществить под аплодисменты всего мира: ему не удалось разоружить партии. Эта слава была уготована человеку, не обладавшему ни широтой гения, ни благородством характера - коварному и жестокому Октавию. Это не единственный случай, когда история демонстрирует нам печальное зрелище успеха обычных людей там, где величайшие потерпели неудачу; но в предприятиях такого рода успех зависит прежде всего от обстоятельств, и надо признать, что они необычайно благоприятствовали Августу. Тацит называет главную причину его удачи, когда говорит, рассказывая о создании империи: "Почти никого не осталось, кто бы видел республику" Люди, над которыми Цезарь стремился царствовать, напротив, видели ее всю. Многие проклинали ее, когда она нарушала спокойствие их жизни своими бурями и волнениями; почти все сожалели о ней, как только теряли ее. Несмотря на опасности, которым она подвергает людей, в привычке к свободе и ее использовании есть необыкновенное очарование и притягательность, которые невозможно забыть, когда они однажды познаны. Именно об эту неистребимую память и разбился гений Цезаря. Но после битвы при Актиуме людей, которые смотрели на великие сцены свободы и видели республику, больше не существовало. Двадцатилетняя гражданская война, самая кровопролитная из всех, что когда-либо опустошали мир, уничтожила их почти всех. Воспоминания нового поколения не шли дальше Цезаря. Первыми звуками, которые оно услышало, были возгласы, приветствовавшие завоевателя Фарсалии, Фапса и Мунды; первым зрелищем, поразившим его взор, были проскрипции. Он вырос среди грабежей и резни. В течение двадцати лет он ежедневно боялся за свое имущество или жизнь. Он жаждал безопасности и был готов пожертвовать всем ради покоя. Ничто не влекло его к прошлому, как влекло современников Цезаря. Напротив, все сохранившиеся воспоминания о прошлом лишь сильнее привязывали его к тому правительству, под которым он жил, и когда он случайно обращал свой взор назад, то находил много поводов для страха, но ни одного предмета для сожаления. Только при таких обстоятельствах абсолютная власть могла мирно сменить республику.

БРУТ

ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ЦИЦЕРОНОМ

Мы не должны были бы знать Брута без писем Цицерона. Поскольку о нем никогда не говорили спокойно, а политические партии привыкли прикрывать его именем то свою ненависть, то свои надежды, истинные черты его характера были рано стерты. В жарких дискуссиях, которые вызывает одно только его имя, когда одни, как Лукан, возносят его почти до небес, а другие, как Данте, решительно помещают в ад, прошло совсем немного времени, прежде чем он стал своего рода легендарной личностью. Чтение Цицерона возвращает нас к реальности. Благодаря ему эта яркая, но нечеткая фигура, которую

восхищение или ужас безмерно увеличили, становится более определенной и приобретает человеческие пропорции. Если она и теряет в величии при таком близком рассмотрении, то, по крайней мере, что-то приобретает, становясь настоящей и живой.

Связь между Цицероном и Брутом длилась десять лет. Коллекция писем, которые они написали друг другу за это время, должна была быть объемной, поскольку один грамматик цитирует девятую книгу этих писем. Все они утрачены, за исключением двадцати пяти, которые были написаны после смерти Цезаря.^[320] Несмотря на утрату остальных, Брут по-прежнему занимает такое большое место в сохранившихся произведениях Цицерона, и особенно в его переписке, что мы находим в ней все элементы, необходимые для хорошего знакомства с ним. Я собираюсь собрать эти сведения и переписать не всю жизнь Брута, что заставило бы меня остановиться на очень известных событиях, а только историю его отношений с Цицероном.

I.

Аттик, друг всех, свел их вместе. Это было около 700 года, вскоре после возвращения Цицерона из изгнания, в разгар беспорядков, поднятых Клодием, одним из тех вульгарных агитаторов, как Катилина, с помощью которых Цезарь истощил силы римской аристократии, чтобы в один прекрасный день легче одолеть ее. Цицерон и Брут занимали в то время совершенно разное положение в республике. Цицерон занимал самые высокие должности и оказывал на них выдающиеся услуги. Его таланты и честность делали его ценным помощником для аристократической партии, к которой он принадлежал; он пользовался влиянием у народа, которого очаровывало его красноречие; провинции любили его, так как не раз видели, как он защищал их интересы от жадных губернаторов, а совсем недавно Италия продемонстрировала свою привязанность, пронеся его с триумфом из Брундизия в Рим. Бруту был всего тридцать один год; большая часть его жизни прошла вдали от Рима, в Афинах, где, как мы знаем, он посвятил себя изучению греческой философии, на Кипре и на Востоке, где он следовал за Катоном. Он еще не занимал ни одной из тех должностей, которые придавали политическое значение, и ему пришлось ждать более десяти лет, прежде чем он задумался о консульстве. Тем не менее Брут уже был важной персоной. В его ранних отношениях с Цицероном, несмотря на дистанцию, которую устанавливали между ними возраст и официальное положение, именно Цицерон делает авансы, относится к Бруту с вниманием и добивается его дружбы. Можно сказать, что на этого молодого человека возлагались большие надежды, и уже смутно чувствовалось, что он предназначен для великих дел. Когда Цицерон находился в Киликии, Аттик, требуя от него справедливости в отношении некоторых претензий Брута, сказал: "Это было бы нечто, если бы ты только вернул его дружбу из той провинции". А Цицерон в тот же период писал о нем: "Он уже первый среди юношей; скоро, надеюсь, станет первым и в городе"

Казалось, все сулило Бруту великолепное будущее. Потомок одной из самых прославленных семей Рима, племянник Катона, шурин Кассия и Лепида, он только что женился на одной из дочерей Аппия Клавдия; другая уже была замужем за старшим сыном Помпея. Благодаря этим союзам он был со всех сторон связан с самыми влиятельными семьями, но его характер и манеры отличали его даже больше, чем происхождение. Его юность прошла в строгости: он изучал философию не просто как *дилетант* и как полезнейшую дисциплину для ума, но как мудрец, желающий применить на практике уроки, которые она дает. Он вернулся из Афин с большой репутацией мудрого человека, которую подтверждала его добродетельная и регулярная жизнь. Восхищение, которое вызывала его добродетель, удвоилось, когда

вспомнили о его окружении и отвратительных примерах, которым он противостоял. Его мать Сервилия была объектом одной из самых бурных страстей Цезаря, возможно, его первой любовью. Она всегда имела над ним большую власть и воспользовалась, чтобы обогатиться после Фарсалии, получив в свое распоряжение имущество побежденных. Когда она состарилась и почувствовала, что могущественный диктатор ускользает от нее, чтобы продолжать управлять им, она, как говорят, благоволила его любовным связям с одной из своих дочерей, женой Кассия. Дочь, вышедшая замуж за Лепида, имела не лучшую репутацию, и Цицерон рассказывает о ней веселую историю. Молодой римский пижон К. Ведий, проезжая через Киликию с большим обозом, счел удобным оставить часть своего багажа у одного из хозяев. К несчастью, этот хозяин умер; на багаж путешественника вместе с остальным были наложены печати, и для начала в нем нашли портреты пяти знатных дам, и среди них портрет сестры Брута. "Надо признать, - говорил Цицерон, не упуская случая пошутить, - что брат и муж вполне заслуживают своих имен. Брат очень глуп (*brutus*), который ничего не замечает, а муж очень покладист (*lepidus*), который все переносит безропотно". Такова была семья Брута. Что касается его друзей, то нет нужды много говорить о них. Мы знаем, как жили в то время богатые молодые люди Рима, какими были Каэлий, Курио и Долабелла. Среди всего этого разгула строгая честность Брута, его прилежание к делу, презрение к удовольствиям, вкус к учебе, о которых свидетельствовал его бледный и серьезный лик, выделялись на контрасте еще более рельефно. Соответственно, все взгляды были прикованы к этому серьезному молодому человеку, который так мало походил на остальных. Приближаясь к нему, люди не могли отделаться от чувства, которое, казалось, не соответствовало его возрасту: он внушал уважение. Даже те, кто был его старшим и начальником, Цицерон и Цезарь, несмотря на их славу, Антоний, который так мало походил на него, его противники и враги, не могли избежать этого впечатления в его присутствии. Самое удивительное, что оно сохранилось у него. Оно ощущалось в присутствии его памяти, как и перед его личностью; живой и мертвый он вызывал уважение. Официальные историки империи, Дио, который так грубо обошелся с Цицероном, Веллеус, льстец Тиберия, - все они уважали Брута. Кажется, что политическая злость, желание льстить и партийная жестокость были обезоружены перед этой строгой фигурой.

Уважая его, они любили его. Эти чувства не всегда сочетаются друг с другом. Аристотель запрещает нам изображать в драме героев, совершенных во всех отношениях, чтобы они не заинтересовали публику. В обычной жизни все происходит точно так же, как и на сцене; своего рода инстинктивный страх удерживает нас на расстоянии от безупречных персонажей, а поскольку обычно нас объединяют наши общие недостатки, мы не испытываем особого влечения к человеку, у которого нет недостатков, и довольствуемся тем, что уважаем совершенство на расстоянии. Однако в случае с Брутом все было не так, и Цицерон мог бы сказать о нем с истиной в одном из произведений, которые он ему адресует: "Кто когда-либо был более уважаем и любим, чем ты?" И все же этот человек без слабостей был слаб для тех, кого он любил. Его мать и сестры имели на него большое влияние и заставили его совершить не один проступок. У него было много друзей, и Цицерон винит его в том, что он слишком охотно прислушивался к их советам; это были достойные люди, ничего не понимавшие в государственных делах, но Брут был так сильно привязан к ним, что не мог защититься от них. Последним его горем в Филиппах было известие о смерти Флавия, его начальника работ, и Лабео, его лейтенанта; он забыл о себе, чтобы оплакивать их. Последними его словами перед смертью было поздравление с тем, что никто из друзей не предал его: эта верность, столь редкая в то время, утешила его последние минуты. Его легионы, хотя они частично состояли из старых солдат Цезаря, и он крепко держал их в руках, наказывая грабителей и мародеров, сами легионы любили его и оставались ему верны. Даже сам народ Рима, который в целом был врагом дела, которое он защищал, не раз

проявлял к нему свою симпатию. Когда Октавий провозгласил убийц Цезаря врагами народа, все печально склонили головы, услышав произнесенное с трибуны имя Брута, и среди перепуганного сената, предвидевшего проскрипции, один голос осмелился заявить, что никогда не осудит Брута.

Цицерон, как и остальные, поддался обаянию, но не без сопротивления. Его дружба с Брутом была беспокойной и бурной, и, несмотря на общее согласие их мнений, между ними не раз возникали жестокие разногласия. Их разногласия объясняются разнообразием их характеров. Никогда еще два друга не были так похожи друг на друга. Никогда не было человека, который казался бы более созданным для общества, чем Цицерон; он привнес в него все качества, необходимые для успеха, большую гибкость мнений, большую терпимость к другим, достаточную снисходительность к себе, талант с легкостью перемещаться между всеми партиями и некую природную снисходительность, которая заставляла его понимать и почти принимать все. Хотя он писал плохие стихи, у него был темперамент поэта, странная подвижность впечатлений, раздражительная чувствительность, гибкий, широкий и быстрый ум, который быстро задумывал, но быстро отказывался от своих идей и стремительно переходил от одной крайности к другой. Он не принял ни одного серьезного решения, о котором не раскаялся бы на следующий день. Когда он вступал в какую-нибудь партию, то был быстр и решителен только вначале и постепенно остывал. Брут, напротив, не отличался быстрым умом: он обычно колебался в начале предприятия и не сразу принимал решение. Медленный и серьезный, он продвигался шаг за шагом во всем, но, решившись, он был настолько поглощен своим убеждением, что ничто не могло его отвлечь: он уединялся и сосредоточивался в нем, возбуждал и воспалял себя для него размышлениями и, наконец, слушал только ту непреклонную логику, которая побуждала его осуществить свою цель. Он был одним из тех умов, о которых Сен-Симон говорит, что они обладают почти свирепым постоянством. Его упрямство было настоящим источником его силы, и Цезарь хорошо понимал это, когда говорил о нем: "Все, что он хочет, он делает".

Два друга, которые так мало походили друг на друга, естественно, должны были конфликтовать при каждом удобном случае. Их первые разногласия были литературными. В то время в адвокатуре существовал обычай делить важное дело между несколькими ораторами; каждый брал себе роль, наиболее соответствующую его талантам. Цицерон, вынужденный часто выступать перед судьями, ходил со своими друзьями и учениками и раздавал им часть своей работы, чтобы они могли справиться с ней. Часто он довольствовался тем, что оставлял для себя перорацию, в которой его обильное и впечатляющее красноречие было как дома, а остальное оставлял им. Таким образом, Брут угождал ему и работал под его руководством. Брут, однако, не принадлежал к его школе: фанатичный поклонник Демосфена, чью статую он поставил среди статуй своих предков, и воспитанный на изучении аттических мастеров, он стремился воспроизвести их изящную суровость и энергичную силу. Тацит говорит, что его усилия не всегда были удачными: избегая орнамента и пафоса, он был скупен и холоден, а слишком стремясь к точности и силе, стал сухим и жестким. Эти недостатки были противны Цицерону, который всегда видел в этом типе красноречия, создававшем школу, свою собственную критику, и всеми способами пытался обратить Брута; но ему это не удалось, и этом вопросе они так и не пришли к согласию. После смерти Цезаря, когда речь шла уже не о литературных дискуссиях, Брут послал своему другу речь, которую он только что произнес в Капитолии, и просил исправить ее. Цицерон постарался этого не делать: он слишком хорошо знал по опыту самолюбие литератора, чтобы рисковать обидеть Брута, пытаясь сделать лучше, чем он. Кроме того, речь показалась ему очень красивой, и он написал Аттику, что ничего не могло быть изящнее или лучше написано. "И все же, - добавил он, - если бы мне пришлось ее

составлять, я бы вложил в нее больше страсти". Конечно, Брут не испытывал недостатка в страсти, но она была в нем тайным и подавленным пламенем, которое касалось только самых близких, и он не любил давать волю тем сильным эмоциям и тому пламенному пафосу, без которых нельзя увлечь толпу.

В то время он не был послушным последователем Цицерона, и мы можем добавить, что он не был и сговорчивым другом. Ему не хватало уступчивости в отношениях с другими, а его тон всегда был грубым и резким. В начале их общения Цицерон, привыкший, что даже самые высокие особы относятся к нему с большим уважением, считал письма этого молодого человека грубыми и надменными и почувствовал себя уязвленным. Это была не единственная претензия к нему. Мы знаем раздражительное, подозрительное и требовательное тщеславие великого консула; мы знаем, до какой степени он любил похвалу; он щедро одаривал ею себя и ожидал ее от других, а если они медлили с похвалой, не стыдился ее просить. Его друзья, как правило, снисходительно относились к этому безобидному недостатку и не ждали, пока он сам пригласит их похвалить его. Один только Брут сопротивлялся; он гордился своей прямоотой и говорил то, что думал. Поэтому Цицерон часто жаловался, что тот остерегается его похвал; однажды он и в самом деле серьезно рассердился на него. Речь шла о великом консуле и о дискуссии, в результате которой были казнены Лентул и сообщники Катилина. Это был самый энергичный поступок в жизни Цицерона, и он имел право гордиться им, поскольку поплатился за него изгнанием. В рассказе Брута о событиях этого дня он обесценил ту роль, которую сыграл в них Цицерон в пользу своего дяди Катона. Он лишь похвалил его за то, что тот наказал заговор, не сказав, что раскрыл его, и ограничился тем, что назвал его *отличным консулом*. "Плохая похвала!" - сердито сказал Цицерон; "можно подумать, что она исходит от врага". Но это были лишь небольшие разногласия, вызванные уязвленным самолюбием, которые можно было легко загладить; теперь мы должны упомянуть о более серьезном разногласии, которое заслуживает того, чтобы на нем остановиться, поскольку наводит на серьезные размышления о римском обществе того периода.

В 702 году, то есть через некоторое время после начала отношений с Брутом, Цицерон отправился в качестве проконсула в Киликию. Он не стремился к этой должности, так как знал, с какими трудностями ему придется столкнуться. Он решил выполнить свой долг, и он не мог его выполнить, не навлекая на себя одновременно патрициев, своих покровителей, и рыцарей, своих *протеже* и клиентов. На самом деле патриции и рыцари, обычно враждовавшие между собой, с необычайным единодушием грабили провинции. У рыцарей, получавших государственные доходы, была только одна мысль: сколотить состояние за пять лет - обычный срок контракта. Поэтому они без жалости взымали десятую часть налога с земли, двадцатую часть с товаров в портах, портовые сборы, налог на пастбища во внутренних районах; в общем, всю дань, которую Рим налагал на завоеванные народы. Их жадность не вызывала уважения. Ливий написал о них такой ужасный отзыв: "Там, куда проникает мытарь, нет больше ни справедливости, ни свободы ни для кого". Несчастливым городам было очень трудно удовлетворить этих ненасытных финансистов; почти везде муниципальная казна, плохо управляемая некомпетентными или разграбленная бесчестными магистратами, была пуста. Деньги, однако, нужно было найти любой ценой. У кого же они могли их занять, как не у банкиров Рима, которые на протяжении столетия были банкирами всего мира? Поэтому они обратились именно к ним. Некоторые были достаточно богаты, чтобы извлекать из своего личного состояния деньги для кредитования иностранных городов или государей, как тот Рабирий Постум, за которого ратовал Цицерон, снабдивший царя Египта деньгами, необходимыми для повторного завоевания его царства. Другие, чтобы меньше рисковать, создавали финансовые компании, в которые вкладывали свои средства

самые знаменитые римляне. Так, Помпей имел долю на значительную сумму в одном из акционерных обществ, основанных Клувием из Путеоли. Все эти ростовщики, будь то частные лица или компании, рыцари или патриции, были очень беспринципны и предоставляли свои деньги только под огромные проценты, обычно 4 или 5 процентов в месяц. Их трудность заключалась в том, чтобы получить деньги. Поскольку на такие жесткие условия соглашались только совсем разорившиеся люди, деньги, выданные под такие высокие проценты, всегда подвержены риску. Когда наступил срок выплаты, бедный город был как никогда не в состоянии платить: он использовал тысячу уловок, говорил о жалобах в сенат и начал с обращения к проконсулу. К несчастью для него, проконсул обычно был сообщником его врагов и получал свою долю от их прибылей. Кредиторам, которые обеспечивали его сотрудничество, хорошо платя ему, оставалось только послать в провинцию вольноотпущенника или агента, который представлял их интересы; проконсул ставил государственные силы на службу частным интересам, давал этому агенту звание своего лейтенанта, несколько солдат и все полномочия, и если несостоятельный город быстро не приходил к какому-нибудь удовлетворительному соглашению, он подвергался ужасам осады и грабежам чиновников в мирное время. Проконсул, который отказывался идти на эти злоупотребления и намеревался, по выражению Цицерона, предотвратить гибель провинций, естественно, вызывал гнев всех тех, кто жил за счет разорения провинций. Рыцари, дворяне, которые больше не получали своих денег, стали его смертельными врагами. Правда, он пользовался благодарностью своей провинции, но это было не так уж и много. Было замечено, что в тех восточных странах, "приученных долгим рабством к отвратительной лести", правители, которые получали больше всего поклонения и которым воздвигали больше всего статуй, были именно теми, кто больше всего грабил, потому что их больше всего боялись. Предшественник Цицерона полностью разорил Киликию: поэтому задумали построить ему храм. Таковы были некоторые из трудностей, которым подвергался честный правитель. Цицерон с честью выпутался. Редко какая провинция управлялась так хорошо, как его провинция при Римской республике; но он привез из нее только благодарность, мало денег, много врагов и чуть не поссорился с Брутом.

Брут, хотя в это с трудом верится, приложил руку к этой торговле. Он ссудил деньгами Ариобарзанеса, царя Армении, одного из тех мелких князьков, которым Рим милосердно позволял жить, и город Саламис на острове Кипр. В момент отъезда Цицерона в свою провинцию Аттик, который, как известно, и сам не гнушался подобной наживой, горячо рекомендовал ему эти два дела; но Брут неудачно вложил свои деньги, и Цицерону не удалось добиться от него возврата. У Ариобарзанеса было много кредиторов, но он не заплатил ни одному. "Я не могу себе представить, - говорил Цицерон, - никого беднее этого царя и ничего более жалкого, чем это царство" От него ничего нельзя было добиться. Что касается дела в Саламине, то оно с самого начала было еще серьезнее. Брут с самого начала не осмеливался признать, что напрямую в нем заинтересован, настолько огромным было ростовщичество и скандальными обстоятельства. Некий Скаптий, друг Брута, ссудил жителям Саламины крупную сумму под 4 процента в месяц. Поскольку они не могли вернуть долг, он, согласно обычаю, получил от Аппия, предшественника Цицерона, роту конницы, с которой держал сенат Саламины в такой тесной осаде, что пять сенаторов умерли от голода. Узнав о таком поведении, Цицерон был потрясен и поспешил отозвать солдат, которых так плохо использовали. Он только думал, что обижает *ставленника* Брута; но по мере того как дело принимало все более серьезный оборот, Брут все более открыто показывал свою руку, чтобы Цицерон проявил больше уступчивости в решении вопросов. Увидев, что у него нет надежды получить деньги, разве что с большой скидкой, он совсем обиделся и решил дать понять, что Скаптий - всего лишь соломенный человек, а настоящий кредитор саламинцев -

он сам. Удивление Цицерона, когда он узнал об этом, разделяют все, настолько поступок Брута противоречит всему его поведению. Конечно, никто не мог усомниться в его бескорыстии и честности. За несколько лет до этого Катон выплатил им великолепную дань, когда, не зная, кому довериться, - так редки были люди чести, - назначил его собрать сокровища кипрского царя и доставить их в Рим. Итак, давайте убедимся, что если Брут вел себя по отношению к саламинцам так, как вел, то только потому, что считал это законным. Он следовал примеру других, он поддался мнению, которое было всеобщим вокруг него. Провинции все еще считались завоеванными странами для римлян того времени. Они были завоеваны слишком недавно, чтобы память об их поражении успела изгладиться. Предполагалось, что и они его не забыли, что порождало недоверие к ним; в любом случае его помнили, и завоеватели всегда считали себя вооруженными теми страшными законами войны, против которых никто в древности не протестовал. Имущество побежденных, принадлежавшее победителю, далеко не порицалось за то, что они взяли то, что взяли, они считали, что отдали все, что не взяли, и, возможно, в глубине души думали, что были щедры, оставив им хоть что-то. Провинции считались владениями и собственностью римского народа (*praedia, agri fructuarii populi Romani*), и обращение с ними было соответствующим. Когда они соглашались пощадить их, то не из жалости или привязанности, а из благоразумия и в подражание хорошим землевладельцам, которые заботятся о том, чтобы не истощать свои поля чрезмерной культивацией. В этом заключался смысл законов, принятых при республике для защиты провинций; гуманность в них занимала меньшую долю, чем разумный интерес, который, сдерживая настоящее, заботится о будущем. Очевидно, Брут полностью принимал такой взгляд на права завоевателя и положение побежденных. В этом мы касаемся одного из величайших недостатков этой прямой, но узкой души. Воспитанный в эгоистических идеях римской аристократии, он не обладал достаточной широтой и возвышенностью ума, чтобы понять их неправоту; он следовал им без колебаний до тех пор, пока его природная мягкость и гуманность не взяли верх над воспоминаниями о воспитании и традициями своего класса. То, как он вел себя в управляемых им провинциях, показывает, что всю его жизнь шла борьба между целостностью его натуры и этими властными предрассудками. Разорив саламинцев своим ростовщичеством, он управлял Цизальпинской Галлией с бескорыстием, которое делало ему честь, и хотя он стал ненавистен на острове Кипр, память о его благодетельном правлении сохранялась в Милане вплоть до времен Августа. Тот же контраст наблюдается и в последней кампании: он плакал от горя, видя, как жители Ксанфа упорствуют в разрушении своего города, а накануне Филипп обещал своим солдатам разграбить Фессалонику и Лакедемон. Это единственный серьезный проступок, который Плутарх находит достойным порицания во всей его жизни; это было последнее пробуждение закоренелых предрассудков, от которых он так и не смог избавиться, несмотря на всю свою прямоту, и это показывает, что общество, в котором он родился, до последнего влияло на него.

Однако это влияние ощущалось тогда не всеми. Цицерон, который, будучи "новым человеком", мог легче защитить себя от тирании традиции, всегда проявлял больше гуманности по отношению к провинциалам и порицал скандальные доходы, которые из них извлекались. В письме к брату он смело провозгласил этот принцип,^[331] тогда совершенно новый, что они должны управляться не только в интересах римского народа, но и в своих собственных интересах, причем таким образом, чтобы дать им как можно больше счастья и благополучия. Именно это он и пытался сделать в Киликии. Поэтому он был очень уязвлен поступком Брута и наотрез отказался иметь к нему какое-либо отношение, хотя Атик, чья совесть была более эластичной, горячо умолял его сделать это. "Мне жаль, - ответил он, - что я не могу угодить Бруту, и еще более жаль, что он так отличается от того, каким я его себе

представлял" "Если он осудит меня, - сказал он в другом месте, - мне не нужны такие друзья. По крайней мере, я уверен, что его дядя Катон меня не осудит"

Это были горькие слова, и их дружба, несомненно, сильно пострадала бы от этих споров, если бы последовавшие за ними серьезные события не свели их снова вместе. Цицерон едва успел вернуться в Италию, как разразилась гражданская война, которую так долго предвидели. Частные разногласия должны были исчезнуть до этого великого конфликта. Кроме того, Цицерона и Брута объединяла необыкновенная общность чувств. Оба отправились в лагерь Помпея, но сделали это без энтузиазма и рвения, как жертву, которой требовал долг. Брут любил Цезаря, который во всех случаях проявлял к нему отеческую привязанность, и, кроме того, он ненавидел Помпея. Кроме того, что его напыщенное тщеславие было ему неприятно, он не мог простить смерть отца, убитого во время гражданских войн Суллы. Тем не менее, в этой общественной опасности он забыл о своих личных симпатиях и ненависти и отправился в Фессалию, где уже находились консулы и сенат. Мы знаем, что в лагере Помпея он отличился своим рвением;^[334] там, однако, произошло много событий, которые, должно быть, вызвали его недовольство, и, несомненно, он подумал, что к делу свободы, которое он хотел защищать один, примешалось слишком много личных раздоров и амбиций. Это также не понравилось его другу Цицерону и его шурина Кассию, и эти двое, возмущенные языком тех безумцев, которые окружали Помпея, решили не доводить войну до крайности, как это хотели сделать другие. "Я до сих пор помню, - писал Цицерон позже Кассию, - те знакомые разговоры, в которых после долгих размышлений мы решили, что если не абстрактная справедливость нашего дела, то наши действия должны быть определены результатом одной битвы" Мы не знаем, присутствовал ли Брут при этих разговорах двух своих друзей; но несомненно, что все трое вели себя одинаково. Цицерон на следующий день после Фарсалии отказался от командования республиканской армией; Кассий поспешил передать флот, которым он командовал, Цезарю; что касается Брута, то во время сражения он исполнял свой долг храбреца; но, закончив сражение, он решил, что сделал достаточно, и отправился к победителю, который радостно принял его, увлек в конфиденциальную беседу и сумел получить некоторые сведения об отступлении Помпея. После этого разговора Брут полностью овладел собой; он не только не пошел и не присоединился к республиканцам, сражавшимся в Африке, но последовал за Цезарем на завоевание Египта и Азии.

II.

В битве при Фарсалии Бруту было тридцать семь лет. Это был возраст политической активности римлян. Обычно человек тогда только что становился квестором или эдилом; он мог рассчитывать на преторство и консульство и приобретал право на их получение, мужественно сражаясь на Форуме или в курии. Самой большой надеждой каждого молодого человека, вступающего в общественную жизнь, было получить эти высокие почести в установленном законом возрасте: преторство - в сорок лет, а консульство - в сорок три года, и считалось, что ничто так не выделяет человека, как возможность сказать: "Я был претором или консулом, как только у меня появилось право на это (*meo anno*)". Если, пока человек занимал эти должности, удача благоволила ему в какой-нибудь значительной войне, дававшей возможность убить пять тысяч врагов, он получал триумф, и больше ему нечего было желать.

Нет сомнений, что Брут, как и остальные, задумал эту надежду, и, несомненно, его рождение и таланты позволили бы ему осуществить ее; Фарсалия разрушила все эти проекты. Он не был лишен почестей, поскольку был другом того, кто их раздавал; но теперь эти почести были лишь пустыми титулами, поскольку один человек захватил всю реальную власть. Этот

человек действительно стремился быть единственным хозяином и не признавал никого, кто бы разделял его власть. "Он не советуется даже со своими друзьями, - говорит Цицерон, - а советуется только с самим собой". Политическая жизнь не существовала для остальных, и даже те, кого нанимало новое правительство, чувствовали, что время тяготит их, особенно после бурных волнений предшествующих лет. Бог, по выражению Вергилия, дал всем досуг. Брут использовал этот досуг, вернувшись к занятиям своей юности, которые он скорее прервал, чем оставил. Вернуться к ним означало еще больше сблизиться с Цицероном.

Он и в самом деле не забыл его; следуя за Цезарем в Азию, он узнал, что его друг, удалившись в Брундизий, страдал то от угроз цезарианцев, которые не простили ему отъезда в Фарсалию, то от недоброжелательства помпеянцев, которые обвиняли его в том, что он слишком быстро вернулся. Среди всего этого раздражения Цицерон, который, как мы знаем, не отличался особой энергией, был очень удручен. Брут написал ему письмо, чтобы ободрить его. "Ты совершил поступки, - говорил он, - которые будут говорить о тебе, несмотря на твое молчание, которые будут жить после твоей смерти и которые, благодаря безопасности государства, если оно будет спасено, благодаря его гибели, если оно не будет спасено, будут вечно свидетельствовать в пользу твоего политического поведения". Цицерон рассказывает, что, прочитав это письмо, он словно оправился от долгой болезни и открыл глаза для света. Когда Брут вернулся в Рим, их общение стало более частым. Зная друг друга лучше, они больше ценили друг друга. Цицерон, чье воображение было таким живым, чье сердце было таким юным, несмотря на свои шестьдесят лет, полностью очаровался Брутом. Это постоянное общение с таким пытливым умом и такой рассудительной душой оживило и возродило его таланты. Его друг всегда занимает большое место в прекрасных произведениях, которые он опубликовал в то время и которые так быстро сменяли друг друга. Мы видим, что его сердце полно им, он говорит о нем так часто, как только может, он не устает его восхвалять, он хочет угодить ему прежде всего; можно сказать, что он заботится только о похвалах и дружбе Брута.

Больше всего их объединяло изучение философии. Оба любили и культивировали ее с юности, оба, казалось, любили ее еще больше и культивировали ее еще пышнее, когда сосредоточение власти в одних руках отстранило их от общественной жизни. Цицерон, который не мог привыкнуть к отдыху, направил на него всю свою деятельность. "Греция стареет, - говорил он своим ученикам и друзьям, - давайте вырвем у нее ее философскую славу"; и он сразу же принялся за работу. Некоторое время он размышлял, и не сразу нашел философию, подходящую для его соотечественников. На мгновение он поддался искушению направить их внимание на те тонкие метафизические вопросы, которые были противны практическому здравому смыслу римлян. Он перевел *"Тимей"*, то есть самое непонятное в философии Платона, но быстро понял, что ошибся, и поспешил покинуть этот путь, по которому шел в одиночку. В *"Тускуланских диспутах"* он вернулся к вопросам прикладной морали и больше их не покидал. Различные характеры страстей, истинная природа добродетели, относительный ранг обязанностей, все те проблемы, которые добродетельный человек ставит перед собой в течение жизни; прежде всего то, перед чем он так часто отступает, но что всегда возвращается с ужасным упорством и беспокоит порой самые грубые и земные души, - будущее после смерти; вот что он изучает без ухищрений диалектического мастерства, без предрассудков школы, без предвзятой системы, с меньшим стремлением открыть новые идеи, чем принять практические и разумные принципы, где бы он их ни нашел. Таков характер римской философии, о которой мы должны быть осторожны и не говорить плохо, потому что она сыграла огромную роль в мире, и именно через нее мудрость греков, ставшая одновременно более прочной и ясной, дошла до народов Запада. Эта философия берет свое начало в Фарсалии, как и империя, и во многом

обязана победе Цезаря, который, подавив политическую жизнь, заставил пытливые умы искать другие темы для своей деятельности. Принятая поначалу с энтузиазмом всеми незанятыми и неустроенными умами, она становилась все более и более популярной по мере того, как власть императоров становилась все более деспотичной. Абсолютной власти, которую правительство осуществляло над внешними действиями, они были рады противопоставить полное самообладание, которое дает философия; изучать себя, уходить в себя - значит, с одной стороны, спастись от тирании хозяина, а с другой - в стремлении познать себя расширять почву, к которой его власть не имела доступа. Императоры хорошо понимали это и были смертельными врагами науки, которая была настолько дерзкой, что ограничивала их власть. Вместе с историей, вызывавшей неприятные воспоминания, она вскоре попала под их подозрение; это были два имени, говорил Тацит, неприятные для князей, *ingrata principibus nomina*.

Я не собираюсь здесь доказывать, почему все философские сочинения, написанные в конце республики или при империи, имеют гораздо большее значение, чем те книги, которые мы пишем сейчас на те же темы: об этом уже слишком хорошо сказано, чтобы я имел необходимость возвращаться к этому.^[339] Несомненно, что в то время, когда религия ограничивалась ритуалом, когда ее книги содержали лишь сборники формул и подробные предписания о соблюдении обрядов и когда она не шла дальше обучения своих адептов науке приносить жертвы в соответствии с обрядами, только философия могла дать всем добродетельным и беспокойным душам, которые металась без определенной цели и желали найти ее, то учение, в котором они нуждались. Поэтому, читая этические трактаты того времени, мы не должны забывать, что они были написаны не только для писанных бездельников, услаждающихся изящными речами, но и для тех, кого Лукреций представляет ищущими жизненный путь; мы должны напоминать себе, что эти наставления применялись на практике, что теории стали правилами поведения и что, так сказать, вся эта этическая теория была когда-то живой. Возьмем, к примеру, первый тускуланский диспут: Цицерон хочет доказать в нем, что смерть не является злом. Какое банальное замечание на первый взгляд, и как трудно не рассматривать всю эту продуманную обработку как ораторское упражнение и сочинение для школ! Однако ничего подобного, и поколение, для которого она была написана, нашло в ней нечто иное. Люди читали ее накануне проскрипций, чтобы обновить свои силы, и приходили после чтения более твердыми, решительными, лучше подготовленными к большим несчастьям, которые они предвидели. Сам Аттикус, эгоист Аттикус, столь далекий от того, чтобы рисковать жизнью ради кого-либо, нашел в них источник необыкновенной энергии. "Ты говоришь мне, - пишет ему Цицерон, - что мои тускуланцы придают тебе мужества: тем лучше. Нет более надежного и быстрого средства против обстоятельств, чем то, которое я указываю". Этим средством была смерть. Как много людей воспользовались ею! Никогда еще не было такого невероятного презрения к жизни, никогда еще смерть не вызывала такого страха. Со времен Катона самоубийство стало заразой, безумием. Победенные, Юба, Петрей, Сципион, не знают другого способа спастись от завоевателя. Латеренсис убивает себя от сожаления, видя, как его друг Лепид предает республику; Скапула, не в силах больше держаться в Кордове, устраивает погребальный костер и сжигает себя заживо; когда беглец Децим Брут колеблется, выбрать ли ему это героическое средство, его друг Блазий убивает себя перед ним, чтобы подать ему пример. В Филиппах царил настоящий бред. Даже те, кто мог спастись, не стремились пережить свое поражение. Квинтилий Вар надел знаки отличия своего ранга и был убит рабом; Лабео вырыл себе могилу и покончил с собой на ее краю; Катон Младший, боясь, что его пощадят, сбросил шлем и выкрикнул свое имя; Кассий был нетерпелив и покончил с собой слишком рано; Брут завершает список самоубийством, поражающим своим спокойствием и достоинством. Какой странный и страшный комментарий о тускуланцах, и

как ясно эта общая истина, воплощенная на практике столькими людьми духа, перестает быть банальностью!

В том же духе мы должны изучать и очень короткие фрагменты, сохранившиеся от философских работ Брута. Общие мысли, которые мы в них находим, уже не будут казаться незначительными и расплывчатыми, если мы подумаем, что тот, кто их сформулировал, намеревался также применить их на практике в своей жизни. Самый знаменитый из всех этих трудов Брута, трактат "О добродетели", был адресован Цицерону и достоин их обоих. Это была прекрасная работа, которая особенно понравилась тем, что чувствовалось, что автор был досконально убежден во всем, что говорил.^[341] Сохранился важный отрывок, сохраненный Сенекой. В нем Брут рассказывает, что только что видел в Митилене М. Марцелла, того самого, которого Цезарь позже помиловал по просьбе Цицерона. Он застал его занятым серьезными занятиями, легко забывшим о Риме и его удовольствиях и наслаждавшимся в этом спокойствии и отдыхе счастьем, которого он никогда раньше не знал. "Когда мне пришлось покинуть его, - говорит он, - и я увидел, что уезжаю без него, мне показалось, что это я отправляюсь в изгнание, а не Марцелл, который там остался". Из этого примера он делает вывод, что человек не должен жаловаться на изгнание, поскольку он может унести с собой все свои добродетели. Мораль книги такова: чтобы жить счастливо, не нужно выходить за пределы самого себя. Это еще один трюизм, если хотите; но, стараясь подчинить всю свою жизнь этой максиме, Брут превратил ее в живую истину. Это был не философский тезис, который он развивал, а правило поведения, которое он предлагал другим и принимал сам. Он рано приучил себя общаться с собственными мыслями, вписывая в них свои удовольствия и страдания. Отсюда проистекали та свобода духа, которую он сохранял в самых серьезных делах, то презрение к внешним вещам, которое отмечали все его современники, и легкость, с которой он от них отстранялся. Накануне Фарсалии, когда все были беспокойны и тревожны, он спокойно читал Полибия и делал заметки, ожидая момента боя. После мартовских ид, посреди волнений и страхов своих друзей, он один сохранял неизменное спокойствие, которое скорее раздражало Цицерона. Изгнанный из Рима и находящийся под угрозой со стороны ветеранов Цезаря, он утешал себя тем, что: "Нет ничего лучше, чем опираться на память о своих добрых делах и не заниматься событиями или людьми". Эта способность абстрагироваться от внешних вещей и самодостаточность - безусловно, ценные качества для человека размышляющего и изучающего: это идеал, который философ предлагает самому себе; но не является ли это опасностью и недостатком для человека действия и политика? Вправе ли человек держаться в стороне от мнения других, когда от их мнения зависит успех его начинаний? Должен ли человек под видом того, что он прислушивается к своей совести и твердо следует ей, не считаться с обстоятельствами и бездумно рисковать собой в бесполезных авантюрах? В самом деле, желая держаться в стороне от толпы и полностью оградить себя от ее страстей, не рискует ли он потерять узы, связывающие его с ней, и стать неспособным вести ее за собой? Аппиан в своем рассказе о последней кампании республиканской армии сообщает, что Брут всегда был самообладанием и держался почти в стороне от серьезных дел, которые обсуждались. Он любил беседы и чтение; как знаток, он посещал места, через которые они проходили, и заставлял жителей страны говорить с ним: он был философом среди лагерьей. Кассий, напротив, занятый исключительно войной, никогда не позволявший себе отклониться в сторону и, так сказать, целиком сосредоточенный на этой цели, напоминал сражающегося гладиатора.^[344] Я подозреваю, что Брут, должно быть, скорее презирал эту лихорадочную деятельность, полностью ограниченную обычными обязанностями, и что эта роль гладиатора вызывала у него улыбку. Он ошибался; успех в человеческих делах принадлежит гладиатору, а человек добивается успеха только тогда, когда вкладывает в них всю свою душу. Что касается умозрительных людей, замкнутых в себе, желающих держаться

вне и выше страстей дня, то они удивляют толпу, но не ведут ее за собой; они могут быть мудрецами, но из них получаются очень плохие партийные лидеры.

И далее, вполне возможно, что Брут, если бы был предоставлен самому себе, и не подумал бы становиться партийным лидером. Он не был враждебен новому правительству, и Цезарь не упустил возможности расположить его к себе, помиловав некоторых сильно скомпрометировавших себя помпеянцев. По возвращении в Рим он доверил ему управление одной из лучших провинций империи - Цизальпинской Галлией. Примерно в это же время пришло известие о поражении республиканской армии при Фапсе и смерти Катона. Несомненно, Брут очень остро это почувствовал. Он сам написал и уговорил Цицерона написать хвалебную речь о своем дяде, но от Плутарха мы знаем, что он упрекал его за отказ от милосердия Цезаря. Когда Марцелл, только что получивший помилование, был убит под Афинами, некоторые люди стали говорить, что Цезарь вполне мог быть соучастником этого преступления. Брут поспешил написать письмо, в котором с удивившей Цицерона теплотой оправдывал его. В то время он находился под влиянием Цезаря. К этому можно добавить, что в лагере Помпея он проникся ужасом гражданской войны. Она унесла некоторых из его самых дорогих друзей, например Торквата и Триария, двух молодых людей с большими перспективами, о потере которых он горько сожалел. Вспоминая о беспорядках, которые оно вызвало, и о жертвах, которые оно принесло, он, несомненно, говорил вместе со своим другом, философом Фавонием: "Лучше терпеть произвол, чем возобновлять нечестивые войны". Как же он позволил склонить себя к их возобновлению? Каким хитроумным заговором его друзьям удалось преодолеть его отвращение, вооружить его против человека, которого он любил, вовлечь его в предприятие, которое должно было повергнуть мир в смятение? Это заслуживает того, чтобы об этом рассказать, и письма Цицерона позволяют нам получить представление об этом.

III.

После Фарсалии не было недостатка в недовольных. Великая аристократия, так долго управлявшая миром, не могла считать себя побежденной после одного поражения. Тем более естественно было ее желание сделать последнее усилие, ведь она прекрасно понимала, что в первый раз сражалась не в самых благоприятных условиях и что, объединив свое дело с делом Помпея, она поставила себя в невыгодное положение. Помпей вызывал у тех, кто желал свободы, не больше доверия, чем Цезарь. Известно, что он был склонен к чрезвычайным полномочиям и любил сосредотачивать всю государственную власть в своих руках. В начале гражданской войны он с такой надменностью отверг самые справедливые предложения и проявил столько рвения в ускорении кризиса, что казалось, он скорее хотел избавиться от мешавшего ему соперника, чем прийти на помощь находящейся под угрозой республике. Его друг Цицерон рассказывает, что, когда в его лагере заметили дерзость его соратников и его собственное упорство не слушать ничьих советов, возникло подозрение, что человек, так плохо принимавший советы перед битвой, захочет стать хозяином и после победы. Вот почему многие добропорядочные граждане, и Цицерон в том числе, так долго колебались, принимать ли им участие в сражении; вот почему, прежде всего, такие смельчаки, как Брут, поспешили сложить оружие после первого поражения. Следует добавить, что если они не были полностью уверены в намерениях Помпея, то вполне могли ошибаться и в проектах Цезаря. Никто не знал, что он желал власти, но какой власти? Была ли это лишь одна из тех временных диктатур, которые необходимы в свободных государствах после периода анархии и которые приостанавливают свободу, но не уничтожают ее? Неужели речь шла о том, чтобы повторить историю Мария и Суллы, которых республика пережила? Если говорить строго, то так и было, и ничто не мешает нам предположить, что

некоторые из офицеров Цезаря, особенно те, кто, будучи обманутыми впоследствии, составили заговор против него, не думали так и тогда.

Но после Фарсалии уже не было никакой возможности сохранить эту иллюзию. Цезарь не требовал исключительной власти; он стремился основать новое правительство. Разве он не говорил, что "республика" - это слово, лишенное смысла, и что Сулла был глупцом, когда отказался от диктатуры? Его меры по регулированию народного голосования в своих интересах, выбор консулов и преторов, который он делал заранее в течение нескольких лет подряд, передача государственной казны и управление доходами государства своим вольноотпущенникам и рабам, объединение всех сановников в своем лице, цензура под именем префектуры нравов, вечная диктатура, которая не мешала ему каждый год назначать себя консулом; все, в общем, в его законах и в его поведении указывало на окончательный захват власти. Не принимая никаких мер предосторожности, чтобы скрыть масштабы своей власти, которые Август использовал позже, он, казалось, демонстрировал ее с самодовольством и не беспокоился о врагах, которых могла бы нажить его откровенность. Напротив, ироничным скептицизмом и дерзкой наглостью, выдававшими великого аристократа, он любил шокировать фанатичных приверженцев древних обычаев. Он улыбался, видя, как понтифики и авгуры пугаются, когда он осмеливается отрицать богов в полном составе сената, и для него было забавой смущать этих церемонных стариков, суеверных хранителей древних обычаев. Кроме того, поскольку он был человеком, которому все доставляло удовольствие, он любил власть не только ради ее осуществления, но и ради того, чтобы наслаждаться ее плодами; не довольствуясь реальностью власти, он желал и ее внешних признаков, блеска, который ее окружает, почтения, которого она требует, пышности, которая ее украшает, и даже имени, которым ее обозначают. Он хорошо знал, как сильно пугал римлян титул царя, которого он так страстно желал; но его твердость доставляла удовольствие, когда он преодолевал старые предрассудки, в то время как его честность, несомненно, считала более почетным дать настоящее имя той власти, которую он осуществлял. Результатом такого поведения Цезаря стало рассеивание всех сомнений. Благодаря ему иллюзии и недоразумения стали невозможны. Теперь вопрос стоял не между двумя амбициозными соперниками, как во времена Фарсалии, а между двумя противоположными формами правления. Мнения, как это иногда бывает, стали четко определяться одно другим, и намерение основать монархию, о котором открыто заявил Цезарь, привело к созданию великой республиканской партии.

Как получилось, что в этой партии у самых смелых и жестоких людей возникла идея объединиться и организовать? Как, все более уверенно, они составили заговор против жизни диктатора? Точно выяснить это невозможно. Известно лишь, что первая идея заговора возникла одновременно в двух совершенно противоположных партиях - среди побежденных в Фарсалии и, что еще более удивительно, среди самих генералов Цезаря. Эти два заговора, вероятно, были разными по происхождению, и каждый действовал по своему усмотрению: пока Кассий думал убить Цезаря на берегу Цидны, Требоний уже готовился к убийству в Нарбонне. В конце концов они объединились.

Любая партия начинается с поиска лидера. Если они хотели продолжить традиции предыдущей войны, то такой лидер уже был под рукой. Оставался Секст, сын Помпея. Он чудом спасся из Фарсалии и Мунды и пережил всю свою семью. Покоренный, но не унывающий, он скитался то в горах, то по берегам, то умелым партизаном, то дерзким пиратом, а упрямые помпеянцы объединились вокруг него. Но люди больше не хотели принадлежать к помпеянской партии. Они хотели иметь вождем кого-то, кто представлял бы не только имя, но и принцип, того, кто должен был бы представлять республику и свободу без

каких-либо личных оговорок. Необходимо было, чтобы он своей жизнью, манерами и характером был в полной оппозиции к правительству, на которое они собирались напасть. Он должен быть честным, потому что власть была коррумпирована, бескорыстным, чтобы протестовать против ненасытной алчности, которая окружала Цезаря, уже прославленным, чтобы различные элементы, из которых состояла партия, уступили ему, и еще молодым, потому что им нужен был смелый удар. И только один человек объединял в себе все эти качества, а именно Брут. Поэтому все взоры были прикованы к нему. Общественный голос выделил его как вождя республиканской партии, пока он еще был другом Цезаря. Когда первые заговорщики обращались во все концы в поисках сообщников, они всегда получали один и тот же ответ: "Мы присоединимся к вам, если Брут поведет нас". Сам Цезарь, несмотря на свое доверие и дружбу, иногда, казалось, предчувствовал, откуда придет опасность. Однажды, когда его пытались встревожить недовольством и угрозами Антония и Долабеллы: "Нет, - ответил он, - этих развратников опасаться не стоит; речь идет о худых и бледных людях". Он имел в виду, прежде всего, Брута.

К этому давлению общественного мнения, желавшего направить действия Брута и вовлечь его в дело без его согласия, пришлось добавить более официальные увещания, чтобы убедить его; они сыпались на него со всех сторон. Мне нет нужды напоминать о записках, которые он нашел в своем трибунале, о надписях, которые были помещены у подножия статуи его деда,^[346] и обо всех тех ловких маневрах, о которых так хорошо поведал Плутарх. Но никто лучше Цицерона, который, однако, не знал об этом, не служил замыслам тех, кто хотел сделать Брута заговорщиком. Его письма показывают нам расположение его ума в то время. Злоба, гнев, сожаление об утраченной свободе прорываются в них с необыкновенной живостью. "Мне стыдно быть рабом" написал он однажды Кассию, не подозревая, что в этот самый момент Кассий тайне искал средства, чтобы больше не быть таковым. Невозможно было, чтобы эти чувства не проявились в книгах, которые он издавал в то время. Мы находим их там сейчас, когда хладнокровно читаем их; гораздо больше они должны были проявиться, когда эти книги комментировались с ненавистью и читались глазами, ставшими пронзительными от страсти. Сколько эпиграмм было тогда оценено, которые сейчас от нас ускользают! Какие жгучие и горькие слова, не замечаемые сейчас, тогда аплодировали и злорадно повторяли в тех беседах, где мастера и его друзей разрывали на части! В них было то, что Цицерон остроумно называет "укусом свободы, которая никогда не рвется лучше, чем когда ее некоторое время держат на мушке". При небольшом усилии мы повсюду находим аллюзии. Если автор с таким восхищением отзывался о древнем красноречии, то лишь потому, что хотел посрамить тот покинутый Форум и тот немой сенат; воспоминания о старом правительстве вспоминались лишь для того, чтобы напасть на новое, и хвала мертвым становилась сатирой на живых. Цицерон хорошо понимал всю важность своих книг, когда позже сказал о них: "Они служили мне сенатом или трибуной, с которой я мог говорить". Ничто так не возбуждало общественное мнение, не вносило в умы людей сожаление о прошлом и отвращение к настоящему и тем самым не подготавливало грядущие события.

Брут, должно быть, был тронут больше, чем кто-либо другой, читая труды Цицерона; они были посвящены ему, они были написаны для него. Хотя они должны были повлиять на всю общественность, в них содержались отрывки, адресованные непосредственно ему. Цицерон не только стремился пробудить его патриотические чувства; он вспоминал воспоминания и надежды своей юности. С вероломным мастерством он даже заинтересовал его тщеславие в восстановлении древнего правительства, указав на то, какое положение он мог бы занять в нем. "Брут, - сказал он, - я чувствую, что моя печаль возрождается, когда я смотрю на тебя и думаю о том, как несчастная судьба республики задержала быстрое продвижение к славе, которое мы предвидели в твоей юности. В этом истинная причина моей печали, в этом

причина моих забот и забот Аттика, который разделяет мое уважение и привязанность к тебе. Ты - объект нашего интереса, мы желаем, чтобы ты пожинал плоды своей добродетели; наши самые искренние пожелания заключаются в том, чтобы условия республики позволили тебе однажды возродить и приумножить славу двух прославленных домов, которые ты представляешь. Ты должен быть хозяином на Форуме и царствовать там без соперника; мы, по правде говоря, вдвойне огорчены, что республика погибла для тебя, а ты для республики". Подобные сожаления, выраженные в такой манере и с таким смешением частных и общественных интересов, были вполне рассчитаны на то, чтобы встревожить Брута. Антоний был не совсем неправ, когда обвинял Цицерона в соучастии в смерти Цезаря. Если он сам не наносил ударов, то вооружал тех, кто их наносил, и заговорщики были совершенно правы, когда, выйдя из дома сената после мартовских ид, они размахивали окровавленными мечами и громко призывали Цицерона.

К этим подстрекательствам извне добавились другие, еще более мощные, из окружения самого Брута. Его мать всегда использовала свое влияние на него, чтобы склонить его на сторону Цезаря; но как раз в это критическое время влияние Сервилиии ослабло из-за женитьбы Брута на его кузине Порции. Дочь Катона и вдова Бибула, Порция принесла в свой новый дом все страсти своего отца и первого мужа, и особенно ненависть к Цезарю, который был причиной всех ее несчастий. Едва она вошла в дом, как между ней и свекровью возникли разногласия. Цицерон, рассказывая о них, не сообщает нам их причину; но не будет опрометчиво предположить, что эти две женщины боролись за расположение Брута и хотели управлять им, чтобы увлечь его в разные стороны. Влияние Сервилиии, несомненно, утратилось в этих домашних дискуссиях, и ее голос, противопоставленный совету новой и любимой жены, уже не имел прежнего авторитета, когда говорил от имени Цезаря.

Все складывалось так, что Брут был вынужден идти вперед. Представим себе этого нерешительного и щепетильного человека, атакованного сразу со стольких сторон: подстрекателями общественного мнения, воспоминаниями о прошлом, традициями его семьи и самим именем, которое он носил, тайными упреками, подложенными под его руки и рассыпанными на его пути, которые ежеминутно бросались в глаза его невнимательному взгляду, рокотали в его невнимательном ухе, а затем дома он находил те же воспоминания и те же упреки в виде законных печалей и трогательных сожалений. Не должен ли он в конце концов уступить этому ежедневному натиску? Тем не менее вполне вероятно, что он сопротивлялся, прежде чем сдаться, что у него были жестокие схватки во время тех бессонных ночей, о которых говорит Плутарх; но поскольку у этих частных схваток не могло быть доверенных лиц, они не оставили следов у историков.

Все, что мы можем сделать, если хотим узнать о них, это попытаться найти их слабый отпечаток в письмах, которые Брут писал позже и которые сохранились. Например, мы видим, что он дважды возвращается к одной и той же мысли: "Наши предки считали, что мы не должны терпеть тирана, даже если он наш собственный отец".^[351] ... Обладать большей властью, чем законы и сенат, - это право, которое я не дал бы самому отцу". Не этот ли ответ он давал каждый раз, когда его охватывало воспоминание об отцовской привязанности Цезаря, когда он думал, что этот человек, против которого он собирался взять в руки оружие, называл его своим ребенком? Что касается милостей, которые он получил или которых мог ожидать от него, то они могли бы обезоружить другого, но он ожесточился и ожесточил себя против них. "Никакое рабство не может быть настолько выгодным, чтобы заставить меня отказаться от решения быть свободным". Именно с такими соображениями он защищался против друзей диктатора, возможно, против своей матери, когда она, чтобы ошеломить его, указала ему, что, если он согласится на царствование Цезаря, он может надеяться разделить

его. Он никогда бы не согласился заплатить своей свободой за право властвовать над другими; сделка была бы слишком невыгодной. "Лучше никем не командовать, чем быть рабом", - писал он. "Человек может жить, не повелевая, но жизнь в качестве раба ничего не стоит".

В разгар всех этих тревог, о которых никто не мог знать, произошло событие, которое очень удивило общественность и о котором Цицерон рассказывает в своих письмах без объяснений. Когда стало известно, что Цезарь возвращается в Рим после победы над Помпеем, Брут вышел ему навстречу с готовностью, которую все отметили и которую многие порицали. Каковы были его намерения? Несколько слов Цицерона, которым не уделялось достаточного внимания, позволяют нам догадаться. Прежде чем принять окончательное решение, Брут хотел обратиться к Цезарю с последним призывом и еще раз попытаться склонить его на сторону республики. Он стал настойчиво рекомендовать ему людей из побежденной партии, особенно Цицерона, в надежде, что их можно будет вернуть на государственные должности. Цезарь благосклонно выслушал эти похвалы, приветствовал Брута и не стал его слишком отговаривать. Последний, слишком легко доверившись, поспешил вернуться в Рим и объявить всем, что Цезарь возвращается к партии честных людей. Он дошел до того, что посоветовал Цицерону обратиться к диктатору с политическим письмом, в котором должны были содержаться дельные советы и некоторые авансы; но Цицерон не разделял надежд своего друга и после некоторого колебания отказался писать. По правде говоря, иллюзии Брута длились недолго. Антоний опередил его с Цезарем. Антоний, своими безрассудствами нарушивший спокойствие Рима, должен был многое простить, но он хорошо знал, как этого добиться. Пока Брут пытался объединить Цезаря и республиканцев и думал, что ему это удалось, Антоний, чтобы смягчить своего господина, льстил его самым заветным желаниям и, несомненно, заставил корону, которую тот так страстно желал, сверкать перед его глазами. Сцена Луперкалий ясно показала, что Антоний одержал верх, и Брут больше не мог сомневаться в намерениях Цезаря. План Антония, правда, на этот раз не удался: крики толпы и противодействие двух трибунов заставили Цезаря отказаться от предложенной ему диадемы; но было хорошо известно, что эта мера не обескуражила его. Повод был лишь отложен, и вот-вот должен был представиться снова. Что касается парфянской войны, то перед сенатом должен был предстать старый сибиллинский оракул, гласивший, что парфян может победить только царь, и этот титул должен был потребовать Цезарь. В сенате было слишком много иностранцев и слишком много трусов, чтобы допустить сомнительный ответ. Именно в этот момент Кассий решил раскрыть Бруту заговор и попросить его стать его главой.

Кассий, чье имя с этого момента стало неотделимо от имени Брута, представлял собой полный контраст с ним. Он завоевал большую военную славу, спасая остатки армии Красса и изгоняя парфян из Сирии; но в то же время его обвиняли в том, что он любит удовольствия, эпикуреец по учениям и поведению, жаждет власти и не слишком щепетилен в средствах ее получения. Он разграбил провинцию, которой управлял, как почти все проконсулы; говорили, что Сирия не нашла особой пользы в его спасении и почти так же быстро перешла бы в руки парфян. Кассий был язвитель, неровен нравом, поспешен, иногда жесток,^[355] и мы вполне можем понять, что он не уклонился бы от убийства; но откуда взялась идея убить Цезаря? Плутарх говорит, что это была злоба на то, что он не получил городской преторской должности, которую диктатор отдал Бруту, и действительно, ничто не мешает нам думать, что личная обида ожесточила этот бурный дух. Однако если бы Кассий хотел отомстить только за это оскорбление, вряд ли он стал бы действовать в согласии с человеком, который был его участником и нажил на нем. У него были совсем другие мотивы ненавидеть Цезаря. Аристократ по рождению и нраву, его сердце было полно ненависти, которую испытывает

побежденная аристократия; он должен был кроваво отомстить за поражение своей партии, и помилование Цезаря не погасило в нем гнев, который вызывал вид его угнетенной касты. Таким образом, если Брут стремился быть человеком принципа, то Кассий открыто был человеком партии. Похоже, что у него рано возникла идея отомстить за Фарсалию убийством. По крайней мере, Цицерон рассказывает, что через несколько месяцев после своего помилования он поджидал Цезаря на одном берегу Цидны, чтобы убить его, и что Цезарь спасся только благодаря случайности, заставившей его высадиться на другом берегу. Несмотря на оказанные ему милости, он вернулся в Рим. Именно он организовал заговор, разыскал недовольных и собрал их на тайные встречи; увидев, что все они требуют Брута в качестве вождя, он взялся поговорить с ним.

Они все еще враждовали из-за соперничества за городское преторство. Кассий отбросил обиду и навел своего шурина. "Он взял его за руку, как рассказывает Аппиан, и сказал: "Что мы будем делать, если льстецы Цезаря предложат сделать его царем? Брут ответил, что намерен не идти в сенат. "Что?" - ответил Кассий. "Если нас вызовут в качестве преторов, что мы тогда будем делать?" "Я буду защищать республику, - сказал другой, - до последнего". Не возьмешь ли ты тогда, - ответил Кассий, обнимая его, - кого-нибудь из сенаторов в свои ряды? Неужели ты думаешь, что это никчемные и корыстные люди или главные граждане Рима возлагают на твой трибунал те писания, которые ты там нашел? От других преторов они ждут игр, скачек или охотничьих зрелищ; от тебя же они требуют, чтобы ты восстановил в Риме свободу, как это сделали твои предки" Эти слова полностью овладели умом, который так долго не давали покоя многочисленные частные и публичные уговоры. Все еще колеблясь, но уже почти одержав верх, он ждал только, когда окажется лицом к лицу с твердым решением, чтобы уступить.

Наконец-то у заговора появился лидер, и больше не было причин колебаться и ждать. Чтобы не допустить оплошности или слабости, нужно было действовать быстро. Кассий раскрыл все Бруту через некоторое время после праздника Луперкалий, который отмечался 15 февраля, а менее чем через месяц, 15 марта, Цезарь был повержен в курии Помпея.

IV.

Брут в действительности был главой заговора, хотя у него и не возникло первой мысли о нем. Только Кассий, который его создал, мог оспаривать у него право на ведение заговора, и, возможно, у него на мгновение возникло намерение это сделать. Мы видим, что сначала он предложил план, в котором проявилась вся жестокость его характера. Он хотел, чтобы вместе с Цезарем они убили его главных друзей, и особенно Антония. Брут отказался, и другие заговорщики были с ним солидарны. В конце концов Кассий сам уступил, ибо следует заметить, что, хотя он был властным и надменным, он подчинился главенству Брута. Он несколько раз пытался вырваться из-под его власти, но после многочисленных угроз и приступов гнева почувствовал, что побежден холодным рассудком своего друга, и именно Брут в действительности руководил всем предприятием.

Это хорошо видно, а по тому, как он был задуман и осуществлен, мы узнаем его характер и склад ума. Перед нами не обычный заговор, мы имеем дело не с профессиональными заговорщиками, не с людьми, склонными к насилию и авантюрам. Это не вульгарно честолюбивые люди, жаждущие чужого состояния или почестей, и даже не безумцы, которых политическая ненависть доводит до бешенства. Несомненно, эти чувства присутствовали в сердцах многих заговорщиков; так утверждают историки, но Брут заставил их затаиться. Он старался совершать свои действия со спокойным достоинством. Его целью была только система; он не испытывал ненависти к человеку. Нанеся ему удар, он не

оскорбляет его; несмотря на многочисленные возражения, он разрешает провести его похороны и зачитать народу его завещание. Больше всего его занимают мысли о том, чтобы не показалось, что он работает на себя или своих друзей, и чтобы не было никаких подозрений в личных амбициях или партийных интересах. Таков был этот заговор, в котором участвовали люди с очень разными характерами, но который несет на себе отпечаток мысли самого Брута. Не менее ощутимо его влияние и на последующие события. Он не действовал наугад, хотя Цицерон обвинял его в этом, и все повторяют это; он заранее выработал правила поведения на будущее, у него был четко определенный план. К сожалению, выяснилось, что этот план, задуманный в одиноких размышлениях, вдали от общения и знакомства с людьми, не может быть осуществлен. Это была работа логика, который рассуждает, который собирается вести себя в разгар революции, как в обычное время, и хочет привнести узкое уважение к законности даже в дело насилия. Он признал, что ошибался, и ему пришлось последовательно отказаться от всех своих угрызений; но, поскольку он не обладал уступчивостью политика, умеющего подчиняться необходимости, он уступил слишком поздно, с плохой грацией, и всегда с сожалением оглядывался на прекрасные проекты, от которых был вынужден отказаться. Отсюда его нерешительность и непоследовательность. Говорят, что он потерпел неудачу из-за того, что не имел заранее точного плана; я же считаю, что он не добился успеха из-за того, что хотел быть слишком верным химерическому плану, который он задумал, несмотря на уроки, преподанные событиями. Краткого перечисления фактов достаточно, чтобы показать, что именно это привело к гибели его самого и его партии и сделало бесполезной пролитую кровь.

После смерти Цезаря заговорщики вышли из здания сената, размахивая мечами, и обратились к народу. Народ слушал их с удивлением, без особого гнева, но и без всякого сочувствия. Оставшись одни, они поднялись на Капитолий, где могли защищаться, и затворились там под охраной гладиаторов. К ним присоединились лишь несколько сомнительных друзей, которые всегда вступают в партии, когда им сопутствует успех. Если желающих следовать за ними было немного, то желающих напасть на них было еще меньше. Сторонники Цезаря были напуганы. Антоний сбросил с себя мантию консула и спрятался. Долабелла старался казаться радостным, давая понять, что он тоже один из заговорщиков. Многие поспешно покинули Рим и бежали в деревню; но когда они увидели, что все спокойно и заговорщики довольствуются речами в Капитолии, к самым робким вернулось мужество. Страх, который вызвал этот смелый поступок, сменился удивлением от столь странного бездействия. На следующий день Антоний вновь облачился в консульскую одежду, собрал своих друзей, вернул себе дерзость, и с ним пришлось считаться.

"Они действовали, - сказал Цицерон, - с мужественной храбростью, но с детским рассудком; *animo virili, consilio puerili*." Несомненно, что они, казалось, ничего не готовили и ничего не предвидели. Вечером в мартовские иды они ожидали событий, не сделав ничего, что могло бы их направить. Были ли это, как уже было сказано, импровизация и легкомыслие? Нет, это была система и обдуманый замысел. Брут присоединился к остальным только для того, чтобы избавить республику от человека, который мешал свободной игре институтов. Когда он был мертв, народ вновь обрел свои права и стал свободно ими пользоваться. Казалось бы, заговорщики работали на себя, сохраняя хотя бы на день ту власть, которую они вырвали у Цезаря. Заранее готовить декреты или законы, договариваться о регулировании будущего, обдумывать способы придания делам желаемого направления - разве это не значит брать на себя в некотором роде обязанности всей республики? А что еще сделал Цезарь? Таким образом, чтобы не показаться подражателями ему и действовать только благодаря соперничеству честолюбия, после нанесения великого удара заговорщикам пришлось отречься от престола. Вот как, на мой взгляд, следует объяснить их поведение. Они остались

добровольно обезоруженными лишь благодаря странному предрассудку бескорыстия и законности. Они считали, что славно действовать сообща только до тех пор, пока не убьют Цезаря. Совершив этот акт, они должны были вернуть народу управление его делами и выбор правительства, оставив его свободным выразить благодарность тем, кто его освободил, или, если он того пожелает, отплатить им забвением.

Тут-то и зародилась иллюзия: они думали, что между народом и свободой стоит только Цезарь и что, когда Цезаря больше не будет, свобода естественным образом появится вновь; но в тот день, когда они призвали граждан восстановить свои права, никто не ответил, да и не мог ответить, потому что граждан больше не было. "В течение очень долгого времени, - пишет по этому поводу Аппиан, - римский народ представлял собой лишь смесь всех народов. Вольноотпущенники смешивались с гражданами, раб уже ничем не отличался от своего господина". В общем, раздачи кукурузы, которые производились в Риме, собирали нищих, праздных и негодяев со всей Италии". Это космополитическое население, без прошлого и традиций, не было римским народом. Зло было старым, и здравомыслящие умы, должно быть, давно его заметили. Цицерон, кажется, иногда подозревает об этом, особенно когда видит, с какой ловкостью они набирают голоса на выборах. Тем не менее все продолжалось с видимой регулярностью, и дела шли своим чередом. При таком положении дел, когда государство движется только по привычке, все теряется, если это движение останавливается хоть на один день. Теперь, вместе с Цезарем, старый механизм перестал действовать. Перерыв был недолгим, но машина настолько обветшала, что при остановке полностью развалилась на части. Таким образом, заговорщикам не удалось восстановить то, что было до гражданской войны, и эта последняя тень республики, как бы несовершенна она ни была, исчезла навсегда.

Вот почему их никто не слушал и не следовал за ними. Наверное, не один из них потерял мужество в том Капитолии, где они остались одни, при виде безразличия населения. Цицерон особенно огорчился, видя, что они только и делают, что произносят красивые речи. Он хотел, чтобы они действовали, извлекали пользу из этого случая, а если понадобится, то и умирали: "Разве смерть не будет славной за такое великое дело?". В этом старике, обычно непостоянном, было больше решимости, чем во всех тех молодых людях, которые только что нанесли столь смелый удар. И все же, что он предложил? "Вы должны снова разбудить народ", - сказал он. Мы только что видели, что народ не откликнулся. "Ты должен созвать сенат и, пользуясь его страхами, выторговать несколько благоприятных декретов". Конечно, сенат проголосовал бы за все, что пожелает: но когда декреты были приняты, как их исполнить? Все эти схемы были недостаточны, и вряд ли можно было предложить что-то более практичное людям, которые были полны решимости не переступить закон. Единственным возможным шансом было смело захватить власть, удержать ее насилием и беззаконием, не дрогнув даже от проскрипций, и заменить аристократической диктатурой ту народную тиранию, которую они только что уничтожили; одним словом, возобновить историю Суллы. Возможно, Кассий так бы и поступил, но Брут испытывал ужас перед насилием. Тирания, с какой бы стороны она ни исходила, казалась ему преступлением; он скорее погиб бы вместе с республикой, чем спас бы ее такими средствами.

Несколько последующих дней прошли в странных чередованиях. Наступило своего рода междуцарствие, во время которого стороны спорили с переменным успехом. Народ, который не последовал за заговорщиками, не поддержал и своих врагов. Не зная, на что положиться,

люди действовали обеих сторон наугад, часто противоречиво и неожиданно. В один день была объявлена амнистия, и Брут отправился обедать с Лепидом, а в другой - дома заговорщиков были подожжены. Отменив диктатуру, они ратифицировали действия диктатора. Друзья Цезаря воздвигли ему колонну и алтарь на Форуме; другой друг Цезаря приказал их сбить. Именно посреди этого смятения, пока обе партии колебались, не решались и колебались, не решаясь нанести удар, пока каждая из них оглядывалась вокруг себя, чтобы понять, где реальные силы, появились те, кто отныне должен был стать хозяином.

Долгое время в Риме происходила тайная революция, которую почти не замечали, потому что она продвигалась медленно и непрерывно, но которая, когда завершилась, изменила характер государства. Кампании были короткими, пока они велись только в окрестностях Рима и в Италии. Граждане не успевали утратить традиции гражданской жизни в лагере; не было ни одной семьи, в которой не было бы ни солдат по профессии, ни полководцев по роду занятий. Но по мере того как войны становились все более далекими и продолжительными, люди, которые их вели, привыкали жить вдали от Рима. Они так надолго теряли из виду Форум, что забывали его споры и обычаи. В то же время, когда право гражданства было расширено, в легион стали принимать людей всех рас. Такое смешение завершило разрушение уз, связывавших солдата с городом; он приобрел привычку изолироваться от него, иметь отдельные интересы и смотреть на лагерь как на свою страну. После великой Галльской войны, длившейся десять лет, ветераны Цезаря уже не помнили, что они граждане, и их воспоминания не уходили дальше Ариовиста и Верцингеторикса. Когда возникла необходимость вознаградить их, Цезарь, который не был неблагодарным, распределил между ними лучшие земли Италии; и этот раздел был произведен на новых условиях. До этого времени солдаты после войны возвращались в народную массу: когда их отправляли в колонии, они терялись и как бы поглощались другими гражданами; но теперь они без перехода переходили из своего лагеря в подаренные им владения, и таким образом среди них сохранялся воинский дух. Поскольку они не были далеко друг от друга и могли общаться между собой, они не совсем утратили вкус к жизни, полной приключений. "Они сравнивали, - говорит Аппиан, - изнурительный труд земледелия с блестящими и прибыльными шансами сражений" Они образовали тогда в сердце Италии население солдат, прислушивавшихся к слухам о войне и готовых ответить на первый призыв.

Как раз в это время в Риме находилось много тех, кого Цезарь призвал туда, пока они ждали, что он дарует им земли. Другие были неподалеку, в Кампании, занятые обустройством своего дома и, возможно, испытывавшие отвращение к этим предварительным хлопотам по обустройству. Некоторые из них вернулись в Рим по слухам о происходящих событиях, остальные ждали, пока им хорошо заплатят, и выставили себя на торги. Теперь покупателей не было. Наследие великого диктатора прельщало каждого. Благодаря тем солдатам, которые были готовы продать свои услуги, каждый из конкурентов имел своих сторонников и свои шансы. Антоний преобладал над всеми благодаря блеску своей консульской власти и памяти о дружбе Цезаря; но рядом с ним находились развратник Долабелла, подававший надежды всем партиям, и молодой Октавий, приехавший из Эпира, чтобы получить наследство своего дяди. Не было никого, даже неспособного Лепида, кто не получил бы в свое распоряжение несколько легионов и не стал бы известным среди этих честолюбцев. И все они, окруженные купленными солдатами, хозяевами важных провинций, недоверчиво наблюдали друг за другом в ожидании боя.

А что тем временем делал Брут? Если бы мартовские иды не удались, он мог бы воспользоваться ссорами цезарианцев, чтобы броситься на них и разгромить. Решительные люди из его партии советовали ему попытаться сделать это и призвать к оружию всех тех

молодых людей, которые в Италии и провинциях приветствовали смерть Цезаря; но Брут ненавидел гражданскую войну и не мог решиться дать сигнал заново. Так как ему казалось, что народ поспешит принять возвращенную ему свободу, он думал, что восстановление республики может быть осуществлено без насилия. Одна иллюзия привела его к другой, и тот удар, с которого началась страшная война, длившаяся двенадцать лет, казался ему гарантией общественного спокойствия навеки. Именно в этом убеждении, выйдя из курии Помпея, где он только что убил Цезаря, он бежал по улицам с криками: "Мир! Мир!". И это слово отныне стало его девизом. Когда его друзья, узнав об опасности, которой он подвергался, пришли из соседних муниципий, чтобы защитить его, он отослал их назад. Он предпочел затвориться в своем доме, чтобы не давать повода к началу насилия. Вынужденный покинуть Рим, он прятался в окрестных садах, тревожимый солдатами, выходя на улицу только по ночам, но всегда ожидая того великого народного движения, на которое он упорно надеялся. Никто не двигался. Тогда он удалился еще дальше и укрылся в своих виллах Ланувий и Антиум. Там он слышал слухи о войне, которыми полнилась Италия, и видел, как все стороны готовились сражаться. Один он всегда сопротивлялся. Целых шесть месяцев он уклонялся от этой ужасной необходимости, которая с каждым днем становилась все более неизбежной. Он не мог решиться принять ее и спрашивал совета у всех.

Цицерон даже рассказывает в своих письмах^[361] о некоем совете, который состоялся в Антиуме, чтобы рассмотреть, что нужно делать. Сервилия была там с Порцией, Брут - с Кассием, а также были приглашены несколько самых верных друзей, среди которых были Фавоний и Цицерон. Сервилия, больше беспокоясь о безопасности, чем о чести своего сына, хотела, чтобы он удалился. Она добилась от Антония, который оставался ее другом, для сына и зятя *легата*, то есть поручения отправиться на сбор зерна в Сицилию. Это был благовидный и безопасный предлог для отъезда из Италии; но какой позор! Уехать с разрешением, подписанным Антонием, принять изгнание как услугу. Кассий не соглашался; он говорил страстно, возмущался, угрожал, "можно было сказать, что он дышит только войной". Брут, напротив, спокойный и покорный, расспрашивал своих друзей, решив удовлетворить их, рискуя жизнью. Желают ли они, чтобы он вернулся в Рим? Он был готов отправиться туда. Все воскликнули, услышав это предложение. Рим был полон опасностей для заговорщиков, и они не хотели бесполезно подвергать опасности последние надежды на свободу. Что же им тогда делать? Они сошлись на том, что горько сожалеют о выбранном ими пути. Кассий сожалел, что они не убили Антония, как он того требовал, а Цицерон не хотел ему противоречить.

К сожалению, эти упреки были бесполезны; дело было не в том, чтобы сетовать на прошлое, настал момент определять будущее, и они не знали, на что решиться.

Брут не сразу принял решение после этой встречи. Он продолжал оставаться на своей вилле в Ланувии, читая и обсуждая под красивыми портиками с греческими философами свое обычное общество. Однако было необходимо уехать. Италия становилась все менее безопасной, ветераны заволокли дороги и грабили загородные дома. Брут отправился в Веллию, чтобы присоединиться к кораблям, которые ждали его в Греции. Свой отъезд он называл изгнанием и, питая последнюю иллюзию, надеялся, что это не станет сигналом к войне. Когда Антоний обвинил его в подготовке к ней, он ответил ему от имени Кассия и от своего собственного в восхитительном письме, конец которого приводится ниже: "Не льсти себе, что ты нас напугал, страх ниже нашего характера. Если бы другие мотивы могли склонить нас к гражданской войне, ваше письмо не лишило бы нас этого, ибо угрозы не имеют власти над свободными сердцами; но вы хорошо знаете, что мы ненавидим войну, что ничто не может втянуть нас в нее, и вы напускаете на себя угрожающий вид, без сомнения,

чтобы заставить людей поверить, что наше решение - следствие наших страхов. Таковы наши чувства; мы желаем, чтобы вы жили с отличием в свободном государстве; мы не хотим быть вашими врагами, но свобода для нас важнее вашей дружбы. Поэтому мы молим богов вдохновить вас на советы, полезные для республики и для вас самих. Если же нет, то мы желаем, чтобы твоя собственная партия причинила тебе как можно меньше вреда и чтобы Рим был свободен и славен!"

В Велии к Бруту присоединился Цицерон, который тоже подумывал об уходе. Удрученный бездействием друзей, напуганный угрозами врагов, он уже пытался улететь в Грецию, но ветер отбросил его к берегам Италии. Узнав, что Брут собирается уезжать, он пожелал снова увидеть его и, по возможности, отправиться вместе с ним. Цицерон часто говорил с душераздирающим акцентом об эмоциях этой последней беседы. "Я видел его, - рассказывал он позже людям, - я видел, как он уезжал из Италии, чтобы не вызвать там гражданской войны. О горестное зрелище, я говорю не только для людей, но и для волн и берегов. Спаситель своей страны был вынужден бежать, ее губители остались всесильными".

Последней мыслью Брута в этот печальный момент все еще была мысль о мире в обществе. Несмотря на столько разочарований, он все еще рассчитывал на народ Рима; он считал, что сделано недостаточно, чтобы пробудить его пыл; он не мог смириться с тем, что граждан больше нет. Он начал сожалеть о том, что не предпринял еще одну борьбу законными методами. Несомненно, он не мог вернуться в Рим и снова стать членом сената; но Цицерон был менее скомпрометирован, его слава вызывала уважение, люди любили слушать его слова. Не мог ли он предпринять эту последнюю попытку? Брут всегда так считал; в этот момент он осмелился сказать об этом. Он указал Цицерону на великий долг, который тот должен выполнить, на великую роль, которую он должен сыграть; его советы, его упреки, его молитвы побудили его отказаться от путешествия и вернуться в Рим. Ему казалось, что он слышит, как он говорил позже, "голос своей страны, напоминающий о нем!" И они расстались, чтобы больше не встречаться.

Однако сопротивляться Бруту было бесполезно: неизбежная тенденция событий, против которых он боролся полгода, втянула его в гражданскую войну. Покинув Италию, он приехал в Афины, где проводил время, слушая академика Феомнеста и перипатетика Кратиппа. Плутарх видит в этом поведении ловкую диссимуляцию. "Он готовился к войне, - говорит он, - втайне". Письма Цицерона доказывают, что, напротив, именно война отправилась на его поиски. Фессалия и Македония были полны старых солдат Помпея, которые остались там после Фарсалии; острова Эгейского моря, города Греции, которые считались своего рода убежищем для изгнанников, содержали много недовольных, отказавшихся подчиниться Цезарю, а с мартовских ид они стали убежищем для всех, кто бежал от господства Антония. По правде говоря, Афины были полны юношей из величайших семей Рима, республиканцев по рождению и возрасту, которые отправились туда, чтобы завершить свое образование. Они ждали Брута только для того, чтобы взяться за оружие. По его прибытии со всех сторон началось большое и непреодолимое движение, которому он вынужден был уступить дорогу. Апулей и Ватиний привели ему войска, которыми они командовали. Старые солдаты Македонии собрались под командованием К. Гортензия; из Италии прибыло столько народу, что консул Панса в конце концов пожаловался и пригрозил остановить новобранцев Брута на их пути. Афинские студенты, среди которых были сын Цицерона и юный Гораций, бросили учебу и поступили под его начало. Через несколько месяцев Брут стал хозяином всей Греции и имел восемь легионов.

В этот момент республиканская партия, казалось, пробудилась повсюду. Цицерон преуспел в Риме больше, чем надеялся, и нажил себе врагов в лице Антония, который победил его

перед Моденой. Брут только что сформировал значительную армию в Греции. Кассий прошел через Азию, набирая легионы на своем пути, и весь Восток объявил ему свою поддержку. К самым робким вернулась надежда, и казалось, что республика может рассчитывать на все благодаря сотрудничеству стольких великодушных защитников. Однако именно в этот момент, когда так необходимо было объединиться, между Цицероном и Брутом вспыхнули серьезнейшие разногласия. Какую бы досаду она нам ни причиняла, о ней необходимо рассказать, ибо она дополняет наше представление об обоих.

Первым пожаловался Цицерон. Этот человек, обычно такой слабый и нерешительный, после смерти Цезаря стал необычайно энергичным. Благоразумие, милосердие, умеренность, великие качества, которые он высоко ценил и охотно применял на практике, казались ему больше не соответствующими обстоятельствам времени. Этот великий проповедник мирных побед проповедовал всем войну; этот суровый друг законности просил всех переступить через нее. "Не ждите постановлений сената" говорил он одному. "Будьте сами себе сенатом" писал он другому. Для достижения своих целей все средства, даже самые жестокие, казались ему хорошими; все союзы его устраивали, даже союзы людей, которых он не уважал. Брут же, напротив, даже решив взяться за оружие, оставался щепетильным и нерешительным и по-прежнему не любил насилия. Хотя его имя прославилось главным образом благодаря убийству, кровь была ему отвратительна. Он щадил своих врагов, когда они были в его власти, вопреки бесчеловечным законам, принятым всеми, по которым побежденные безоговорочно отдаются на волю победителя. Он только что привел пример, пощадив жизнь брата Антония после того, как победил его. Хотя тот был плохим человеком и в знак благодарности пытался подкупить охранявших его солдат, Брут продолжал относиться к нему с добротой. Не стоит считать это большим преступлением, тем не менее в Риме были очень раздражены этим. Яростные угрозы Антония, от которого они только что с таким трудом спаслись, воспоминания о пережитых ужасах и страшных переменах в течение шести месяцев приводили в ярость самых мирных людей. Нет ничего более жестокого, чем гнев умеренных людей, когда они доведены до крайности. Они хотят покончить с этим любой ценой и как можно скорее. Они вспомнили, с каким отвращением и медлительностью Брут начал войну. Видя его таким уступчивым, таким покладистым, они боялись, что он снова впадет в нерешительность и еще больше оттянет момент мести и безопасности. Цицерон решил сообщить Бруту об их недовольстве. В своем письме, которое до сих пор хранится у нас, он с большой силой перечисляет ошибки, совершенные после смерти Цезаря; он вспоминает все слабости и колебания, которые обескураживали решительных людей, и, что, должно быть, особенно ранило Брута, - нелепость желания установить общественное спокойствие с помощью речей. "Неужели вы не знаете, - говорит он, - о чем идет речь в данный момент? Банда негодяев и жалких людишек угрожает даже храмам богов, и в этой войне на карту поставлена наша жизнь или смерть. Кого мы щадим? Что мы делаем? Разве разумно бережно относиться к людям, которые, если станут завоевателями, уничтожат сами следы нашего существования?"

Эти упреки спровоцировали Брута, и он ответил на них упреками. Он также был недоволен сенатом и Цицероном. Какое бы восхищение ни вызывало у него красноречие *"Филиппиков"*, многое в них, должно быть, раздражало его. Общий тон этих речей, их горькие личности, их пламенные инвективы не могли быть приятны человеку, который, поражая Цезаря, хотел казаться бесстрастным и скорее врагом принципа, чем человека. Если в *"Филиппиках"* есть большая любовь к свободе, то в них есть и яростная личная ненависть. Мы чувствуем, что этот враг страны в то же время является частным и личным противником. Он пытался поработить Рим, но при этом позволил себе в очень забавной речи поинтересоваться слабостями старого консула. Раздражительное тщеславие Цицерона разгорелось, когда он

прочитал эту инвективу: "он взял биту между зубами" по выражению современника. Благородная ненависть, которую он испытывал к общественному врагу, разгорелась в личную злобу; началась смертельная борьба, которая с возрастающей энергией продолжалась в течение четырнадцати ораций. "Я решился, - говорил он, - осыпать его ругательствами и отдать его обесчещенным на вечное презрение потомства"; и он сдержал свое слово. Эта страстная настойчивость, этот порывистый и яростный тон, должно быть, раздражали Брута. Лъстецы Цицерона были ему не менее неприятны, чем его гнев. Он обижался на него за преувеличенные восхваления, которые тот давал людям, мало их заслуживавшим, генералам, служившим любому делу, государственным деятелям, подчинявшимся любому правительству, честолюбцам и интриганам всех мастей, которых Цицерон с таким трудом объединил в партию, которую он называл партией честных людей; Его особенно раздражало, когда он видел, как тот осыпает похвалами молодого Октавия и кладет республику к его ногам; а когда он слышал, как тот называет его "божественным юношей, посланным богами для защиты страны", он едва мог сдержать свой гнев.

Кто из них двоих был прав? Брут, несомненно, если вспомнить конец. Мы ясно видим, что Октавий не мог быть никем иным, как честолюбцем и предателем. Имя, которое он носил, было для него непреодолимым соблазном; отдать ему республику - значит уничтожить ее. Брут был прав, считая, что Октавия следует бояться больше, чем Антония, и его ненависть не обманула его, когда он предвидел в этом *божественном юноше*, которого так превозносил Цицерон, будущего хозяина империи, наследника и преемника того, кого он убил. Виноват ли в этом Цицерон или только обстоятельства? Приняв помощь Октавия, имел ли он право отказаться от нее? В то время у республики не было ни одного солдата, чтобы противостоять Антонию, они должны были принять помощь Октавия или погибнуть. После того как он спас республику, было бы неблагородно торговаться с ним из-за благодарностей и почестей. Кроме того, его ветераны требовали их так, что не терпели отказа, и часто давали их ему заранее. Сенат санкционировал все как можно быстрее, опасаясь, что они обойдутся без его согласия. "Обстоятельства, - говорит где-то Цицерон, - дали ему команду, мы только добавили фасков" Таким образом, прежде чем обвинять Цицерона в послушании или сетовать на его слабость, им следовало бы подумать о трудностях его положения. Он пытался восстановить республику с помощью людей, которые боролись против нее и не любили ее. Как он мог положиться на Гиртия, автора сурового закона против помпейцев, на Планка и Поллиона, старых лейтенантов Цезаря, на Лепида и Октавия, каждый из которых желал занять его место? И все же у него не было другой поддержки, кроме них. Этому великому и честолюбивому человеку, который в мартовские иды хотел стать хозяином, он мог противопоставить лишь коалицию низших или скрытых амбиций. Нет ничего труднее, чем проложить себе дорогу среди всего этого открытого или тайного соперничества. Нужно было обузывать одно другим, льстить им, чтобы вести их за собой, частично удовлетворять их, чтобы держать в рамках. Отсюда эти щедрые пожалования или обещания почестей, обилие похвал и титулов, преувеличенные официальные благодарности. Это была необходимость, навязанная обстоятельствами; вместо того чтобы считать преступлением то, что Цицерон подчинился ей, они должны были сделать такой вывод, а именно: пытаться вести новую борьбу законными средствами, возвращаться в Рим, чтобы пробудить пыл народа, снова уповать на силу воспоминаний и верховную власть ораторского искусства, означало подвергать себя бесполезным опасностям и неминуемым разочарованиям. Цицерон хорошо это знал. Иногда, несомненно, в пылу борьбы он мог позволить себе увлечься триумфами своего красноречия, как в тот день, когда он наивно писал Кассию: "Если бы можно было говорить чаще, было бы нетрудно восстановить республику и свободу". Но эта иллюзия никогда не длилась долго. Минутное опьянение прошло, и он не замедлил признать бессилие ораторского искусства и первым сказал, что они могут возлагать свои надежды

только на республиканскую армию. Он никогда не менял этого мнения. "Скажи мне, - писал он Аттикусу, - что я ошибаюсь, считая, что республика целиком зависит от Брута; ничего более верного нет. Если она вообще может быть спасена, то только им и его друзьями". Цицерон предпринял это последнее предприятие без иллюзий и надежд, и исключительно для того, чтобы уступить желаниям Брута, который упорствовал в своей любви к конституционному сопротивлению и мирной борьбе. Брут, таким образом, имел меньше прав, чем кто-либо другой, упрекать его в том, что он поддался. Цицерон был прав, часто вспоминая ту беседу в Веллии, когда его друг убедил его, несмотря на колебания, вернуться в Рим. Эти воспоминания были его защитой; они должны были помешать Бруту произнести хоть одно горькое слово против него, которого он сам втянул в бесполезное предприятие.

Цицерон, должно быть, глубоко переживал эти упреки, но его дружба к Бруту осталась неизменной. Он по-прежнему обращается к нему, взывает к нему, когда кажется, что в Италии все потеряно. Ничто так не трогает, как его последний крик тревоги: "Мы - спорт, мой дорогой Брут, из-за распущенности солдат и дерзости их вождя. Каждый хочет иметь в республике столько власти, сколько у него есть силы. Люди больше не знают ни разума, ни меры, ни закона, ни долга; их больше не волнует ни общественное мнение, ни суд потомков. Так придите же и дайте наконец республике ту свободу, которую вы завоевали для нее своим мужеством, но которой мы еще не можем наслаждаться. Все будут тесниться вокруг вас; у свободы нет иного убежища, кроме как в ваших шатрах. Таково наше положение на данный момент; если бы оно могло стать лучше! Если будет иначе, я буду только плакать о республике; она должна быть бессмертной. Что касается меня, то мне осталось жить совсем немного!"

Спустя несколько месяцев после этого Лепид, Антоний и Октавий, триумвиры по воссозданию республики, как они себя называли, собрались под Болоньей. Они слишком хорошо знали друг друга, чтобы не осознавать, что способны на все, и поэтому предприняли минутные меры предосторожности друг против друга. Беседа проходила на острове, и они прибыли с равным количеством войск, которые не должны были терять их из виду. Для большей безопасности, опасаясь, что у кого-нибудь из них найдется спрятанный кинжал, они обыскивали друг друга. Успокоив себя таким образом, они провели долгое совещание. Вопрос о восстановлении республики уже не стоял; больше всего, помимо разделения власти, их занимала месть, и они тщательно составили список тех, кто должен был быть убит. Дион Кассий отмечает, что, поскольку они глубоко ненавидели друг друга, человек, тесно связанный с одним из них, непременно становился смертельным врагом двух других, так что каждый требовал именно головы лучших друзей своих новых союзников. Но эта трудность не остановила их; их благодарность была гораздо менее требовательной, чем их ненависть, и, покупая смерть врага смертью нескольких друзей или даже родственников, они считали, что заключили хорошую сделку. Благодаря этим взаимным уступкам они вскоре пришли к соглашению, и список был составлен. Цицерон, как мы можем понять, не был в нем забыт; Антоний настоятельно требовал его, и вряд ли, что бы ни говорили писатели империи, Октавий защищал его с большим рвением; он постоянно припоминал бы ему неприятную благодарность и вопиющий акт лжесвидетельства.

Со смертью Цицерона мы подошли к концу этой работы, так как предлагали изучить только отношения Цицерона и Брута. Если бы мы захотели продолжить эту работу и узнать, чем закончилась судьба Брута, достаточно было бы прочитать замечательное повествование Плутарха. Я боюсь испортить его сокращением. В нем мы видим, что Брут испытал сильное горе, узнав о гибели Цицерона. Он сожалел больше, чем друг, что вместе с ним потерял

заветную надежду, от которой не желал отказываться. На этот раз, однако, он был вынужден признать, что в Риме больше нет граждан, и впасть в отчаяние перед тем низменным населением, которое позволило погибнуть своим защитникам. "Если они рабы, - печально сказал он, - то это скорее их собственная вина, чем вина их тиранов". Никакое признание не могло обойтись ему дороже. С тех пор как он убил Цезаря, его жизнь была сплошной чередой разочарований, а события, казалось, играли со всеми его планами. Его угрызения совести по поводу законности привели к тому, что он упустил возможность спасти республику; его ужас перед гражданской войной привел к тому, что он начал ее слишком поздно. Мало того, что он оказался вынужден, вопреки себе, нарушать закон и сражаться против своих сограждан, он был вынужден признать, к своему великому сожалению, что, ожидая от людей слишком многого, он ошибался. Он был о них хорошего мнения, когда изучал их издалека вместе со своими любимыми философами. Его мнение изменилось, когда он близко соприкоснулся с ними, когда ему пришлось стать свидетелем унижения характера, обнаружить тайную жадность, бессмысленную ненависть, трусливый страх тех, кого он считал самыми храбрыми и честными! Он был так глубоко опечален, что, узнав о последних слабостях Цицерона, усомнился в самой философии, своей любимой науке, которая была наслаждением всей его жизни. "Что толку, - говорил он, - что он с таким красноречием писал о свободе своей страны, о чести, смерти, изгнании или нищете? По правде говоря, я начинаю больше не доверять тем занятиям, которыми Цицерон так много занимался". Читая эти горькие слова, мы вспоминаем те, что он говорил перед смертью; одно объясняет другое, и каждое - симптом одной и той же внутренней проблемы, которая становится все более серьезной по мере того, как опыт государственных дел все больше и больше разочаровывает его в людях и жизни. Он колебался в отношении философии, видя слабость тех, кто изучал ее наиболее глубоко; видя, как торжествует партия прозелитов, он сомневался в добродетели.

Так должен был погибнуть этот человек мысли, который нехотя стал человеком действия и был выброшен силой событий из своей природной стихии.

ОСТАВИУС

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ АВГУСТА

Цицерону нравились молодые люди; он охотно посещал их общество и с готовностью становился молодым вместе с ними. Сразу после того, как он стал претором и консулом, мы видим, как он окружает себя многообещающими молодыми людьми, такими как Казэлий, Курио и Брут, которых он брал с собой на Форум и учил выступать на его стороне. Позже, когда поражение при Фарсалии отстранило его от управления страной, он начал жить в дружеской компании с теми легкомысленными юношами, которые последовали за партией завоевателя, и даже согласился, в качестве развлечения, давать им уроки ораторского искусства. "Они мои ученики в искусстве хорошо говорить, - весело писал он, - и мои мастера в искусстве хорошо обедать". После смерти Цезаря события свели его с еще более молодым поколением, которое тогда стало появляться в политической жизни. Планк, Поллион, Мессала, которым судьба предназначила стать высшими сановниками нового правительства, искали его дружбы, а основатель империи называл его отцом.

Переписка Октавия и Цицерона была опубликована, и мы знаем, что она составила не менее трех книг. Она была бы очень интересной, если бы сохранилась. Читая ее, мы могли бы проследить все этапы этой дружбы, длившейся несколько месяцев, которая должна была закончиться столь ужасным образом. Вероятно, более ранние письма Цицерона покажут его сначала недоверчивым, сомневающимся и холодно-вежливым. Несмотря на все сказанное, не он призвал Октавия на помощь республике. Октавий пришел по собственной воле. Он писал Цицерону каждый день;^[376] он заваливал его заверениями и обещаниями, уверял в преданности, которая не может не быть. Цицерон долго не решался проверить эту преданность на практике. Он считал Октавия умным и решительным, но довольно молодым. Он боялся его имени и друзей. "Вокруг него слишком много плохих людей, - говорил он, - он никогда не будет хорошим гражданином". Тем не менее он позволил взять себя в руки; он забыл о своем недоверии, и когда *мальчик*, как он называл его, снял осаду Модены, его благодарность была доведена до предела, что не одобрил благоразумный Атик и что вызвало недовольство Брута. Радость, которую он испытал от поражения Антония, заставила его забыть о сдержанности; он был ослеплен и увлечен своей ненавистью. Когда он увидел, как "этот пьяница попал в силки Октавия, придя с дебоша", он был вне себя от радости. Но эта радость длилась недолго, так как он узнал об измене полководца почти одновременно с победой. Именно в этот момент его письма будут интересны прежде всего. Они прольют свет на последние месяцы его жизни, история которых нам плохо известна. Усилия, которые он тогда предпринял, чтобы смягчить своего старого друга, вменяются ему в преступление, и я признаю, что, руководствуясь только своим достоинством, лучше было бы не просить ничего у того, кто так подло предал его. Но дело было не только в нем самом. У Рима не было солдат, которые могли бы противостоять солдатам Октавия. Единственное средство, которое оставалось, чтобы обезоружить его, - это напомнить ему о данных им обещаниях. Надежды на то, что удастся возродить хоть искру патриотизма в этом эгоистичном разуме, не было, но попытка должна быть сделана. Республика была в опасности, как и жизнь Цицерона, и то, что ему не следовало делать, чтобы продлить собственную жизнь, нужно было попытаться сделать, чтобы спасти республику. Мольбы не являются основанием, когда человек защищает свободу своей страны, и нет другого способа ее защитить. Несомненно, именно в этот страшный момент он написал Октавию те самые смиренные слова, которые мы находим во фрагментах его писем: "Дай мне знать на будущее, чего ты желаешь от меня, я превзойду твои ожидания". Далеко не упрекая его за мольбы, я признаюсь, что не могу без эмоций смотреть, как этот славный старик унижается перед *мальчиком*, который предал его доверие, который играл с его легковерием, но который имеет власть спасти или погубить республику!

К сожалению, сохранились лишь фрагменты этих писем, которые ничему не могут нас научить. Если мы хотим узнать того, кто занимал столь важное место в последних событиях жизни Цицерона, мы должны искать его в другом месте. Было бы легко и поучительно воспроизвести здесь мнения, которые высказывают о нем историки империи. Но я предпочитаю придерживаться метода, которого я придерживался в этой работе до конца, и, если это возможно, судить об Октавии, как и о Цицероне, по тому, что он сам нам рассказывает, по его признаниям и его доверию. В отсутствие его переписки и мемуаров, которые утрачены, возьмем великую надпись в Анцире, которую иногда называют политическим завещанием Августа, поскольку в ней он подводит итог всей своей жизни. К счастью, она дошла до нас. От Суетония мы знаем, что он приказал выгравировать ее на медных пластинах, закрепленных на его гробнице.^[380] Вероятно, она была очень широко распространена в первом веке христианской эры, и лесть или благодарность умножили копии повсюду, в то самое время, когда поклонение основателю империи распространилось по всей вселенной. Фрагменты были найдены среди руин Аполлонии, и она до сих пор существует целиком в Ангоре, древней Анцире. Когда жители Анциры воздвигли храм

Августу, который был их благодетелем, они решили, что не смогут почтить его память лучше, чем выгравировав этот рассказ, или, скорее, прославление его жизни, которое он сам сочинил. С тех пор памятник, посвященный Августу, не раз менял свое предназначение: на месте греческого храма возникла византийская церковь, а на месте церкви - турецкая школа. Крыша провалилась, утащив за собой украшения вершины, колонны портиков исчезли, а к древним руинам добавился мусор византийских и турецких зданий, которые тоже уже лежат в руинах. Но по счастливой случайности мраморные плиты, повествующие о деяниях Августа, остались прочно прикрепленными к несокрушимым стенам.

Это благоприятная возможность для изучения этого памятника. М. Перро^[381] только что привез из Галатии более правильную копию латинского текста, а также совершенно новую часть греческого перевода, которая разъясняет и дополняет латинский. Благодаря ему, за исключением нескольких пробелов, не имеющих большого значения, надпись теперь является полной и может быть прочитана от начала до конца. Поэтому теперь мы можем понять и истолковать ее общий смысл.

I.

Первая особенность, которую мы замечаем при чтении ансиранской надписи, - это ее величественный тон. Невозможно не поразиться ему. По властному тону мы сразу видим, что говорящий управляет всем миром уже более пятидесяти лет. Он осознает важность сделанного им: он знает, что ввел новое состояние общества и руководил одним из величайших изменений в истории человечества. Поэтому, хотя он лишь пересказывает факты и приводит цифры, все его слова звучат величественно, и он умеет придать этим сухим перечислениям такой величественный оборот, что мы чувствуем себя охваченными невольным уважением при их чтении. Однако мы должны быть начеку. Величественный тон может быть удобной завесой, скрывающей многие слабости; пример Людовика XIV, столь близкий к нашим временам, должен научить нас не доверять ему без проверки. Кроме того, не стоит забывать, что достоинство было настолько истинно римской чертой, что его видимость сохранялась долгое время после того, как реальность исчезла. Когда мы читаем надписи последних лет существования империи, мы едва ли замечаем, что она вот-вот погибнет. Эти жалкие князья, владевшие лишь несколькими провинциями, говорят так, словно они управляют всей вселенной, а их грубейшая ложь выражается с невероятным достоинством. Если мы хотим избежать обмана при изучении памятников римской истории, мы должны быть начеку, не поддаваться первому впечатлению, которое может быть обманчивым, и внимательно смотреть на вещи.

Хотя надпись, которую мы изучаем, называется "Рассказ о деяниях Августа", на самом деле в ней не вся жизнь Августа, о которой он хотел рассказать. Здесь есть большие и намеренные пробелы; он не собирался рассказывать все. Когда в возрасте семидесяти шести лет, в окружении восхищения и уважения всего мира, престарелый принц пересматривал свою прошлую жизнь, чтобы быстро подвести ее итог, многие воспоминания, должно быть, тревожили его. Несомненно, например, он с большой неохотой вспоминал ранние годы своей политической жизни. Однако необходимо было что-то сказать о них, и разумнее было попытаться приукрасить их, чем хранить молчание, которое могло бы вызвать много разговоров. Он выкрутился следующим образом: "В девятнадцать лет, - говорит он, - я собственными усилиями и за свой счет собрал армию; с ней я вернул свободу республике, в которой господствовала угнетавшая ее фракция. В ответ сенат своими постановлениями ввел меня в число консулов, предоставил мне право командовать войсками и поручил мне

вместе с консулами К. Пансой и А. Гирцием следить за безопасностью государства с титулом пропретора. Оба консула умерли в том же году, народ поставил меня на их место и назначил триумвиром, чтобы навести порядок в республике". В этих нескольких строках, составляющих начало надписи, уже есть несколько необычных пропусков. Из них можно сделать вывод, что все перечисленные им достоинства он получил, служа одному и тому же делу, и что между первыми должностями, которые он получил, и триумвиратом ничего не произошло. Благодаря *"Филиппикам"* мы знаем те постановления сената, которые здесь упоминаются с некоторым бесстыдством. Сенат поздравляет молодого Цезаря "за защиту свободы римского народа" и за победу над Антонием; теперь, после того как он договорился с Антонием о порабощении римского народа во время той мрачной беседы в Болонье, он получил, или, скорее, принял титул триумвира. Надпись хранит благоразумное молчание обо всем этом.

О том, что последовало за этим собеседованием, рассказывать еще сложнее. Здесь Август особенно желал забвения. "Я изгнал тех, кто убил моего отца, наказав их преступление обычными трибуналами. Затем, когда они начали войну против республики, я победил их в двух битвах". Следует отметить, что здесь нет упоминания о проскрипциях. Да и что он мог сказать о них? Могут ли какие-либо языковые ухищрения уменьшить их ужас? В целом было правильнее не говорить о них. Но поскольку, по прекрасному выражению Тацита, легче промолчать, чем забыть, мы можем быть уверены, что Август, который здесь ничего не говорит о проскрипциях, не раз думал о них при жизни. Даже если он не испытывал угрызений совести, его, должно быть, часто смущало ужасное противоречие между его прошлым и последующей политикой; ведь что бы он ни делал, воспоминания о проскрипциях всегда опровергали его официальный образ чистого и благородного человека. Даже здесь, как мне кажется, он выдает свое смущение. Его молчание не вполне удовлетворяет его, он чувствует, что, несмотря на его благоразумие, неприятные воспоминания не могут не пробудиться в умах его читателей; и поэтому, чтобы предвосхитить и обезоружить их, он спешит добавить: "Я пронес свое оружие по суше и по морю через весь мир в своих войнах против горожан и иностранцев. После победы я помиловал уцелевших в бою граждан и предпочел сохранить, а не уничтожить те чужеземные народы, которых я мог пощадить без опасности".

После прохождения этого сложного места стало легче рассказывать об остальном. Тем не менее, он по-прежнему очень краток в отношении прежних времен. Возможно, он опасался, что воспоминания о гражданских войнах помешают тому примирению партий, которое всеобщее истощение привело после Актиума? Во всей надписи нет ни одного слова, которое могло бы воскресить былые распри. Он почти ничего не говорит о своих старых соперниках. Максимум - одно пренебрежительное слово о Лепиде и недоброжелательное, но мимолетное обвинение Антония в захвате сокровищ храмов. О войне с Секстом Помпеем, доставившей ему столько хлопот, и о доблестных морях, одержавших над ним победу, он говорит только следующее: "Я очистил море от пиратов, и в этой войне я захватил тридцать тысяч беглых рабов, сражавшихся против республики, и передал их хозяевам для наказания". Что касается той великой победы при Актиуме, которая дала ему мировую империю, то он вспоминает о ней только для того, чтобы заявить о нетерпении Италии и западных провинций заявить в его пользу.

Естественно, он предпочитает останавливаться на событиях более поздних лет своего правления, и мы чувствуем, что он более спокоен, когда говорит о победах, в которых побежденные не были римлянами. Он с законной гордостью вспоминает, как отомстил за оскорбления, нанесенные национальной гордости до него: "После побед, одержанных в

Испании и над далматинцами, я вернул себе штандарты, которые потеряли некоторые генералы. Я заставил парфян вернуть трофеи и знаки трех римских армий и смиренно прийти и потребовать нашей дружбы. Я поместил эти знаки в святилище Марса-мстителя". Мы также можем понять, что он с удовлетворением говорит о походах против германцев, стараясь, однако, обойти молчанием катастрофу Вара, и что он стремится сохранить память о тех далеких экспедициях, которые так сильно поразили воображение его современников. "Римский флот, - говорит он, - плыл от устья Рейна в сторону, где восходит солнце, вплоть до тех далеких стран, куда еще ни один римлянин не проникал ни по суше, ни по морю. Цимбры, хариды, семноны и другие германские племена тех стран прислали послов, чтобы просить моей дружбы и дружбы римского народа. По моему приказу и указанию две армии почти одновременно были отправлены в Аравию и Эфиопию. Покорив многие народы и взяв много пленных, они достигли города Набата в Эфиопии и границ сабейцев и города Мариба в Аравии".

Но какой бы интерес мы ни находили в этих исторических воспоминаниях, интерес памятника Анцира заключается не только в них. Его настоящая важность заключается в том, что он рассказывает нам о внутреннем управлении Августа.

И здесь мы снова должны читать с осторожностью. Политики очень редко имеют привычку вывешивать на стенах храмов принципы, которыми они руководствуются, и так щедро делиться с общественностью секретами своего поведения. Очевидно, что Август, писавший здесь для всего мира, не собирался рассказывать обо всем, и если мы хотим узнать точную правду и досконально изучить характер его учреждений, то должны искать в другом месте. Историк Дион Кассий дает нам наиболее полную информацию по этому вопросу. Дио очень мало читают, и это неудивительно, ведь он не обладает ни одним из тех качеств, которые привлекают читателей. Его повествование постоянно прерывается бесконечно длинными рассуждениями, которые отталкивают самого терпеливого читателя. Он был человеком узкого ума, не обладал политическими способностями, был охвачен нелепыми суевериями, и те же качества он приписывает своим историческим персонажам. Воистину, стоило быть дважды консулом, чтобы всерьез рассказывать нам, что после большого поражения Октавий обрел мужество, увидев, как рыба выпрыгнула из моря к его ногам! Что еще больше раздражает нас, так это то, что, поскольку он часто рассматривает те же темы, что и Тацит, он постоянно предлагает сравнения, которые нелестны для него самого. Однако мы должны следить за тем, чтобы не недооценивать его; каким бы утомительным он ни был, он оказывает нам очень полезные услуги. Если у него нет широких взглядов Тацита, он посвящает себя деталям и творит чудеса. Никто никогда не был более точным и подробным, чем он. Я думаю о нем как о ревностном государственном чиновнике, прошедшем все ступени и состарившемся в своей профессии. Он досконально знает тот чиновничий и административный мир, в котором жил; он говорит о нем точно и любит говорить о нем. При таких наклонностях вполне естественно, что его интересуют реформы, проведенные Августом во внутреннем управлении империей. Ему не терпится сообщить нам о них во всех подробностях; и, верный своим риторским привычкам и безудержной любви к изящным речам, он предполагает, что именно Мecenат предложил Августу установить их, и пользуется случаем, чтобы заставить его говорить очень долго.^[382] В рассуждениях Мecenата содержится, по сути дела, то, что мы можем назвать общей теорией империи. Этот интересный набросок, который был реализован позднее, очень помогает нам понять ту часть Анцирской надписи, которую нам еще предстоит изучить. Мы должны всегда иметь ее в виду, чтобы досконально понять дух учреждений Августа, мотивы его либеральности, скрытый смысл упоминаемых им фактов и, прежде всего, характер его отношений с различными классами граждан.

Начнем с изучения отношений Августа со своими солдатами. "Около... тысячи римлян, - говорит он, - носили при мне оружие. Я основал в колониях или отправил обратно в их муниципии после окончания срока службы более трехсот тысяч. Всем им я дал землю или деньги на ее покупку". В двух разных случаях, после войн с Секстом Помпеем и с Антонием, Август возглавлял около пятидесяти легионов; когда он умер, у него было всего двадцать пять. Но и это количество, как ни сокращалось, все равно нестерпимо тяготило финансы империи. Огромный рост расходов, который создание больших постоянных армий возлагало на казну, не позволял Августу долгое время, несмотря на процветание его правления, иметь то, что мы сейчас называем равновесным бюджетом. Четыре раза он был вынужден помогать государственной казне из своего личного состояния, а суммы, которые он подарил государству, исчисляются ста пятьюдесятью миллионами сестерций (1 200 000 фунтов стерлингов). Ему стоило немалого труда устранить эти финансовые трудности, главной причиной которых были расходы на армию. Это натолкнуло его на мысль создать своего рода военный пенсионный фонд и обратиться, чтобы пополнить его, к щедрости союзных царей и городов, а также самых богатых римских граждан; чтобы стимулировать других собственным примером, он единовременно пожертвовал сто семьдесят миллионов сестерций (1 360 000 фунтов стерлингов). Но этих добровольных даров оказалось недостаточно, пришлось ввести новые налоги и пополнить казну армии за счет поступлений от двадцатой части налога на наследство и сотой части - на продажу. Но, похоже, несмотря на все эти усилия, пенсии выплачивались плохо, поскольку это было одной из причин недовольства, о котором заявили легионы Паннонии в своем восстании против Тиберия. Несомненно, что армия Августа была одной из самых больших забот его правления. Его собственные легионы доставляли ему не меньше проблем, чем вражеские. Ему приходилось иметь дело с солдатами, которые чувствовали себя хозяевами, и которые в течение десяти лет были развращены лестью и обещаниями. Накануне битвы они были очень требовательны, потому что знали, сколько от них требуется; после победы они становились неуправляемыми от гордости, которую она им внушала. Чтобы удовлетворить их, пришлось бы экспроприировать всех жителей Италии в совокупности. Сначала, после Филиппа, Октавий согласился на это, но позже, когда его политика изменилась, когда он понял, что не сможет создать стабильное правительство, если навлечет на себя ненависть италийцев, он решил хорошо заплатить владельцам за земли, которые он отдал своим ветеранам. "Я возместил муниципалитетам, - говорит он, - деньгами стоимость земель, которые я отдал своим солдатам во время моего четвертого консулата, а затем при консулах М. Кассе и Кн. Лентула. Я заплатил шестьсот миллионов сестерций (4 800 000 фунтов стерлингов) за земли, расположенные в Италии, и двести шестьдесят миллионов сестерций (2 080 000 фунтов стерлингов) за земли, расположенные в провинциях. Из всех тех, кто создавал солдатские колонии в провинциях и в Италии, я до сих пор первый и единственный, кто действовал таким образом". Он был прав, хвастаясь этим. У генералов того времени совсем не было принято платить за то, что они брали, а сам он уже давно подавал другой пример. Когда чуть позже он осмелился противостоять требованиям своих ветеранов, ему пришлось вести ужасную борьбу, в которой его жизнь не раз оказывалась под угрозой. Во всех отношениях его отношение к своим солдатам в то время - одна из тех вещей, которые делают ему честь. Он был обязан им всем, не обладая ни способностями Цезаря, ни недостатками Антония, ни качествами, необходимыми для того, чтобы овладеть ими; и все же он осмелился выступить против них и добился превосходства. Весьма примечательно, что, завоевав свою власть исключительно войной, он сумел сохранить преобладание гражданского элемента в основанном им правительстве. Если империя, в которой не было другого элемента силы и жизни, кроме армии, не стала с того времени военной монархией, то, несомненно, благодаря его твердости.

Нет ничего более простого, чем отношения Августа с народом. Сведения, которые дает по этому поводу надпись из Анцира, вполне согласуются с рассуждениями Мецената: он кормил их и развлекал. Здесь, прежде всего, приводится точный отчет о суммах, которые он потратил на их пропитание: "Я выделил римскому народу триста сестерций (£2 8s.) на голову согласно завещанию моего отца и четыреста сестерций (£3 4s.) от своего имени из военных трофеев во время моего пятого консульства. В другой раз, во время моего десятого консульства, я выдал каждому гражданину по четыреста сестерций из своего личного состояния. Во время одиннадцатого консульства я за свой счет произвел двенадцать раздач кукурузы. Когда я в двенадцатый раз получил трибунскую власть, я снова раздал народу по четыреста сестерций на голову. Все эти раздачи были сделаны не менее чем двумстам пятидесяти тысячам человек. В восемнадцатый раз получив трибунскую власть и в двенадцатый раз став консулом, я раздал по шестьдесят денариев (1 фунт 10 *шиллингов* 4 д.) на голову тремстам двадцати тысячам жителей Рима. Во время моего четвертого консулата я получил по тысяче сестерций (8 фунтов стерлингов) на каждого из моих солдат, предварительно вычтенных из добычи, и распределенных по образованным ими колониям. Около ста двадцати тысяч колонистов получили свою долю в распределении, последовавшем за моим триумфом. Став консулом в тринадцатый раз, я выдал по шестьдесят денариев каждому из тех, кто получил тогда раздачи кукурузы; их было довольно много - более двухсот тысяч". После этих поистине поразительных либеральностей Август упоминает о публичных играх, которые он устраивал для народа, и хотя в тексте есть несколько пробелов, мы можем предположить, что развлечение народа обходилось ему не дешевле, чем его пропитание. "Я давал представления гладиаторов^[384] ... раз от своего имени и пять раз от имени своих детей или внуков. На этих разных *праздниках* сражалось около десяти тысяч человек. Дважды от своего имени и трижды от имени сына и внука я устраивал поединки борцов, которых привозил из всех стран. Четыре раза я проводил публичные игры от своего имени и двадцать три раза вместо магистратов, которые отсутствовали или не могли оплатить расходы на эти игры..... Я двадцать шесть раз от своего имени или от имени своих сыновей и внуков устраивал охоту на африканских диких зверей в цирке, на Форуме или в амфитеатрах, и около трех тысяч пятисот этих зверей было убито. Я устроил народу зрелище морского боя за Тибром, где сейчас находится лес Цезарей. Я приказал прорыть там канал длиной в тысячу восемьсот футов и шириной в тысячу двести футов. Там сражались тридцать кораблей, вооруженных таранами, триремы, биремы и множество более мелких судов. На этих судах, кроме гребцов, находилась команда из трех тысяч человек". Здесь, как мне кажется, содержится любопытный официальный комментарий к знаменитому выражению Ювенала "*panem et circenses*". Мы ясно видим, что это была не шутка поэта, а подлинный принцип политики, счастливо изобретенный Августом, который его преемники сохранили как традицию правления.

Отношения Августа с сенатом, как мы можем хорошо понять, были более сложными и запутанными. Даже после Фарсалии и Филиппов это все еще было большое имя, к которому нужно было относиться с вниманием. Как бы ни была подавлена старая аристократия, она все еще вызывала опасения и, казалось, заслуживала некоторого уважения. Это хорошо видно по тому, как Август в своем завещании старается никогда не говорить о сенате иначе как с уважением. Его имя всплывает на каждом шагу с неким жеманством. Если доверять внешним признакам, то можно сказать, что сенат был тогда хозяином, а принц довольствовался исполнением его указов. Август хотел, чтобы так считали. Он всю жизнь скрывал свою власть или сетовал на нее. Из своего королевского жилища на Палатине он писал самые патетические письма в сенат, прося освободить его от бремени государственных дел, и никогда не испытывал такого отвращения к власти, как в тот момент, когда сосредоточивал все полномочия в своих руках. Нет ничего удивительного в том, что мы

снова находим эти методы в его завещании: они слишком хорошо удавались его современникам, чтобы у него не возникло искушения использовать их в отношении потомков. Поэтому он продолжает разыгрывать ту же комедию умеренности и бескорыстия. Например, он настаивает на тех почестях, от которых отказался, в той же степени, что и на тех, которые принял. "Во время консульства М. Марцелла и Л. Аррунтия, - говорит он, - когда сенат и народ просили меня принять абсолютную власть,^[385] я ее не принял. Но я не отказался взять на себя надзор за поставками во время сильного голода и своими расходами избавил народ от страхов и опасностей. Когда же взамен мне предложили консульство ежегодно или пожизненно, я отказался". Это не единственный раз, когда он говорит о своей умеренности. Еще не раз он упоминает о достоинствах или подарках, которые он не принял. Но вот, действительно, то, что переходит все границы: "В шестой и седьмой консулаты, после подавления гражданских войн, когда общий голос всех граждан предложил мне верховную власть, я вернул правительство республики сенату и народу. В награду за этот поступок я получил декретом сената титул Августа, моя дверь была окружена лаврами и увенчана гражданской короной, а в курии Юлиев был помещен золотой щит с надписью, гласившей, что эта честь была оказана мне в знак уважения к моей добродетели, милосердию, справедливости и благочестию. С этого момента, хотя я и был выше остальных по достоинству в тех должностях, которые на меня возложили, я никогда не претендовал на большую власть, чем позволял своим коллегам". Этот любопытный отрывок показывает, как надписи могут обманывать, если им слепо доверять. Не кажется ли нам правильным вывод о том, что в 726 году в Риме была восстановлена республика благодаря щедрости Августа? Именно в этот период абсолютная власть императора была избавлена от страха перед нападением извне и, спокойно принятая всеми, была окончательно установлена. Сам Дио, официальный Дио, который так готов поверить на слово императору, не может принять эту ложь Августа; он решается показать, что не обманут, и без труда доказывает, что это правительство, под каким бы именем оно ни скрывалось, в основе своей было монархией; он мог бы добавить, что более абсолютной монархии никогда не было. Один человек сделал себя наследником всех магистратов республики и объединил в себе все их полномочия. Он игнорировал народ, с которым больше не советовался; он - хозяин сената, который он выбирает и формирует по своему усмотрению; одновременно консул и понтифик, он регулирует действия и убеждения; наделенный трибунской властью, он неприкосновенен и священен, то есть малейшее слово, брошенное в его адрес, становится святотатством; как цензор, под титулом префекта нравов, он может контролировать поведение частных лиц и вмешиваться, когда ему вздумается, в самые частные дела жизни.^[386] Все подчинено ему, как частная, так и общественная жизнь, и его власть может проникать повсюду, от сената до самых скромных и туманных очагов. Добавьте к этому, что границы его империи - это границы цивилизованного мира; варварство начинается там, где кончается рабство, и против этого деспотизма не существует даже печального средства - изгнания. И все же именно человек, обладающий этой ужасающей властью, от которого не ускользает ничто в его огромной империи и от которого невозможно убежать, именно он только что с наглой уверенностью заявил нам, что отказывается принять абсолютную власть!

Следует признать, что эта абсолютная власть, которую он так тщательно скрывал, стремилась также всеми возможными способами примирить людей с собой. Все компенсации, которые могли бы заставить народ забыть о своей свободе, Август давал римлянам свободной рукой. Я говорю не только о материальном процветании, благодаря которому число граждан в его царствование увеличилось почти на миллион человек;^[387] и даже не о покое и безопасности, которые в момент окончания гражданской войны были самой настоятельной потребностью всего мира, но и о том несравненном великолепии, которым он украсил Рим. Это было верное средство понравиться народу. Цезарь хорошо

знал это и в свое время потратил сто миллионов сестерций (800 000 фунтов стерлингов) только на покупку земли, на которой должен был стоять его Форум. Август сделал еще больше. Надпись в Анцире содержит список общественных зданий, которые он построил, но он настолько длинный, что невозможно привести его полностью. Он упоминает пятнадцать храмов, несколько портиков, театр, дом сената, Форум, базилику, акведуки, общественные дороги и т. д.; по сути, Рим был полностью перестроен им. Можно сказать, что ни одно общественное здание не было обойдено его вниманием, и он восстановил все те, которые не перестроил. Он достроил театр Помпея и Форум Цезаря, перестроил Капитолий; за один год он отремонтировал восемьдесят два храма, которые приходили в упадок. Он не тратил столько миллионов без цели, и все это изобилие у такого рачительного правителя скрывало глубокий политический замысел. Он хотел ослепить народ, опьянить его роскошью и великолепием, чтобы отвлечь от навязчивых воспоминаний о прошлом. Рим из мрамора, который он построил, должен был заставить их забыть Рим из кирпича.

Это была не единственная компенсация, которую Август предложил народу; он возместил им ущерб более благородным способом, стремясь таким образом узаконить свою власть. Если он требовал пожертвовать их свободой, то заботился о том, чтобы всячески удовлетворить их национальную гордость. Ни один человек не вызывал такого уважения к Риму со стороны иностранных народов, как он; ни один человек не давал ей больше поводов для гордости за то превосходство, которым она пользовалась среди своих соседей". Последняя часть надписи заполнена приятным перечислением знаков уважения, которые самые отдаленные страны мира оказывали Риму в его правление. Он стремился обратить их внимание на эту внешнюю славу, чтобы они с некоторым сожалением не обращали его на то, что происходило дома. Тем гражданам, которых вид пустынного Форума и покорного сената приводил в уныние, он указывал на римские армии, проникающие к паннонцам и арабам, на римские флоты, плавающие по Рейну и Дунаю, на королей бриттов, суэвов и маркоманнов, беженцев в Риме, просящим поддержки легионов, к медам и парфянам, страшным врагам Рима, которые просили у нее царя, к самым отдаленным народам, наименее известным и наиболее защищенным своей удаленностью и безвестностью, тронутым этим великим именем, которое достигло их впервые, и просящим римского союза. "Ко мне приходили послы из Индии, от царей, которые еще никогда не посылали ни к одному римскому полководцу. Бастарны, скифы и сарматы, живущие по эту сторону Танаиса, и за этой рекой, цари албанцев, гиберов и медов прислали ко мне послов, прося нашей дружбы". Самым недовольным было очень трудно противостоять такому величию. Но его величайшим ударом было то, что он распространил эту заботу о славе Рима даже на прошлое. Он почитал всех, кто трудился для нее во все времена, говорит Суетоний,^[388] почти так же, как богов; и чтобы показать, что никто не был исключен из этого почитания, он снова поднял статую Помпея, у основания которой упал Цезарь, и установил ее в общественном месте. Такое великодушное поведение было также мудрой политикой. Заявляя о своей причастности к славе прошлого, он обезоруживал тех, кто мог поддасться искушению использовать ее против него, и в то же время давал некую санкцию своей власти, связывая ее в некотором роде с этими старыми воспоминаниями. Какие бы различия ни отличали основанное им правительство от правительства республики, оба сходились в одном: они стремились к величию Рима. Август пытался примирить прошлое с настоящим на этой общей почве. Он также украсил Рим, защитил его границы, расширил империю и сделал его имя уважаемым. Он продолжил и завершил то дело, над которым они трудились семь столетий. Он мог назвать себя продолжателем и наследником всех тех, кто приложил к этому руку: Катона, Павла Эмилия, Сципиона, и причислить себя к ним. Он не преминул сделать это, построив Форум, носящий его имя; мы знаем от Суетония, что под портиками, возведенными им и заполненными записями его деяний, он собрал всех великих людей республики в триумфальных костюмах.

Это была высшая точка его политического мастерства, поскольку, приобщая их к своей славе, он в свою очередь получал долю их славы и таким образом обращал в свою пользу величие политического порядка, который он опрокинул.

Эти компенсации, которые Август предложил римлянам в обмен на их свободу, похоже, удовлетворили их. Все быстро привыкли к новому правительству, и можно сказать, что Август царствовал без оппозиции. Заговоры, которые не раз угрожали его жизни, были преступлениями нескольких отдельных недовольных, молодых легкомысленных парней, которых он опозорил, или вульгарных и амбициозных людей, которые хотели его положение; они не были делом рук политических партий. Можно ли вообще сказать, что в этот момент существовали какие-либо политические партии? Партии Секста Помпея и Антония не пережили смерти своих вождей, а после Филипп почти не осталось республиканцев. С этого момента все мудрые люди стали считать, что "огромное тело империи не может стоять прямо и устойчиво без того, чтобы им кто-то руководил". Лишь несколько упрямцев, еще не обращенных в веру, писали яростные декларации в школах под именами Эрута и Цицерона или позволяли себе свободно говорить в вежливых собраниях, которые были *салонами* того времени: *in conviviis rodunt, in circulis vellicant*. Но это были незначительные исключения, которые исчезли на фоне всеобщего восхищения и уважения. В течение более чем пятидесяти лет сенат, рыцари и народ использовали всю свою изобретательность, чтобы найти новые почести для того, кто обеспечил Риму внутренний мир и так энергично поддерживал его величие за рубежом. Август позаботился о том, чтобы напомнить обо всех этих почестях в изучаемой нами надписи, но не в приступе грубого тщеславия, а чтобы представить то согласие всех порядков в государстве, которое, казалось, узаконивало его власть. Эта мысль особенно ярко проявляется в последних строках надписи, где он вспоминает то обстоятельство своей жизни, которое было ему наиболее дорого, поскольку в нем наиболее ярко проявилось согласие всех граждан: "Когда я был консулом в тринадцатый раз, сенат, рыцарский орден и весь народ дали мне имя Отца нашей страны и пожелали, чтобы оно было начертано в притворе моего дома, в курии и на моем Форуме, под квадригами, которые были поставлены там в мою честь по указу сената. Когда я писал эти вещи, мне шел семьдесят шестой год". Недаром он приберег эту деталь на конец. Титул "Отец своей страны", которым его от имени всех граждан приветствовал Мессала, старый друг Брута, казался законным освящением власти, полученной незаконным путем, и своего рода амнистией, которую Рим даровал прошлому. Мы вполне можем понять, что Август, даже умирая, с удовлетворением вспоминал о том, что казалось ему отпущением грехов, и что ему не терпелось завершить таким образом обзор своей политической жизни.

II.

В нескольких словах я хотел бы выразить впечатление, которое производит на меня анализ этой замечательной надписи в отношении ее автора.

Вся политическая жизнь Августа содержится в двух официальных документах, которые, по счастливой случайности, оба дошли до нас; я имею в виду преамбулу эдикта о проскрипциях, который Октавий подписал и, судя по всему, сам составил, и который сохранил Аппиан; и надпись, найденную на стенах храма в Ансире. Первая показывает нам, каким был Октавий в двадцать лет, только что вышедший из рук риториков и философов, со всеми подлинными инстинктами своей натуры; вторая - каким он стал после пятидесяти шести лет бесконтрольной и неограниченной власти; достаточно сравнить их, чтобы понять, какой путь он прошел, и какие изменения в нем произвело знание людей и практика государственных дел.

Обладание властью сделало его лучше, что бывает нечасто, и после него римская история дает нам примеры только развращенных властью князей. От битвы при Филиппах до битвы при Актиуме, или, скорее, до того момента, когда он, кажется, официально просит прощения у мира, отменяя все деяния триумvirата, мы чувствуем, что он стремится стать лучше, и можем почти проследить за его шагами. Не думаю, что можно найти другой пример столь сильного стремления к победе над собой и столь полного успеха в преодолении своих природных склонностей. От природы он был трусом и во время первой битвы спрятался в своей палатке. Не знаю, как ему это удалось, но он сумел обрести мужество; он стал привычен к войне, сражаясь против Секста Помпея, и даже проявил мужество в экспедиции против далматинцев, в которой он был дважды ранен. Он был циничен и развратен, и оргии его юности, о которых рассказывает Суетоний, не уступают оргиям Антония; однако он исправился в тот самый момент, когда стал абсолютным хозяином, то есть как раз тогда, когда его страсти встретили бы меньше всего препятствий. От природы он был жесток и холодно жесток, и этот нрав не часто меняется; и все же, начав с убийства своих благодетелей, он закончил тем, что пощадил тех, кто покушался на его жизнь, и философ Сенека мог назвать благородным принцем того самого человека^[389], которого его лучший друг Меценат когда-то назвал обычным палачом. Конечно, человек, подписавший эдикт о запрете, вряд ли похож на того, кто написал завещание, и действительно удивительно, что человек, который начинал так же, как и он, смог так полностью измениться и принять добродетельный характер или его видимость вместо всех пороков, которые были ему присущи.

Тем не менее нам трудно любить его, какой бы справедливостью мы его ни наделяли. Возможно, мы все-таки ошибаемся; ведь разум подсказывает нам, что мы должны больше ценить людей за те качества, которые они приобретают, торжествуя над собой, чем за те, которыми они обладают от природы, не прилагая к этому никаких усилий. И все же, сам не знаю почему, нас радуют только последние; первым не хватает некоего очарования, которое дает только природа и которое покоряет наши сердца. В них слишком очевидны усилия, а за усилиями стоит какой-то личный интерес; ведь мы всегда подозреваем, что человек прилагает столько усилий только потому, что в этом есть какая-то выгода. Такая приобретенная доброта, в которой разума больше, чем природы, никого не привлекает, потому что она кажется продуктом расчетливого ума, и именно это чувство заставляет все добродетели Августа оставлять нас равнодушными и казаться не более чем результатами глубокой проницательности. Чтобы затронуть нас, им нужен оттенок естественности и простоты. Этих качеств этот чопорный и формальный персонаж никогда не знал, хотя, по словам Суетония, в общении с друзьями он с удовольствием принимал вид простодушного и добродушного человека. Но человек не может быть хорошим человеком только потому, что хочет им быть, и его частные письма, из которых мы имеем несколько фрагментов, показывают, что его любезности не хватало легкости, а простота была результатом усилий. Разве мы не знаем, кроме того, от самого Суетония, что он записывал то, что собирался сказать своим друзьям, чтобы не оставлять ничего на волю случая, и что он даже иногда записывал заранее свои разговоры с Ливией?^[390]

Но, в конце концов, что портит Августа в нашем мнении, так это то, что он стоит так близко к Цезарю; контраст между ними полный. Цезарь, не говоря уже о том, что было действительно великим и блестящим в его натуре, сразу же привлекает нас своей откровенностью. Его честолюбие может не нравиться нам, но у него было хотя бы то достоинство, что он не скрывал его. Я не знаю, почему М. Моммзен в своей "Римской истории" старается доказать, что Цезарю была безразлична диадема и что Антоний, предлагая ее, не посоветовался с ним. Я предпочитаю придерживаться общепринятого мнения, которое, как мне кажется, не

делает ему ничего плохого. Он хотел быть царем и носить этот титул, равно как и осуществлять власть. Он никогда не делал вид, что ждет, когда его попросят принять почести, которых он страстно желал, как это делал Август. Он был не тем человеком, который заставил бы нас поверить, что сохранил верховную власть лишь с неохотой, и не осмелился бы сказать в тот самый момент, когда все полномочия перешли в его руки, что он вернул управление республикой народу и сенату. Напротив, мы знаем, что после Фарсалии он откровенно заявил, что "республика" - это бессмысленная фраза и что Сулла был глупцом, когда отказался от диктатуры. Во всем, даже в вопросах литературы и грамматики, он был смелым новатором и не проявлял лицемерного уважения к прошлому в то самое время, когда разрушал то, что от него досталось. Такая откровенность нам больше по вкусу, чем ложная видимость почтения, которое Август оказывал сенату после того, как довел его до бессилия; и какое бы восхищение ни выражал Суетоний, когда показывает нам его, покорно приветствующего каждого сенатора по имени перед началом заседаний, я не уверен, что не предпочту этой комедии непочтительное поведение Цезаря, Цезаря, который, наконец, зашел так далеко, что не встал, когда сенат посетил его. Оба, казалось, устали от власти, но никому не приходило в голову, что Август говорил правду, когда так убедительно просил вернуть его к частной жизни. Отвращение Цезаря было более глубоким и искренним. Власть, которой он добивался более двадцати лет с неутомимым упорством, через столько опасностей и темных интриг, воспоминания о которых, должно быть, заставляют его краснеть, не оправдала его ожиданий и показалась ему неудовлетворительной, хотя он так страстно ее желал. Он знал, что его презирают люди, чьего уважения он больше всего желал; он был вынужден использовать людей, которых презирал, и чьи излишества позорили его победу; чем выше он поднимался, тем неприятнее казалась ему человеческая природа, и тем яснее он видел подлую алчность и трусливое вероломство тех, кто интриговал у его ног. В конце концов он пришел к тому, что жизнь перестала его интересовать; ему казалось, что она больше не стоит того, чтобы ее беречь и защищать. Это тот самый человек, который еще в то время, когда Цицерон произносил речь pro Marcello, говорил: "Я прожил достаточно долго для природы или для славы"; который позже, когда его заставили принять меры предосторожности против своих убийц, ответил в тоне уныния: "Я предпочел бы умереть сразу, чем жить в страхе"; который вполне мог бы сказать вместе с Корнелем:

"Я желал империи и достиг ее;

Но я не знал, чего желал:

Владея ею, я нашел вместо наслаждений

Ужасные заботы, непрерывные тревоги,

Тысячу тайных врагов, смерть на каждом шагу,

Ни удовольствия без сплыва, ни покоя".

Эти прекрасные строки, признаюсь, нравятся мне меньше, чем вложенные в уста Августа. Этот осторожный политик, такой холодный, такой самообладающий, не кажется мне по-настоящему знающим ту благородную печаль, которая открывает человека в герое, ту меланхолию сердца, которому не по себе, несмотря на успехи, и которое испытывает отвращение к власти из-за самого ее осуществления. С каким бы восхищением я ни относился к прекрасной сцене, в которой Август предлагает отречься от престола, я не могу

избежать досады на Корнелия за то, что он так серьезно отнесся к этой торжественной сцене, которая никого не обманула в Риме, и когда я хочу сделать свое удовольствие полным при чтении трагедии *Цинны*, меня всегда тянет заменить характер Августа характером Цезаря.

В заключение добавлю, что все эти неискренние пристрастия Августа были не только недостатками характера, но и политическими ошибками, которые самым печальным образом отразились на созданном им правительстве. Именно та неопределенность, которую заинтересованные лживые речи Августа наложили на реальную природу и пределы власти предыдущих цезарей, сделала их тиранию невыносимой. Когда правительство смело заявляет о своих принципах, мы знаем, как себя вести по отношению к нему; но какой курс следует выбрать, какого языка придерживаться, когда формы свободы соединяются с реальностью деспотизма, когда абсолютная власть скрывается под республиканскими фикциями? Среди этой неясности любой курс таит в себе опасность и грозит гибелью. Людей губит независимость, их может погубить и раболепие; ведь если тот, кто отказывает в чем-либо императору, является открытым врагом, сожалеющим о республике, то не может ли тот, кто охотно все предоставляет, быть тайным врагом, желающим показать, что республики больше не существует? Изучая Тацита, мы видим, как государственные деятели этого ужасного периода беспорядочно двигаются среди этих намеренно накопленных неопределенностей, спотыкаясь на каждом шагу о невидимые опасности, рискуя вызвать недовольство, если молчать или говорить, если льстить или сопротивляться, постоянно с ужасом спрашивая себя, как они могут удовлетворить эту двусмысленную и неопределенную власть, границы которой ускользают от них. Это отсутствие искренности в учреждениях Августа, можно сказать, стало мукой для нескольких поколений. Все зло произошло потому, что Август больше думал о настоящем, чем о будущем. Он был способным человеком, у которого хватало ресурсов для выхода из неловких и сложных ситуаций; на самом деле он не был великим политиком, поскольку, судя по всему, его взгляд редко выходил за рамки сиюминутных трудностей. Оказавшись лицом к лицу с народом, который тяжело переносил королевскую власть и не годился ни для чего другого, он изобрел этот вид замаскированной королевской власти и позволил всем формам старого правительства существовать рядом с ним, не пытаясь привести их в соответствие с ним. Но если он и не был столь великим политиком, как это принято считать, следует признать, что он был превосходным администратором; эта часть его деятельности заслуживает всех похвал, которые ей воздаются. Скоординировав все мудрые и полезные правила, созданные республикой, введя в действие утраченные традиции, сам создав новые учреждения для управления Римом, службы легионов, ведения финансов и управления провинциями, он организовал империю и тем самым сделал ее способной противостоять внешним врагам и внутренним причинам распада. Если, несмотря на отвратительную политическую систему, общую низость характера и пороки правителей и управляемых, империя все же пережила время процветания и просуществовала три столетия, то этим она была обязана мощной организации, полученной от Августа. Это была действительно важная часть его работы. Она достаточно важна, чтобы оправдать свидетельство, которое он дает о себе в этой надменной фразе из Анцирановой надписи: "Я создал новые законы. Я восстановил честь примеров наших предков, которые исчезали из наших нравов, и сам оставил примеры, достойные подражания наших потомков".

III.

Несомненно, примерно в середине правления, когда тот, кто был абсолютным хозяином республики, претендовал на восстановление власти народа и сената, появились письма Цицерона. Точная дата их публикации неизвестна, но все склоняет к тому, что ее следует

отнести к годам, последовавшим за битвой при Акциуме. Власть Августа, ставшая более популярной после того, как он стал более умеренным, почувствовала себя достаточно сильной, чтобы позволить некоторую свободу письма. До этого времени она была недоверчивой, так как не была достаточно консолидирована; она стала такой и позже, когда почувствовала, что общественная благосклонность уходит от нее. Это правление, начавшееся с запрета людей, закончилось сожжением книг. Переписка Цицерона могла быть опубликована только в промежутке, разделяющем эти периоды.

Никто не сказал нам, какое впечатление она произвела на тех, кто читал ее впервые; но можно безбоязненно утверждать, что это было очень живое впечатление. Гражданские войны только что закончились, до этого времени люди были заняты только настоящими бедами; в этих несчастьях ни у кого не было достаточно свободы, чтобы думать о прошлом, но в первый период спокойствия, который знало это беспокойное поколение, оно поспешило бросить взгляд назад. Пытаясь объяснить произошедшие события или желая получить то горькое удовольствие, которое, по мнению поэта, можно найти в воспоминаниях о бывших страданиях, оно прослеживало печальные годы, которые только что прошло, и хотело вернуться к самому началу той борьбы, конец которой оно видело. Ничто не могло удовлетворить их любопытство лучше, чем письма Цицерона, и поэтому нельзя сомневаться, что в то время все охотно читали их.

Я не думаю, что это чтение принесло какой-либо вред правительству Августа. Возможно, репутация некоторых важных персон нового правительства немного пострадала от этого. Развенчание их республиканской веры было неприятно для людей, которые могли похвастаться тем, что являются личными друзьями принца. Я полагаю, что злопыхатели, должно быть, отвлеклись на те письма, в которых Поллий клянется быть вечным врагом тиранов, а Планк сурово приписывает несчастья республики измене Октавия, который и сам не был пощажен; и эти живые воспоминания о том времени, когда он протягивал руку убийцам Цезаря и называл Цицерона своим отцом, не были для него благоприятны. Все это в течение нескольких недель давало злопыхателям повод для разговоров. Но в целом беда была невелика, и эти глупости не угрожали безопасности великой империи. Больше всего следовало опасаться, что воображение, всегда благосклонное к прошлому, свободно припишет республике те качества, которыми так легко украсить учреждения, уже не существующие. Письма Цицерона скорее разрушали эти иллюзии, чем поощряли их. Представленная в них картина интриг, беспорядков и скандалов того времени не позволяла людям сожалеть об этом. Люди, которых Тацит изображает измученными борьбой и жаждущими отдыха, не находили в нем ничего, что могло бы их привлечь, а плохое использование свободы такими людьми, как Курио, Казий и Долабелла, делало их менее чувствительными к печали о ее утрате.

Память о том, кто написал эти письма, больше всего выиграла от их публикации. В то время было очень принято плохо отзываться о Цицероне. Несмотря на то, как придворные историки рассказывали о встрече в Болонье и о том, какую почетную роль они пытались отвести Октавию в проскрипциях,^[391] были для него не менее неприятными воспоминаниями. Его жертвы были оклеветаны, чтобы приуменьшить его недостатки. Именно этого хотел добиться Асиний Поллион, сказав в своей речи к Ламии, что Цицерон умер как трус.^[392] Те, чья преданность не заходила так далеко и у кого не хватало смелости оскорбить его, старались, по крайней мере, ничего о нем не говорить. Было замечено, что ни один из великих поэтов этого времени не говорит о нем, и мы знаем от Плутарха, что в Палатине было необходимо читать его произведения в тайне. Поэтому вокруг великой славы Цицерона воцарилось молчание, насколько это вообще было возможно; но публикация его писем воскресила его в

памяти всех. Когда их прочитали, эту интеллектуальную и мягкую фигуру, такую приятную, такую человечную и такую привлекательную даже в своих слабостях, уже нельзя было забыть.

К тому интересу, который личность Цицерона придает его письмам, добавляется еще более яркий интерес для нас. Из того, что я только что написал, мы увидели, насколько наше время похоже на то, о котором говорят нам эти письма. У него не было твердой веры, как у нас, и печальный опыт революций отвратил его от всего и приучил ко всему. Людям того времени, как и нам, были знакомы недовольство настоящим и неуверенность в завтрашнем дне, которые не позволяют нам наслаждаться спокойствием или отдыхом. В них мы видим себя; горести людей того времени отчасти наши собственные, и мы страдали от тех же бед, на которые они жаловались. Мы, как и они, живем в один из тех переходных периодов, самых скорбных в истории, когда традиции прошлого исчезли, а будущее еще не определено, и не знаем, на что ориентироваться, и вполне можем понять, что они могли бы сказать вместе с древним Гесиодом: "Если бы я умер раньше или родился позже!". Вот что придает письмам Цицерона столь живой, хотя и скорбный интерес для нас; вот что впервые привлекло меня к ним; вот что, возможно, доставит нам некоторое удовольствие, если мы проведем короткое время в обществе изображенных в них людей, которые, несмотря на прошедшие годы, кажутся почти нашими современниками.

ПРИМЕЧАНИЯ ТРАНСКРИПТОРА

1. Негласно исправлены очевидные опечатки и орфографические ошибки.
2. Архаичные, нестандартные и неопределенные написания сохранены в том виде, в котором они были напечатаны.
3. Переиндексировал сноски с помощью номеров и собрал их в конце последней главы.